



БОРИС ОСТАНИН



37,1°

БОРИС ОСТАНИН

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ И ОДИН

Схемы, мифы, догадки, истории
на каждый день 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / АМФОРА / 2015

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
О 76

12+

Издание не рекомендуется детям младше 12 лет

Останин Б.

О 76 Тридцать семь и один: Схемы, мифы, догадки, истории на каждый день 2017 года / Борис Останин; [сост. Б. Мартынов]. — СПб. : ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015. — 447 с.

ISBN 978-5-367-03315-1

37 и 1 — это так называемая субфебрильная температура, при которой человек ещё не болен, но уже и не здоров; в десятках дней — промежуток между григорианским Новым годом и следующим, через год, Рождеством по старому стилю; в повести Пушкина и карточных играх — тройка, семёрка, туз...

В новой книге Бориса Останина «Тридцать семь и один» 371 — число его неожиданных, порой провокационных размышлений, историй, цитат из любимых авторов: планета Юнона и четыре волхва, сокровенное имя Яхве и семь лучей могоендовиды, мёртвая Снегурочка и восемь русских народов, нисходящие чакры Лютера, Декарта и Ницше, 22 толкования псевдонима В. Сирин, поэты самиздатских журналов «37» и «Часы» — схемы, мифы, истории, догадки на каждый день 2017 года, умственный Вавилон...

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6

© Останин Б., 2015
© Мартынов Б., составление,
послесловие, 2015
© Оформление.
ООО «Торгово-издательский дом
«Амфора», 2015

ISBN 978-5-367-03315-1

ТЕКСТ - КАЛЕНДАРЬ

2017 ГОД ЯНВАРЬ

Как описать уныние тех рыб,
что спят во льду с жучками водяными
у белых глаз, с травинками речными?
Но в зелени полупрозрачных глыб
не разглядеть жучков, травинок, рыб,
хоть глыбы и хранят лучи дневные.

Я в этом мире, кажется, хочу
в своей реке, от холода бледнея,
заледенеть, но я не леденею.
Так замолчать — я даже не молчу,
так умереть — не смерти я хочу,
а спать в реке, похожей на аллею.

И, видит Бог, никто не разглядит,
как сердце спит — оно, как рыба, спит.

(Нина Самойлович, 1977)

Обычный спор: художник заявляет, что люди — *очень и очень разные*, если у них даже отпечатки пальцев, рисунок ушной раковины, разноцветные пятнышки на радужнице, линии на ладони и мн. др. не совпадают; философ утверждает обратное (проект Просвещения?): все люди *одинаковые*, упоминая о том, что все снежинки разные, узор каждой неповторим, и однако же общего у них гораздо больше: все шестиугольные, тают при +0 °С, падают в снегопад на зем-

ЯНВАРЬ

1

воскресенье

ЯНВАРЬ

2

понедельник

лю, даже если некоторые, увлекаемые ветром, какое-то время летят вверх.

Спор героя с хором: номиналист, пусть даже ценой своей смерти, жаждет из хора выпасть; реалист — героя поглотить и тем самым сберечь. Романтик настаивает на вавилонском разнообразии индивидов, презирая общее как предрассудок толпы и не замечая промежуточных типов между индивидом и человечеством; классик принижает значение индивида и настаивает на таких промежуточных целостностях, как семья, цех, племя, народ. Первый склоняется к работе с *мелочами* (З. Гиппиус: «Записывайте мелочи!», Кузмин, Набоков) и их тщательной эстетической обработке; второй ими пренебрегает, его замыслы масштабные и вневременные, ему не до мелочей.

Их спор — подтверждение того, что распри номиналистов и реалистов не прекращаются, разве что обретают новые словесные очертания, иные метафоры; впрочем, скажет философ, настолько ли иные?

→ 2 декабря: Вниз по чакрам

→ 4 июня: Сложное детям (Троица)

Случай, случка, символ

Латинское *jacto* (бросать, кидать, метать) — такое же производительное слово, как и параллельное ему русское «*лукать*», ныне забытое и сохранившееся разве что в обломках: отлучить (от церкви), прилучить (любовным зельем), отлучиться, разлука, получка, излучина, лукоморье. *Jacto* — *философское* и *техническое* словцо, производитель таких распространённых понятий, как субъект (подкидыш; срв. подмётные письма), объект (предмет), проект (разметка), инъекция, инжектор, прожектор, прожект, сюжет, *jeter_F* (бросать, покидать), *jet_E* (реактивный самолёт) и пр.

Очень интересное здесь слово «случать» (спаривать, соединять) и производный от него «случай», который некогда имел отношение не к разболтанной математической вероятности (может быть, а может и не быть), а, наоборот, к жёсткому

характеру судьбы, к тому самому соединению-случке, которое, прежде чем совершиться на земле, вершится на небесах. Случай — это со-брасывание, сметание, сближение разных подходящих друг другу элементов в совок единой конструкции; ближайшее ему греческое слово — *symbol*, где *sym* = со-, а *bol* = кидать, метать, лукать. Ровно это же означает Символ веры, двенадцать членов/пунктов которого соединяются/сметаются/случаются по мере их последовательного произнесения верующим. Иначе говоря, *символ* вовсе не означает что-то вне и помимо него, то есть не является, как мы привыкли, «метафорой», скорее уж «метонимией», сложением пазла-скелета из двенадцати членов с последующим его оживлением актом веры.

Случается — именно что не случайным образом в современном значении слова, а скорее закономерным, провиденциальным образом, под верховным наблюдением небес.

Ну и, конечно же, лук, лучина, излучение — всё из того же *лукать/бросать*. Лук — это и смертоносное оружие (стрела-лучина), и механизм для её запуска (собственно лук). У греков: имя луку (*bios*) — жизнь (*bios*), а дело — смерть. Радиоактивное излучение стали называть по той же стреле-лучине (*radius*), в честь неё окрестили и смертоносный радий. Корень здесь «солнечный» (*Ra* = солнце), исходящие от него лучи — радиусы-стрелы, а само солнце — лук или лучник, в делах которого жизнь переплетается со смертью.

К а л и г у л а. Всё готово?

Ц е з о н и я. Всё. (*Стражнику.*) Введи поэтов.

По двое входят поэты и, шагая в ногу, направляются в правый конец сцены. Их около десятка.

К а л и г у л а. А остальные?

Ц е з о н и я. Сципион! Метелий!

Сципион и Метелий присоединяются к поэтам. Калигула садится слева, в глубине сцены, рядом с ним — Цезония и остальные патриции. Короткая пауза.

К а л и г у л а. Тема: смерть. Время: одна минута.

Поэты принимают торопливо писать на своих табличках.

С т а р ы й п а т р и ц и й. А кто входит в жюри?

К а л и г у л а. Я. Этого недостаточно?

С т а р ы й п а т р и ц и й. Нет, почему же, почему же!

К а с с и й. Кай, ты участвуешь в конкурсе?

К а л и г у л а. Это излишне. Я давно уже создал композицию на эту тему.

С т а р ы й п а т р и ц и й. С ней можно познакомиться?

К а л и г у л а. Я повторяю её ежедневно.

Цезония тревожно смотрит на него.

К а л и г у л а (*грубо*). Тебе не нравится моё лицо?

Ц е з о н и я (*тихо*). Прости.

К а л и г у л а. Ради бога, оставь это смирение! Я и без того с трудом тебя выношу, а тут ещё смирение!

Цезония медленно поднимается.

К а л и г у л а (*Кассию*). Я продолжаю. Композиция, созданная мной, доказывает, что я — единственный поэт, слышишь, Кассий, единственный поэт, у которого слова не расходятся с делом.

К а с с и й. Всё дело во власти.

К а л и г у л а. Совершенно верно. Тем, кто лишён власти, приходится творить. А я не нуждаюсь в творчестве: я живу. (*Грубо*.) Ну что, готовы?

1-й п а т р и ц и й. Кажется, да.

В с е. Готовы.

К а л и г у л а. Тогда слушайте. Каждый из вас будет по очереди выходить из общего ряда. Первый начнёт чтение. Когда я свистну, он замолчит, и начнёт следующий. И так далее. Победителем окажется тот, кого я не прерву. Приготовились! (*Поворачивается к Кассию, доверительно.*)

Во всяком деле необходима организация, даже в искусстве. (*Поэтам.*) Начали!

Свисток.

1-й п о э т. О смерть, когда за чёрною рекой...

Свисток. Поэт отходит налево. Остальные будут делать то же самое. Механическая сцена.

2-й п о э т. Три мойры в глубокой пещере...

Свисток.

3-й п о э т. Тебя я призываю, смерть...

Яростный свисток.

4-й поэт принимает позу декламатора, но не успевает раскрыть рта, как раздаётся свисток.

5-й п о э т. Когда я был ребёнком малым...

К а л и г у л а (*кричит*). Послушай, какая может быть связь между смертью и детством идиота? Отвечай!

5-й п о э т. Кай, я ещё не кончил...

Пронзительный свисток.

6-й п о э т (*откашливается*). Неумолимая, она бредёт...

Свисток.

7-й п о э т (*загадочно*). Бесцветная и многословная молитва...

Прерывистый свисток.

Сципион выходит без таблички.

К а л и г у л а. Твой черёд, Сципион. Ты — без таблички?

С ц и п и о н. Обойдусь без неё.

К а л и г у л а. Тогда начинай.

Он перебирает во рту свисток.

С ц и п и о н (*стоит совсем рядом с Калигулой, но не глядит на него. Устало.*)

Поиски счастья, что снимает с человека вину,
Небо в слепящем сиянии света,
Прекрасное и страшное торжество,
Моё безумие без тени надежды.

К а л и г у л а (*тихо*). Довольно. (*Сципиону*). Ты слишком молод, чтобы по-настоящему знать о смерти.

С ц и п и о н (*глядя на Калигулу*). Я был ещё моложе, когда потерял отца.

К а л и г у л а (*внезапно отвернувшись*). Эй, стройся! Плохой поэт — слишком тяжёлое испытание для моего вкуса. До сих пор я надеялся, что мы — союзники, и думал о вас как о последнем отряде моих защитников. Всё тщетно, отправляйтесь в стан моих врагов! Поэты — против меня, и это конец. Выходите строем. Проходя мимо, лижите таблички, чтобы стереть с них следы своих безобразий. Внимание! Шагом марш!

Ритмические свистки. Поэты, шагая в ногу, уходят направо, облизывая по пути таблички.

К а л и г у л а (*очень тихо*). Уйдите все.

У двери Кассий трогает 1-го патриция за плечо.

К а с с и й. Пора!

Сципион слышит это, в нерешительности останавливается на пороге и возвращается к Калигуле.

К а л и г у л а (*зло*). Ты можешь оставить меня в покое, как это сделал когда-то твой отец?

(*Альбер Камю. Калигула*)

→ 7 ноября: Калигула, 2

— Здравствуй, Никит! — сказал сначала отец и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слёз и не утирая их ничем, чтобы не считать их существующими. — Мы думали, ты покойник давно... Значит, ты цел?

Никита обнял похудевшего, поникшего отца, — в нём тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства.

Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков.

— А я за крупной сюда пришёл, тут она дешевле, — объяснил отец. — Да вот, видишь, опоздал, базар уж разошёлся... Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь... А ты тут что?

Никита захотел ответить отцу, однако у него сохлось горло, и он забыл, как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал:

— Я ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась, — сказал отец. — Но её рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать, — она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока ещё не умерла, — произнёс отец. — У неё кровь горлом часто идёт: наверно, когда утонула, то простудилась. Она время плохое выбрала — тут как-то погода испортилась, вода была холодная...

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец. — А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый...

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец. — Пройдёт!.. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего... Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперёд за сто вёрст ходила. Думала, ты утонул и всплывёшь, а она

хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живёшь. Это плохо...

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

— Ты ночуй, отец, один, — сказал Никита. — Я пойду на Любу погляжу.

— Ступай, — согласился отец. — Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим...

Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шёл некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном лёгком воздухе по тёмным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зелёной краской, — сейчас ставни казались синими от тёмной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом, — она была целая. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошёл в сени, затем в комнату — двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал её Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном.

Никита сел с краю на кровать.

— Люба, это я пришёл! — сказал Никита.

Люба откинула одеяло со своего лица.

— Иди скорей ко мне! — попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите.

Люба боялась, что всё это сейчас исчезнет; она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.

Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую, — ответила Люба.

Он пожелал её всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал её обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всём его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.

Люба попросила Никиту — может быть, он затопит печку, ведь на дворе ещё долго будет темно. Пусть огонь светит в комнате, всё равно спать она больше не хочет, она станет ожидать рассвета и глядеть на Никиту.

Но в сенах больше не оказалось дров. Поэтому Никита оторвал на дворе от сарая две доски, поколол их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогредся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло.

— Тебе ничего сейчас, не жалко со мной жить? — спросила она.

— Нет, мне ничего, — ответил Никита. — Я уже привык быть счастливым с тобой.

— Растопи печку посильней, а то я продрогла, — попросила Люба.

Она была сейчас в одной заношенной ночной рубашке, и похудевшее тело её озябло в прохладном сумраке позднего времени.

(Андрей Платонов. Река Потудань)

Четыре волхва

ЯНВАРЬ

6

ПЯТНИЦА

Равновеликий крест в круге (*хризма*) — один из *древнейших* символов человечества, симметричный, гармоничный, статичный. Пять выделенных точек хризмы (четыре пересечения «плеч» креста с окружностью и его центр) задают пять сторон света.

В астрономии хризме соответствуют четыре кардинальных точки (два равноденствия и два солнцестояния) — особая конфигурация Земли и Солнца, в которой Солнце играет роль центральной точки. В пространстве хризма указывает четыре стороны света, в мифологии ей соответствуют четыре стража света или четыре царя (волхва), охраняющие с четырёх сторон только что родившегося/воплотившегося Божественного младенца. В полной схеме их 12, каждый из четырёх царей появляется со своими *волшебными помощниками* — защитниками его с левой и правой стороны: срв. двенадцать животных из восточного зодиакального круга, пришедших приветствовать новорождённого Будду.

Увы, в христианстве нас ожидает скандал: вместо *положенных* четырёх царей-волхвов, симметрично располагающихся вокруг Младенца, приходят *только трое* (Вальтасар, Гаспар, Мельхиор)... А где же и кто он, сокрытый четвёртый, и по какой причине отказался приветствовать нового Бога? Разгадка недалеко: она — в Иерусалиме, куда, отклонившись от пути в Вифлеем, зашли три волхва, чтобы прихватить с собой царя Ирода и таким образом составить каноническую четвёрку («Тогда Ирод, тайно призвав волхвов... и мне пойти поклониться Ему» — Мф. 2, 7–8). Вместо защитника Божественного младенца (о причинах можно только догадываться) Ирод неожиданно становится Его врагом: он не просто отсутствует в квадрате поклонения Младенцу, но и превращается в Его активного преследователя и губителя («избиение младенцев», бегство в Египет), в прокол хризмы, в её дестабилизатора, с чего, собственно, началась и в дальнейшем была в том же духе продолжена нелёгкая история христианства. Сходный *прокол* случился с двенадцатью апостолами, один из которых *предал* Его. Таким образом, Христос с самого начала Своего

воплощения оказывается, благодаря Ироду, *утратившим равновесие центром*, центром-и-не-центром, ибо истинному центру поклоняются *все* четыре царя и *все* четыре его охраняют, а здесь их только трое.

Распределить волхвов по сторонам света, континентам, возрастам и дарам непросто, тем более что известно несколько таких распределений. Принято считать, что молодой волхв — из Европы, зрелый — из Азии, старый — из Африки, что Гаспар (запад, Европа) принёс золото, в ознаменование царственного достоинства Младенца, Вальтасар (восток, Персия) — ладан, воскурение Богу, Мельхиор (юг, Египет) — миро, смолу для бальзамирования, свидетельство смертности человека. В согласии с этой традицией (не единственной) получаем, что царь-волхв Ирод пришёл с севера, что, впрочем, соответствует расположению Иерусалима относительно Вифлеема (но не Назарета!), что и «объясняет» переезд Иосифа и Марии. Скорее всего, Ирод собирался преподнести Младенцу *серебро* (могущество мира сего) — то самое серебро, из которого будут вылиты тридцать сребренников, которые через 37 лет (→ 27 сентября) попадут в руки самоубийцы Иуды, повторившего предательство Ирода. Есть и более радикальное толкование серебра как знака *иудея* и, конечно же, Луны — парного к Солнцу знака. В таком случае четыре дара волхвов соотносят Иисуса с царём, Богом, человеком и иудеем. Эти четыре определения (*Jesus Deus Rex Iudaeorum*), каждое из которых соответствует одному из даров царей-волхвов, — *более верное* надписание на табличке над крестом, чем традиционное *Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum*.

Из-за предательства Ирода устойчивая конструкция пошатнулась и заколебалась; в том месте, где должен был стоять четвёртый страж, возникло *зияние*, сильнейшая утечка духовной энергии превратила его в «ракетное сопло» и с самого начала христианства придала ему мощнейший динамический импульс, завершившийся взлётом христианской ракеты. С этих пор динамика стала уделом христианства.

Возникшая при рождении Христа двусмысленность шлейфом тянется за ним по сей день (Бог и человек, царь и раб,

иудей и не-иудей, планетарный бог воскресного дня недели и Бог *восьмого дня* и т. п.). Это выпадение враги христианства расценивают как Его слабость, а сторонники — как силу, особость, божественность. Отказ Ирода поклониться Младенцу и преподнести ему знак еврейства лишил Христа национальной принадлежности и превратил из *ещё одного* частного, планетарного бога, каких немало, во вселенского.

30 % + 30 % + 30 %

ЯНВАРЬ

7

суббота

Прилагать к морали цифры, педантично подсчитывать и взвешивать свои и чужие поступки, планировать действия, а потом гордиться их свершением или жестоко порицать себя за безделье — не значит ли это превращать человека в заводную машинку, в марионетку на нитках исчисляемого закона?

Пожалуй, да, но иногда люди (дети в том числе) нуждаются в подпорках. Вот я и сочинил *самую общую* числовую схему, позволяющую, не оглядываясь ежеминутно и ежедневно на весы и часы, иметь тем не менее целостное представление о направленности своего труда: *для кого он*.

Очень просто: 30 % — для себя, 30 % — для ближних (семья, друзья), 30 % — для дальних (неизвестные и отсутствующие), четвёртая доля — Божья десятая. Собственно, ничего нового не открыл, люди примерно эту схему и имеют в виду, хотя, скажем, эгоист, семьянин и монах реализуют её с гротескными в ту или иную сторону преувеличениями.

ЯНВАРЬ

8

воскресенье

Старик приходит к врачу, жалуется:

— *Доктор, помогите, у меня склероз.*

Доктор (заинтересованно):

— *Склероз? Ничего не помните? И давно он у вас?*

— *Кто давно?*

— *Ну, склероз.*

— *Какой склероз?!*

Травят ли енотов собаками? Трудно сказать, но нетрудно представить: голодный и усталый молодой енот вконец затравлен и жмётся в своей норе в ожидании выкуривания... Он потен и несчастен, он несчастен и потен, этот молодой енот (плевать, что еноты почти не потеют!), и мелко вздрагивает крупом. Собаки тщетно пытаются проникнуть в слишком узкое для их тел отверстие норы и от тщеты этой невозможности заливаются частым переливчатым лаем. Но вот идёт охотник с головнёй. Сейчас он отгонит сделавших своё дело и потому ставших ненужными собак и введёт в темноту норы необходимую головню с тем, чтобы в это время и в этом месте оказаться человеком с головнёй в руках, желающим выкурить добычу из её логова.

А что же енот? Может быть, он пытается вырыть какой-нибудь ход наверх, чтобы выбраться? Или, наоборот, зарывается глубже, чтобы не достаться собакам? Или просто сидит неподвижно и с печальным лицом ждёт своего смертного часа? И вспоминает свою несчастную любовь? Трудно сказать, но нетрудно представить: сквозь гулкие шорохи вечернего весеннего леса молодой енот отчётливо различает (о, ему не может казаться!) тончайшие похрустывания, производимые нежными лапками его возлюбленной, увлекаемой всё далее и далее в чашу...

Нужно сказать, что у енотов, как и у некоторых других млекопитающих, последнее слово всегда остаётся за ней. Он может, весь истерзанный, медленно угасать от неразделённости своего одиночества, но никогда ни один енот не сделает ни малейшего движения ни лапой, ни хвостом с целью доказать своё физическое превосходство над соперником. Последнее слово всегда остаётся за ней. Какой контраст с марамами!

Или он вспоминает в уже начинающей заполняться дымом норе совсем другую любовь? И от счастливых воспоминаний он улыбается, и улыбка его подобна улыбке неро-

дившегося ребёнка, играющего с другими неродившимися детьми в странную игру, несколько напоминающую жмурки? (Игра заключается в том, что водящий, бегая с завязанными глазами, старается поймать одного из играющих, а поймав, должен угадать, что у того написано на роду. В случае правильного ответа он снимает повязку и включается в число играющих, пойманный же становится водящим. Называется игра «нерождайка», так как игрок, ни разу не попавшийся водящему, называется нерождайкой, поскольку по правилам игры он теряет возможность появления на свет Божий. Водящий, которому ни разу не удалось поймать кого-нибудь из играющих, согласно правилам, рождается енотом.)

Но что бы ни происходило в тёмной и дымной норе, всё было хорошо. Ну просто куда ни кинь, всё было хорошо в комнате. Всюду было хорошо в комнате. Комната была такова, что, наверное, если кто-нибудь вздумал бы забраться на потолок, зацепиться там за что-нибудь ногами и просто повисеть, созерцая комнату из своего такого необычного положения, то ему всё равно было бы хорошо. Трудно даже сказать, что всего лучше было в этой комнате. И, может быть, самым значительным являлось как раз то, что вовсе не хотелось отыскивать самое лучшее. Всё здесь, казалось, было проникнуто той одухотворённостью в той самой степени, когда немеют уста, тщетно пытаешься высказать что-либо по тому или иному поводу. Такая это была комната.

И был у этой комнаты хозяин, он же жилец, квартиросъёмщик, арендатор жилищной площади в поднаём, законный владделец ордера, Олаф Ильич Навернов, таксидермист.

Нужно сказать, что внешний облик Олафа Ильича на редкость подходил к занимаемой им комнате. Ещё в отрочестве Навернов выделялся на фоне сверстников почти

нечеловеческой одухотворённостью черт своего лица. В зрелом же возрасте одухотворённость эта, оттеняемая проступившим мужеством и приобретшая тем характер синтетический, делала Олафа Ильича похожим на небезызвестного мужа Моны Лизы, одной улыбки которого было достаточно для прекращения вспыхнувших было беспорядков во Флоренции во время солнечного затмения 1504 года, когда на специально оборудованной тележке возили этого удивительного человека по улицам обезумевшего города и улыбающееся лицо его, освещённое двумя небольшими подвесными фонарями, заставляло соотечественников бросать молоты и дубины, прятать алебарды и дротики и расходиться по домам с чувством глубокого удовлетворения.

Когда у Навернова собирались гости, большей частью коллеги-таксидермисты, и Олаф Ильич, несколько картинно развалившись в кресле у камина с позеленевшей от времени латинской надписью: «С доверием относись к Богу в вещах, которые могут тебя убить», церемонно потягивал пенковую трубку, кто-нибудь из присутствующих непременно не выдерживал и восклицал:

— До чего же у вас тут славно, чёрт побери! Да и сам вы, Олаф Ильич, простите, словно душка какая-то!

*(Илья Беляев. Игра в жмурки,
или Охота на серебристоухого енота //
Часы, № 21, 1979)*

→ 2 августа: Игра в жмурки, 2

Яркий лунный свет!
На циновку тень свою
Бросила сосна.

(Кикаку)

ЯНВАРЬ

11

среда

Как-то так получилось, что в Дубне у меня завелась *невеста* (породниться семействами с давних пор мечтали наши матери-подруги, разъехавшиеся после военного городка по разным городам и многие годы скучающие друг без друга, вот и нашли способ) — прелестная Лена Щ., на смотрины которой я наконец-то в новогодние праздники выбрался. Все и всё в Дубне пришлось мне по вкусу: и белый снег под лыжами, и ЛЯП, ЛЯР, ЛТФ, ЛВЭ, и Бруно Максимович Понтекорво, выкрасть которого у итальянцев помог его брат-режиссёр-коммунист, и, наконец, сама «спортсменка, комсомолка, красавица»... Увы и увы, тупо довлевший над моей головой (душой, телом) *демон заранее предусмотренного* и за меня решённого вынудил сперва к восхищению, затем к сопротивлению, наконец к бегству.

Тыр-пыр, восемь дыр

ЯНВАРЬ

12

четверг

Если согласные языка — его материнские *кости*, на которых держится словесная постройка, то гласные — отцовское *дыхание* (схема речи, связывающая словесную постройку своеобразным строительным раствором; даже так: *оси* связки, напоминающие оси кристаллов или валентность в химических соединениях/формулах). Иначе говоря, согласные определяют *состав* слова, гласные — его *строй* (структуру, интонацию, тембр); посредством согласных слово бытийствует, посредством гласных — обретает *фигурность* и направление смысла.

Соответствий этому представлению о роли согласных и гласных немало; например, можно видеть в гласной показатель повышения или понижения «тона» слова, компасно-румбовый указатель направления слова, валентные связи.

Интересно развернуть слово в пространстве (хотя бы в плоскости — но не так, как оно уже линейно развёрнуто, взглянуть не только на его состав (из каких кирпичей-согласных оно сложено), но и в каком «направлении» (с какой интонацией) оно говорится-читается. Иначе говоря, в духе Хлебникова, изменить определённую звуковую наполненность гласных

в слове на «пространственные» соотношения между его согласными, о которых гласные сигнализируют.

В векторной, или румбовой, модели каждая гласная оказывается определённым «вращением» слова в плоскости. Рассмотрим простое трёхбуквенное слово БЪТ (где Б и Т — согласные, а Ъ — одна из восьми гласных (а, е, и, о, у, ы, ю, я), каждой из которых соответствует один из векторов-румбов: В, С-В, С, С-З, З, Ю-З, Ю, Ю-В. Всего восемь вариантов слова БЪТ (если Б и Т обозначают сами себя, то есть *б* и *т*, то это бат, бет, бит, бот, бут, быт, бют, бят).

В «тоновой», или ступенчатой, схеме языка — пять гласных, каждая из которых поднимает или опускает (на одну или две ступени) «тональность» следующей согласной или оставляет её на прежней ступени — по отношению к «основному» тону или к тону предшествующей согласной.

Сочетание БЪТ будем называть *ядром* слова (точнее: ядром семейства слов), где Б и Т — согласные, Ъ — любая гласная.

Основная гипотеза заключается в том, что ядро слова (ядро семейства слов) принципиально многозначно, причём *существенно* многозначно (имеет 7, 12 и больше основных смыслов), причём эти смыслы распределены по определённым гнёздам (регистрам, таксонам, разрядам, категориям), в идеале охватывающим «весь мир» (весь тесно связанный с жизнью человека мир). Этими гнёздами могут быть: половые различия, стихии, звери-птицы, еда, кухонная утварь, постройки, оружие, отношение родства, растения, природные явления, одежда, божества-планеты, деятельность, времена года, возраст-время, стороны света, минералы...

<Продолжение утрачено>

Мы шли по парку. Нас было пятеро, не считая Гурджиева. Один из нас спросил, каково его мнение об астрологии, есть ли что-нибудь ценное в более или менее известных астрологических теориях.

— Да, — сказал Гурджиев. — Но всё зависит от того, как их понимать. Они могут оказаться ценными, а могут

и бесполезными. Астрология имеет дело лишь с одной частью человека: с его *типом*, с сущностью, и не касается его личности, приобретённых качеств. Если вы поймёте это, вы поймёте, в чём заключается ценность астрологии.

Ещё раньше в наших группах велись беседы о типах, и нам казалось, что учение о типах — довольно трудная вещь, потому что Гурджиев дал нам очень мало материала, требуя от нас собственных наблюдений за собой и другими.

Мы продолжали идти, а Гурджиев всё говорил, стараясь объяснить, что в человеке может зависеть от влияния планет, а что не может.

Когда мы выходили из парка, Гурджиев замолчал и зашагал в нескольких шагах впереди нас. Мы впятером шли за ним, разговаривая друг с другом. Обходя дерево, Гурджиев обронил трость, которую носил с собой, — палку чёрного дерева с серебряным кавказским набалдашником. Один из нас наклонился, поднял трость и подал ему. Пройдя ещё несколько шагов, Гурджиев повернулся и сказал:

— Вот это и есть астрология. Понимаете? Вы все видели, что я уронил палку. Почему её поднял только один из вас? Пусть каждый скажет о себе.

Один ответил, что не видел, как Гурджиев уронил трость, так как смотрел в другую сторону. Второй объяснил, что заметил, что Гурджиев уронил трость не случайно, как это бывает, когда она за что-то зацепится, а нарочно, ослабив руку, чтобы трость упала; это вызвало у него любопытство, и он стал ждать, что будет дальше. Третий сказал, что видел, как Гурджиев уронил трость, но был поглощён мыслями об астрологии, стараясь припомнить всё, что Гурджиев говорил о ней раньше, и не обратил на трость внимания. Четвёртый видел, как падала трость и решил её поднять, но другой человек сделал это раньше его. Пятый сказал, что видел, как упала трость, а затем увидел, как он поднимает её и отдаёт Гурджиеву.

Выслушав нас, Гурджиев улыбнулся.

— Вот вам и астрология, — сказал он. — В одной и той же ситуации один видит одно, другой — другое, третий — третье и так далее. И каждый действует в соответствии со своим типом.

(Пётр Успенский. В поисках чудесного. СПб., 1992)

Гурджиев учил о трёх разновидностях голода, когда человеку не достаёт: 1) пищи, 2) воздуха, 3) впечатлений — причём каждый дефицит чреват серьёзными последствиями и болезнями, включая смертельные. Я бы добавил сюда ещё две фундаментальные (особенно для нашего времени) недостачи: 4) взаимодействия и 5) иномирного.

<Продолжение утрачено>

Нашедший подкову

Глядим на лес и говорим:

Вот лес корабельный, мачтовый,

Розовые сосны,

До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,

Им бы поскрипывать в бурю

Одинокими пиниями

В разъярённом безлесном воздухе;

Под солёною пятою ветра устоит отвес, пригнанный
к пляшущей палубе.

И мореплаватель,

В необузданной жажде пространства,

Влача через влажные рытвины хрупкий прибор

геометра,

Сличит с притяженьем земного лона

Шероховатую поверхность морей.

ЯНВАРЬ

14

суббота

ЯНВАРЬ

15

воскресенье

А вдыхая запах
Смолистых слёз, проступивших сквозь обшивку
корабля,

Любуясь на доски,
Заклёпанные, сложенные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим —
Отцом путешествий, другом морехода, —
Говорим:
И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном крыже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли
Свой благородный груз.

С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И лёгкие двуколки
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введёт в песнь имя;
Украшенная названием песнь
Дольше живёт среди других —
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного
одуряющего запаха —

Будто близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растёртого между ладоней.

Воздух бывает тёмным как вода, и всё живое в нём
плавает как рыба,
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую, —
Хрусталь, в котором движутся колёса и шарахаются
лошади,
Влажный чернозём Нееры, каждую ночь распаханый
заново

Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами,
Воздух замешан так же густо, как земля, —
Из него нельзя выйти, а в него трудно войти.
Шорох пробегает по деревьям зелёной лаптой;
Дети играют в бабки позвонками умерших
животных.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счёте.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребёнок отвечает:
«Я дам тебе яблоко», или: «Я не дам тебе яблока».
И лицо его точный слепок с голоса, которым он
произносит эти слова.

Звук ещё звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Ещё сохраняет воспоминание о беге с разбросанными
ногами —

Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром
иноходца.

Так,
Нашедший подкову
Сдувает с неё пыль
И растирает её шерстью, пока она не заблестит,
Тогда
Он вешает её на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придётся высекать искры
из кремня.

Человеческие губы,
которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остаётся ощущение тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался,
пока его несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зёрнам окаменелой
пшеницы.

Одни
на монетах изображают льва,
Другие —
голову;
Разнообразные, медные, золотые и бронзовые
лепёшки
С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои
зубы.

Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

(Осип Мандельштам)

Стол

Домашний зверь, которым шорох стал
и ход лесной, — вот этот стол уютный.
В своей глубине он дикий быт смешал
с вознёй корней, таинственной и мутной.
И иногда с поверхности его
под шум ветвей, замешенный на скрипе,
как скатерть рук, сползает торжество
медвежьих глаз, остановивших липы,
их мягкий мёд, скользящий по стволам,
сквозь лапки пчёл, сквозь леденящий запах.
И в этот миг живут по всем столам
немые лица на медвежьих лапах.

(Иван Жданов)

Читая Белого о людях, с которыми я тоже имел дело, начиная свою литературу, наконец-то я понял, почему всегда чувствовал разделяющую меня с ними бездну, это потому, что лучшие из них искали выхода из литературы в жизнь, а я искал выхода из жизни в литературу. Бессознательно подчиняясь их заказу, я старался подать литературу свою, как жизнь, то есть шёл тем самым путём, каким шли наши классики. А они все, будучи индивидуалистами, вопили исторически о преодолении индивидуализма до тех пор, пока революция не дала им по шее.

Что же такое «жизнь» в этом понимании? Это прежде всего значит быть вместе с другими (как в революции, их манила этим революция).

Разобрав бездну с символистами, беру бездну с эсерами и что определяю: эсеры пользовались мужиком как материалом для своих политических идей, и их этика была в конце концов эгоистически групповая, но вовсе не

ЯНВАРЬ

16

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЯНВАРЬ

17

ВТОРНИК

народная, как они её представляли (Савинков, доплыв до мелкого места, всё обнажил, и Чернов). У народников меня встречал костяк групповой политики, маскированный универсальностью, у символистов костяк индивидуалиста... <...>

В художественном творчестве с самого первого момента, начала подъёма, бывает соблазн прекратить подъём и отдаться изображению испытанного. И если художник поддаётся искушению и начнёт досрочно писать картину, он будет во власти демонов искусств, его создание будет изложением жизни, скрежетом зубовым, самообнажением и отрицанием уважения к другому человеку. Для того чтобы дать картину в гармоническом сочетании личных планов, нужно выждать соответствующий момент в подъёме, когда перевалил через себя к другому. Этот перевал очень труден для всякого, потому что бывает в нём один такой момент, когда приходится выпустить вожжи из рук, или всё равно как броситься с высоты, доверяясь парашюту и в то же время зная, что «а может быть, он и не раскроется».

Риск при творчестве состоит в том, что ты утратишь в себе художника и останешься обыкновенным человеком, каким-нибудь бухгалтером, и должен вперёд помириться и принять свое бытие в жизни. <...> Ты бросаешься в бездну с последними словами: «Ладно, если нет — буду жить просто бухгалтером». Вот когда согласишься на это, жить на земле бухгалтером, то демоны оставляют тебя и ты, как творец, являешься хозяином дела и создаёшь прекрасное.

Белый не дошёл до этого перевала и, далеко не достигнув «жизни», остался во власти своих демонов. Блок — более счастливый в таланте — по существу тоже не дошёл до перевала. <...> А Ремизов? Они все, большие писатели и поэты того времени, искали томительно выхода из лите-

ратуры в жизнь и не могли найти, потому что не дошли до той высоты, когда литературное творчество становится таким же самым жизнетворчеством, как дело понимающего и уважающего себя бухгалтера. Литературно-демоническое самомнение закрывало им двери в жизнь.

(Михаил Пришвин. Дневник 1934 года)

В начале 1990-х годов ездил в Обнинск к Николаю Васильевичу Боку подписывать договор на издание переведённых им книг (Успенский, Гурджиев, Чогьям Трунгпа) и от его внучки Риты узнал, что настоящая их фамилия — с немецкой частицей *фон*, что они родом с Балтики. Тут же, за обеденным столом, не откладывая на потом, уговорил Николая Васильевича восстановить *фон* если не в паспорте, так в выходных данных издательства Чернышёва, после чего немедленно за обратные крестины, за ребаптизацию благородной частицы и выпили.

На улицах Обнинска (называется так с 1946 года, когда-то было село Белкино, которым владели Годуновы, рядом посёлок Жуков, где родился маршал) обнаружилось непомерно много морских чёрных шинелей, и это в отсутствии рядом не только морей, но, кажется, и рек; объяснение простое: в 1954 году здесь построили атомную электростанцию, а при ней Учебный центр ВМФ по подготовке офицеров-подводников: тяжело на суше, легко под водой. Флаг у Обнинска вполне морской: синее полотнище с белыми волнами; где-то прячется от солнца атомная подводная лодка «Обнинск».

(Звучное фон Бок (почти «бог») — на деле всего лишь Воск_д, козёл или баран; благородные немцы-прибалты — обычно бароны, так что лежащая на виду рифма для фон Бока: барон Баран; когда-то Кирилл рассказывал про своего знакомого Фонбарона — мало того, что «фон Барон», так

ещё и в *одно слово*: как записала с опиской паспортистка, так и осталось.)

(Слову *Бог* почему-то не везёт на звуковое соседство: God — dog_E; bog_E; Bock_D; boga_S; Dieu — deux_F и др.)

→ 26 августа: Чогьям Трунгпа

Любовь Божия

ЯНВАРЬ

19

четверг

Как-то пришло вдруг в голову, что солнечный огненный шар — удобная метафора для Божественной любви и для объяснения *монистического* устройства мира, в котором есть *только Рай* (жизнь в Божественной славе и огне), специального Ада не нужно: те, кто, в отличие от святых и праведников, не приучил себя при жизни к Божественной любви, будет не «загорать», как они, в Божественном присутствии, а испытывать боль и страдание, *сгорать* нетренированными духовными телами в той самой Любви, которая по их собственной вине оборачивается для них Адом. Ад = неготовность душ к Божественному жару (ardor_E, Ade), иначе говоря, грешники сами себе устраивают Ад, их рук дело. Жизнь даётся человеку для того, чтобы он *постепенно* — через приобщение к Богу при жизни — приучил свою душу к тому, что Божественная любовь не теплохладна, а огненна и способна не готового к перепаду температур *испелелить*.

Немного спустя узнал, что сходные мысли (Ад — любовь Божия) 1300 лет тому назад высказывал св. Исаак Сирийский, да и до него, вероятно, кто-нибудь; так что открыл очередную Америку.

ЯНВАРЬ

20

пятница

В русском языке слово *промышленность* возникло из *промысла* (охоты за белкой-мышью): сначала был промысловик, который, дабы не повредить беличьё шкурку, метко поразил её в глаз стрелой или дробинкой, а затем уже промышленник.

Понимание Олжасом Сулейменовым (кажется, у него) мысли как белки — через симметрию трёх зверей у мирового древа, которым подобен шаман Боян (орёл, волк, белка, а не бог весть что: орёл, волк, мысль), и привлечение скандинавской мифологии с ясенем Иггдрасилем и белкой — вестницей богов (коготки на её лапках устроены так, что она способна бегать по вертикали ствола головой вверх и вниз, чего не умеет кошка, почему и с паническими воплями сидит на дереве, ждёт спасателей). В определённом смысле белка Рататоск из «Старшей Эдды» — зооморфное подобие герменевта Меркурия, изобретателя букв: следы её когтей на дереве — первые руны. Мысль (Слово, Логос) не зря, как видно, цепляется за Божественного посредника.

После чего настал черёд мыши — её мыслительных и музыкальных способностей. Здесь помогла статья В. Н. Топорова о мыши-музе (mouse_E, mus_G, мышь; muse_E, mousa_G, муза) и предводителе муз Аполлоне Сминфейском-Мышином. В любом случае мышь в мифологии изрядно перегружена, что видно хотя бы по первым двум русским сказкам «Курочка Ряба» и «Репка»: в одной она разбивает солнечное яйцо, во второй помогает явить миру солнечную репку... Новейшая мифология мыши — Mickey Mouse: традиционная белка-мышь задавала движение *по вертикали*, американская мышь безостановочно снуёт *в горизонтальной плоскости*.

Если пифагорейское понимание точки видит в ней единицу, то по евклидовскому — она должна быть понимаема как ничто. Отсюда понятно двойственное значение точки или ряда точек в графической символике областей разнообразнейших, когда точка или точки имеют в виду либо отметить единство, неделимость, неразделимость и относительную самодовлеимость некоторого объекта, либо, напротив, — отсутствие объекта, отрицательно-экзистенциальное суждение о нём. В первом смысле точка есть символ единицы, как, например, бусы

счётов, счётные марки, зарубки бирок, точки, ставимые в процессе счёта каких-нибудь вещей, многоточия в математических формулах, например в рядах, имеющие указать, что ранее отмеченными членами дело не ограничивается, но что имеются ещё аналогичные члены, каждый из которых, как некая мысленная единица, обозначен одной точкой; синтаксически многоточие опять имеет смысл не тот, что у начатой фразы нет конца, а, напротив, тот, что такой конец есть, и наличие в уме говорящего ряда последующих слов, как некоторых языковых единиц, поставленными точками заверяется; эти точки-единицы представляют за слова и в любой момент могли бы быть реализованы. Но как раз с обратным значением ставятся точки, например, в оглавлениях книг, в счетах или счётных книгах, в инвентарях: точками указывается здесь отсутствие некоторых объектов, ими наглядно осуществляется пустота, пробел или внушается мысль, что если в данном месте те или другие знаки, цифры, буквы, слова и т. п. отсутствуют, то это не должно пониматься в качестве недоразумения, забвения, описки, что тут можно быть твёрдо уверенным в незаполненности этих мест; точки, символы пустот, ставятся как гарантия, что эти пустоты никогда не заполнятся; так, в денежных бумагах ставятся точки, ради экономии письма сливающиеся в линию, с намерением не дать кому бы то ни было воспользоваться оставшимся пробелом и вместить туда некие символические знаки: точками пустота за ними обеспечена. Такая точка, символ отсутствия, естественно, получила в цифровой системе индусских и арабских цифр, в свой черёд происшедших, вероятно, из цифр древнегреческих, значение арифметического нуля.

(Павел Флоренский. Точка)

→ 29 марта: Точка, 2

Эмигрантские переводчики окрестили «Animal Farm» («Скотный двор») Дж. Оруэлла «Скотским хутором», оставив без внимания неуместность обеих слов («скотский» правильнее отнести к характеру или поведению, «хутор» — скорее личное хозяйство где-то на отшибе, чем коллективное). Радикально, но не совсем благозвучно, зато в духе любимых в СССР 20-х годов сокращений было бы назвать книгу «Зверхоз» или «Скотхоз» — в параллель «колхозу» (collective farm).

«Старческий дом» — из той же серии: в метрополии «старческий» немедленно наводит на мысль о маразме, в лучшем случае о склерозе, но никак не о доме; у эмигрантов, как видно, по-другому: старческие дома в Сент-Женевьев-де-Буа, Каннах, Ницце, Ментоне... Так и не удалось сподвигнуть Северюхина и Лейкинда (в «Художниках русской эмиграции») на богадельню или хотя бы на дом престарелых.

→ 1 мая: § 22

«Да воздастся каждому по вере его».

Науку подпирает природа; культура парит в пустоте и поэтому нуждается в «исходной аксиоматике» — мистике, вере, желании, плацебо.

Хороший удар зря не пропадает, говорят бильярдисты; примерно то же получилось у меня когда-то со словом «плацебо». По неведению и радикализму своему решил, что оно происходит от слова *плач*: были, мол, такие старухи-плакальщицы, которые сопровождали похоронные дроги и ритуально, «не настоящему», оплакивали мертвеца — отсюда и название средства, которое, не обладая лечебными свойствами, оказывает оздоровительный эффект.

Оказалось немного по-другому, но близко, тепло.

Плацебо — строка из псалма 114, по которой получила название вся католическая заупокойная служба (Placeto Domino in regione vivorum — Буду *благоугоден* Господу на земле живых). Впрочем, плацебо (будущее время от плацео, нравиться) — не совсем верное слово, св. Иероним перевёл неточно, правильнее: «Буду *ходить пред лицом* Господним

ЯНВАРЬ

22

воскресенье

ЯНВАРЬ

23

понедельник

на земле живых». С одной стороны, никакого плача (plaseo), я, как и св. Иероним, промахнулся; с другой — и впрямь были какие-то случайные *плакальщицы* и городские нищие, которые сопровождали умершего с чтением псалмов и, получив от его родственников плату, немедленно отбывали.

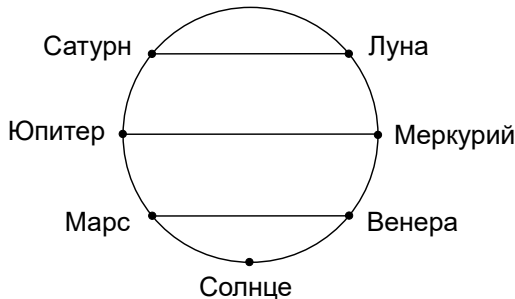
ЯНВАРЬ

24

вторник

В народном сознании Солнце и Луна образуют чету, едва ли не супружескую пару, вероятно, по причине внушительных (и равных!) размеров обоих, выделяющих их среди прочих небесных светил.

Однако с точки зрения «симметрии» правильнее спаривать планеты не по их видимому размеру, а по периоду обращения вокруг Солнца: сначала две крайние, самую медленную и самую быструю (Сатурн и Луна), потом две крайние из пяти оставшихся (Юпитер и Меркурий), наконец, две крайние из трёх (Марс и Венера), оставив Солнце в гордом/царском одиночестве, подкрепляемом в русском языке его *средним родом*.



Солнце в схеме супружеских пар-планет подбоает, как видно, соединить с двумя крайними (Сатурном и Луной) в качестве их «опекуна»; заодно необходимо определиться с половой принадлежностью Юпитера и превратить гейскую пару Юпитер-Меркурий в гетеросексуальную семью, не противопоставляя её (из соображений симметрии) двум другим парам — Сатурну-Луне и Марсу-Венере.

→ 16 марта: Сегрегация женских планет

→ 19 октября: Юпитер/Юнона

Над морем тёмным благодатным
носился воздух необъятный,
он синим коршуном летал,
он молча ночи яд глотал.
И думал воздух: всё проходит,
едва висит прогнивший плод,
звезда как сон на небо всходит,
пчела бессмертная поёт.
Пусть человек как смерть и камень
безмолвно смотрит на песок,
цветок тоскует лепестками,
и мысль нисходит на цветок.
(А воздух море подметал
как будто море есть металл.)
Он понимает в этот час
и лес и небо и алмаз.
Цветок он сволочь, он дубрава,
мы смотрим на него направо,
покуда мы ещё живём
мы сострижём его ножом.
(А воздух море подметал
как будто море есть металл.)
Он человека стал мудрее,
он просит имя дать ему.
Цветок мы стали звать Андреем,
он нам ровесник по уму.
Вокруг него жуки и пташки
стонали как лесные чашки,
вокруг него река бежала
своё высывая жало,
и бабочки и муравьи
над ним звенят колоколами,
приятно плачут соловьи,
летая нежно над полями.

А воздух море подметал,
как будто море есть металл.

(Александр Введенский)

ЯНВАРЬ

26

четверг

Медведь переходит шумно вброд узкую и мелкую на шивере Шелудянку, поднимается рывками на коричневую от умирающего папоротника сопку, поднявшись, возле отжившей, растерявшей хвою, корявой сосны, подолгу втягивая в себя крепкий боровой дух, обнюхивается, затем по противоположной поле, кое-где — там, где обрывы — съезжая на заднице по ржавому песку и мелкой гальке, спускается вниз, по-пластунски, изредка всё же взметая лёгкое облако пуха, которое тут же попадает во власть ветерка, прокрадывается сквозь заросли кипрея и, приблизившись достаточно, смотрит, пока не сгустится мрак и не ослабнут от напряжения глаза, на скособоченные, вылинявшие от дождей и солнца избёнки. Собаки его не слышат: старые попусту не шумят, о его появлениях они даже не подозревают, так как приходит он тогда, когда ветер, подтачивая сопку, дует от деревни, ну а собачонку помоложе, что противно и без всяких на то серьёзных причин сутки напролёт лаяла и выла, он ненастной августовской ночью скрал у околицы и задалвил, так что вот уже месяц как эхо и вся округа отдыхают от её пустого брёха, — словом, молчат о нём собаки, когда он приходит.

Устроился, положил морду между лап и стал наблюдать, ничего не остерегаясь: все — люди, собаки и скот — на виду.

Он родился в этих местах, а мать его ему говорила, что задолго до его рождения, лет за семь, коли не больше, жили они в той стороне, если смотреть на заходящее солнце, — там, откуда выгнал их страшный лесной пожар, и где, кроме редких захожих охотников, чьи промысловые путики,

словно бесцельно, петляют по тайге, самой чёрной и самой глухой, людей не было, поэтому — как для него, так и для неё — Ворожейка явилась для них первым примером, первой, разжигающей любопытство картиной человеческого жилья. Но ещё до того, как покинуть родину, медвежонком, она, мать, слышала от стариков, что люди живут по многу лет, на одном месте и совсем не так, как они, медведи.

Какой была раньше Ворожейка, медведь, естественно, не знал, да и не раздумывал над этим особо, а за семь лет, в течение которых он подглядывал за ней, в Ворожейке мало что изменилось. А было когда-то в этой деревне около сорока дворов, и жили в ней в основном одни горшечники да семейства три-четыре вольных рыбаков и охотников за дичью и мелким зверьём — белкой, норкой, колонком да соболем. Глина огнеупорная была — и есть, куда она девалась — рядом, в подножье сопки Северянки. Горшки, крынки, кружки, корчаги, поливные свистульки в виде рыбок, русалок и птичек — всё керамическое — целыми ободами везли ворожейские скудельники в Ялань и на Елисейский базар, где получали взамен кожи, хлеб, соль, бочки, телеги и прочие товары, нужные в хозяйстве. Жили ворожейцы не в роскоши, сказать так значило бы — согрешить против правды, но и не в нищете: было что поесть, одеть что было, кое-что и на чёрный день припасать умудрялись. Но то ли потому, что стоит Ворожейка вдалеке от тракта, то ли по какой другой более значительной причине, догадаться нам о которой не дано, осталось в деревне к настоящему времени пустых четыре дома да жилых три. О новых — добровольных — поселенцах и речи быть не может. Чем и кого сюда заманишь? Не оседают здесь — да что там — и не забредают даже в Ворожейку, если уж, правда, не нужда какая, бичи, коих глушь подобная не привлекает, да и отсутствие общества и магазина, главное-то, не устраивает, ибо не для бича придумано такое имя: анахорет. Ещё один дом на медведевой памяти стоял возле леса,

впритык к лесу так, что одна из упавших при урагане лиственниц, в просторном дупле которой долгое время ютились тихие нетопыри, проломив тесовую, мхом густо взявшуюся крышу дома, так и оставалась висеть на нём, пока не сгорела с ним заодно от подкравшегося по весне пала. Вывороченные и уцелевшие при пожаре её корни и по сей день ещё, высовываясь из-за ольхи, глядят на деревню угрюмым чудищем огромным. Словом, вон как впритык...

А уж дальше так: не знал медведь и о том, что будто бы жил в этом доме последний керамических дел искусник, Епафрас, полвека будто бы создававший из глины женщину да тайком от людей, осудивших бы и не простивших бы ему такого осквернения, отрывший и сподобивший будто бы под основу мощи почившей блаженно и безвременно ещё в прошлом веке жены. Мараковал будто бы Епафрас, мараковал и сотворил женщину, положил её в печь и сказал к сроку: «Встань мне на радость», — а она заплакала горько-прегорько, выбралась из пекла и подалась в лес. Помешался от горя без того тронутый маленько гончар и вскоре, на сто двадцать третьем, уже совершенно безумном году жизни переселился на вечное спокойствие. И с тех самых будто бы пор каждый год в ночь первого снегопада, не потревожив даже собак, приходит она к месту, где родилась, а утром, при разогнавшем все ночные страхи ослепительном свете собираются будто бы здесь ворожейцы и проездом случившиеся в Ворожейке люди и, кивая да переглядываясь да с опаской озираясь на выскорь-чудище упавшей на дом лиственницы, но не открывая при этом рта, чтобы в сердце зло не залетело, дивятся на след её маленьких, аккуратных ножек.

А теперь вот как: не знал об этом медведь, зато хорошо помнил о том, что семь лет назад простилась с ним мать и по октябрьскому первоснежью ушла туда, куда всех их в конце жизни уводит дремлющий до поры в каждом поводе — зов земли, глины. Куда? Туда, в тот край, что мира-

жом в слепнувших глазах начинает грезиться тому лишь, чей пробил час, кто до свершения долго прислушивается и различает отчётливо, наконец, в сумбуре допекающих его звуков голос своей матери, называющей внятно имя его. Вспоминая о ней теперь чуть ли не на каждом шагу, он чувствовал, что с тем вместе его всё чаще и чаще стало тянуть сюда, чтобы повидать загадочное жильё с блестящими глазами — окнами, чтобы уловить дух его, чтобы постигнуть его тайну. Но больше всего привлекали медведя обитатели жилья, словно только в них таились ответы на скопившиеся за всю его жизнь вопросы, которые он так и не разрешил, словно в них только мог он угадать ещё не угаданное, что манит, подразнивает, но не даёт, маячит, но не является, притягивает, но не приближается.

Он приходит, устроив удобно старое тело на прогретом солнцем хвойном ковре, кладёт морду на лапы и смотрит до темноты, до слёз усталости в глазах и так... словно не успевает.

Но не то же ли самое испытывают люди, поглядывая на покойников, звёзды, муравейник, огонь, облака и на убегающую бесконечно воду?

Остановившаяся, успокоившаяся, зацветшая и омертвевшая вода не так настойчиво, но тоже иногда притягивает внимание человека, пытлив он или нет по натуре — независимо.

<...>

Он долго не мог устроиться удобно: ныли, будто гнул их кто и заламывал безжалостно, кости. А только ему удавалось расположиться поуютнее, только начинала приятно окутывать его дрёма, как перед глазами возникала свернувшаяся клубком собака, которую он, чтобы прекратить её пустой брех и будоражащий тайгу вой, скрал в августе и задавил. Он уже знал, что там, наверху, идёт снег. Вспомнив об этом, он стал представлять: бело, бело, бело, бело бесконечно. А когда задремал вновь, явилась его старая

мать и, назвав его по имени, которое он уже и не помнил, поманила за собой. Он проснулся, радостно потянулся, затем встал, разгрёб вход и выбрался из берлоги. И будто ослеп, ослеп на время — таким ярким был свет. Он обошёл вокруг своего жилья и, шурша мокрой, мёртвой травой, направился к Ворожейке. Спустившись с сопки, он сразу же оказался перед деревней. И трудно было узнать ему её: он никогда не видел Ворожейку в снегу, и ещё... да, да, так до сих пор и пахнет гарью. Он потоптался на месте, взглянул издали близорукими глазами на странный след, ведущий от одного из домов к речке, и решил, что в доме ночью или под утро побывала, вероятно, росомаха и что-нибудь утащила, что волоком и унесла. Медведь не любил этого зверя. Обойдя деревню и мельком обнюхав следы убежавших в лес на промысел собак, он остановился там, где был когда-то дом искусника глиняных дел Епафраса. Затем забрёл за листовничное корневьё-чудище, скрылся за ним и уж оттуда подался туда, где будет ждать его мать: к Глухим увалам. Достигнув их, он пристроится под глинистым обрывом, положит морду на лапы и уснёт.

Весной оползёт обрыв, захоронит медведя глина.

(Василий И. Аксёнов. Осень в Ворожейке)

Я сын без родины я человек без крова
в Перми пермяк одежду обменив
проворожив над пряжею суровой
ещё судьбе скажу не обмани

круги грачей вплетаются в морщины
вручите план врачуйте говоря
учитель спи — да притчами причины
а главный скиф король монастыря

ещё метель в часы переворота
ещё грозя едва из озорства

куда же? дверью? двориком? ворота
и на прощанье первая верста

нас будут помнить ничего не зная
нам не понять мы проживём впотьмах
не обессудьте — в трёх шагах от рая
на третий день недолгая зима

на подоконник локоток убогий
смогу ли я откуда ни возьми
сказать о том что к времени мы строги
хоть устилаем путь ему костью

на первый раз не полагалось знаться
на долю снег на дольках апельсин
на долю боль — не полагалось браться
спасибо встречный тронуть упросил.

(Владимир Алейников)

Чёрный конь

В тот вечер возле нашего огня
увидели мы чёрного коня.

Не помню я чернее ничего.

Как уголь были ноги у него.

Он чёрен был, как ночь, как пустота.

Он чёрен был от гривы до хвоста.

Но чёрной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.

Недвижно он стоял. Казалось, спит.

Пугала чернота его копыт.

Он чёрен был, не чувствовал теней.

Так чёрен, что не делался темней.

Так чёрен, как полуночная мгла.

Так чёрен, как внутри себя игла.

Так чёрен, как деревья впереди,
как место между рёбрами в груди.
Как ямка под землёю, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.

Но всё-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Ещё страшнее был его зрачок.

Как будто был он чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он чёрным воздухом дышал?
Зачем во тьме он сучьями шуршал?
Зачем струил он чёрный свет из глаз?
Он всадника искал себе среди нас.

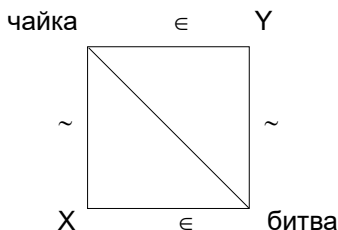
(Иосиф Бродский, 1962)

Ты всегда должен помнить, что *любой* путь — это всего лишь один путь, один из тысячи. Если чувствуешь, что не можешь идти по этому пути, ни в коем случае на нём не оставайся. Чтобы ясно понимать такие вещи, надо упорядочить свою жизнь. Только в этом случае ты постигнешь, что *любой* путь — не более как один из многих путей, и ты не обидишь ни себя, ни другого — бросив его, если так велит сердце. Но предупреждаю: твоё решение должно быть свободно от страха и гордыни. Внимательно и вдумчиво огляди каждый путь. Испытай его столько раз, сколько сочтёшь нужным. Затем задай себе — только себе — один-единственный вопрос. Та-

кой вопрос приходит в голову лишь очень старым людям. Я слышал его от благодетеля, но был тогда слишком молод и горяч, чтобы понять его. Теперь я его понимаю и передаю тебе. Вопрос таков: *Есть ли у этого пути сердце?* Все пути одинаковы — они никуда не ведут. Могу признаться: в своей жизни я прошёл немало путей, но так никуда и не пришёл. Теперь вопрос благодетеля обрёл для меня смысл. Есть ли у этого пути сердце? Если есть — путь хорош; если нет — он бесполезен. Все пути никуда не ведут, но у одного есть сердце, а у другого — нет. Один путь доставляет радость, и пока ты идёшь по нему — ты неотделим от него; а другой путь заставляет тебя проклинать всю свою жизнь. Один путь надевает тебя силой, другой — лишает её.

(Карлос Кастанеда. Учение дона Хуана)

Возвращение кеннинга. Кеннинг как составной метафоро-метонимический троп, композитная схема, соединяющая вертикаль метафоры с плоскостью метонимии, вершину с подошвой, томление с устойчивостью. Кеннинг в архаической и новой поэзии: чайка битвы, медведь потока («Младшая Эдда»), коготь солнца (А. Драгомощенко), венка виновник (И. Жданов). Прочтение и конструирование кеннинга через «тройное правило» или «поэтический квадрат». Пример: чайка битвы озадачивает читателя «неправильной принадлежностью» чайки. Эта озадаченность снимается расщеплением кеннинга на две метонимические зоны с «правильной» принадлежностью, но с неизвестными членами, которые нетрудно определить.



Диагональ: исходный кеннинг, «чайка битвы»; горизонталь: метонимическая принадлежность или смежность («чайка — элемент Y», «X — элемент битвы»); вертикаль: метафорические уподобления (Y подобен битве, X подобен чайке). Решая поэтико-арифметическую систему, получаем: Y = море (с точностью до метонимической подстановки), X = ворон (с точностью до метафорической эквивалентности). Верность решения подтверждается распространением анализа на внутреннюю структуру и внешние связи всех членов «поэтического квадрата» и обнаружением новых уподоблений, замен и контрастов, не противоречащих этому решению: белая (чайка) — чёрный (ворон); чайка и рыбы — вороны и убитые воины; корабль — армия и т. п. Строгая, близкая к алгебраической системность кеннинга опровергает мнение о нём как о совершенно условной схеме (М. Стеблин-Каменский). Не исключено, что все поэтические тропы сводятся к 2–3 главным фигурам (включая метафору и метонимию) и их композициям, в пользу чего косвенным образом свидетельствуют: концепция Крушевского (повторенная Р. Якобсоном) о формировании речевого сообщения посредством двух актов — выбора и сочетания; функциональная асимметрия головного мозга; гипотеза о происхождении поэзии из трёх родов магии — имитационной, контактной и словесной.

Проверим работу «поэтического квадрата» на «когте солнца», рассуждения те же:

коготь принадлежит кому-то из мира хищников, скорее всего пернатых (Y), который метафорически эквивалентен солнцу, а сам коготь эквивалентен X, принадлежащему солнцу, то есть

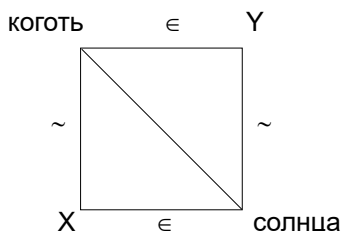
(с точностью до подстановок и эквивалентностей) X = солнечному лучу, Y = соколу,
весь бином Ньютона.

Ну и всякие там «подтверждения» верности решения: связь сокола с солнцем (воздушно-небесная стихия, сокол может смотреть на солнце), изображение в буддизме милосердного солнца с человеческими ладонями-лучами и т. п. У Драгомощенко более хищная/агрессивная/динамичная хват-

ка: лучи-когти, которые изгибаются в случае быстрого движения наблюдателя (у Гоголя сходный эпизод с закручивающимися спиралью тенями); звери (не-птицы), пусть и с когтями, отменяются как *земные* существа, нам нужны небесные, принадлежащие солнцу, не знаю, объяснил ли. Или совсем просто: солнце — небесный сокол/орел, лучи его — соколиные/орлиные когти.

С формальной точки зрения «коготь солнца» — кеннинг, никуда не денешься,

а как там их когда-то скалды создавали, кто их этому учил — не знаю, не историк.



Я вздрогнул, потому что у меня над головой заорал репродуктор.

— Внимание, — рявкнул голос так, как будто развернулась стальная пружина. — Внимание, внимание, слушать всем! Каждому, нашедшему труп...

Тут я второй раз вздрогнул, так как репродуктор произнёс моё имя. Я очень удивился: репродуктор говорил, что каждый, нашедший мой труп, обязан сообщить об этом в соответствующие инстанции. Я не только удивился, но и испугался. А ещё я возмутился: это была явная нелепость.

— Тут какое-то недоразумение, — сказал я себе, — недоразумение и нелепость. Ведь я жив, — сказал я вслух и огляделся, но никого не было рядом со мной.

Тогда я стал громко возмущаться, повторяя, что это нелепость, а возможно, и злой умысел, чтобы как-нибудь меня скомпрометировать; хотя и прекрасно понимал, что никто особенно не заинтересован в том, чтобы меня компрометировать: ведь у меня нет врагов и никогда не было. Я живу сам по себе, абсолютно независим, ни у кого ничего не прошу; и даже одна знакомая говорила однажды моей жене, что у меня золотые руки. Вот уж действительно нелепость — сперва «золотые руки» и вдруг труп.

— Нет, — сказал я громко и уверенно, — никакого трупа нет. Нет и не было. Я жив и сокрушу все козни... — Я хотел сказать «врагов», но тут опять вспомнил, что у меня врагов нет, и сказал — противников.

«Это-то я сокрушу, — подумал я, — но жена?.. Ведь с ней от этого сообщения может такое случиться!.. Просто ужасное может случиться. Она может очень расстроиться. У неё и так-то слабые нервы, а теперь она и вообще может что-нибудь подумать — это не шутки.

Надо поспешить предупредить жену, — решил я, — и поскорее успокоить, предупредить насчёт этого трупа, что это всё не так, что это нелепость, ерунда, что, наконец, вот же я. И так, сначала предупредить, затем успокоить, затем поставить перед фактом, что вот же я — живой и здоровый. А после этого сходить в инстанции и там объяснить что и как, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Только надо узнать, где помещаются инстанции, а потом сходить.

И всё это недоразумение разрешится. Надо ещё сказать, чтобы сообщили по радио, что труп нашёлся. Или, вернее, что не труп, а недоразумение... или труп?

А может быть, это мой однофамилец, — подумал я, — или человек с такой же фамилией, как у меня? — У меня довольно распространённая фамилия, — подумал я, — да что там? У меня просто очень распространённая фамилия, — с гордостью подумал я, — это мне здорово повезло, что у меня такая фамилия: с такой фамилией не пропадёшь».

Так я решил и пошёл предупреждать жену, чтобы не беспокоилась, потому что труп не мой, а какого-то другого однофамильца, потому что их у меня много, так что нет причин волноваться.

Я пошёл по Четвёртой Стипендиатской, от угла, где стоял, но успел дойти только до следующего угла и остановился, чтобы дать дорогу десантникам, которые пересекали улицу, выйдя с проспекта Торжества Ретирады, — они маршировали. Их было всего человек шесть, но маршировали они громко и в ногу, а командовал Шпацкий.

Я люблю, когда солдаты маршируют: смотришь на них и чувствуешь, что всё в порядке, чувствуешь себя в безопасности.

Я остановился, чтобы дать им пройти, и в этот момент Шпацкий заметил меня.

— Сто-о-ой! — радостно заорал Шпацкий, — стой, вам говорят, ослы проклятые! Вы что, не видите? Вам говорят, остолопы!

Те ещё два раза грохнули на месте и остановились. Я удивился: какая у них дисциплина; а Шпацкий поманил меня пальцем, и я подошёл.

— Привет, — сказал Шпацкий, глядя на меня сверху вниз, потому что он был выше меня ростом, — привет. Что ты здесь делаешь?

Я хотел сказать что-нибудь, что, мол, гуляю или иду в мебельный магазин, но Шпацкий перебил меня.

— Твоя рожа кажется мне знакомой, приятель, — сказал Шпацкий, — ну-ка, повернись так и сяк.

Я повертел головой, а Шпацкий посмотрел на меня с разных сторон.

— Точно, — сказал Шпацкий, осмотрев меня с разных сторон, — он здорово напоминает одного типа, а ребята!

Он обернулся к десантникам. Там стоял один длинный, Понтила (я его знаю), он кивнул.

— А кого же это он нам напоминает? — обратился Шпацкий к военным с таким видом, как будто это ему и в самом деле неизвестно. — А ну, предъяви паспорт! — гаркнул Шпацкий так, что я вздрогнул.

«Что с ним спорить?» — подумал я и отдал ему паспорт, а он буквально вырвал его из моей руки.

— А ну-ка, ещё повернись, — сказал мне Шпацкий, — повернись туда и сюда, а мы посмотрим.

Я опять стал вертеть головой в разные стороны, а Шпацкий сравнивал меня с паспортом.

— Да не вертись ты, вошь! — прикрикнул на меня Шпацкий. — Стой смирно.

— Так и есть, ребята, — сказал Шпацкий, — мне всё ясно: этот тип, — он ткнул мне паспортом прямо в лицо, но я успел отшатнуться, — этот тип пристукнул того парня и взял себе его паспорт.

— Какого парня? — сказал я, ещё не понимая хорошенько, в чём дело, но уже чувствуя, что тут что-то не так. — Тут что-то не так, — сказал я, — про какого парня ты говоришь? Я ничего не понимаю.

— Посмотрите на него! — возмущённо закричал Шпацкий. — Он не понимает! Вы только посмотрите на него! Да он святой, парни: у него нимб вокруг головы. Вы посмотрите, он светится, парни.

Десантники смотрели на меня и ухмылялись, а Шпацкий перекрестился.

— Погоди, — сказал я, — ты что?.. Я же... Всё-таки мы же с тобой школьные товарищи... можно сказать, одноклассники... Ну мало ли что там было в школе... Всё-таки дружба...

— Какая дружба? Ты что, ошалел? Ну и наглый тип! Ребята, что же это делается на белом свете? Этот прохвост убивает моего школьного друга... ну, друга не друга, но всё-таки, а теперь мне же пытаются втереть какую-то туфту. Ну какова наглость!

Десантники мрачно загалдели, а до меня, наконец, дошло, в чём меня обвиняют.

«Неужели он думает?..» — подумал я, но остального я даже подумать не посмел.

— Шпацкий, — взмолился я, — да ты подумай хорошенько, да разве ты меня плохо знаешь? Да неужели ты в самом деле думаешь, что я способен...

— Ты?! — Шпацкий даже щелкнул зубами от ярости. — Да кто тебе сказал, что ты это ты?

— Мне дело ясно, ребята, — решительно сказал Шпацкий, обращаясь к десанникам, — этот гад убил человека и воспользовался его паспортом.

— Да постой, — в отчаянье закричал я ему, — ты посмотри хорошенько в паспорт: ведь это же я. Ты посмотри: ведь это моя фотокарточка.

— Вот-вот, я и говорю, — подтвердил Шпацкий, — воспользовался внешним сходством и думал: сойдёт. Не-е-ет, кого-кого, а Шпацкого тебе не провести.

— Да нет же, — сказал я, — я и не думал тебя проводить. Поверь, я никого не убивал, а что похож, так только оттого, что это мой паспорт.

— Да-да, — иронически покивал головой Шпацкий, — конечно, ты никого не убивал, и паспорт этот твой. Только уж очень складно у тебя всё получается. Уж очень правдоподобно, как-то так, что все концы сходятся.

— Запомните, ребята, — сказал Шпацкий, обращаясь к своим, — ложь всегда выглядит очень правдоподобно, ложь всегда выглядит убедительно. А почему? — спросил Шпацкий.

Десантники, разинув рты, молчали.

— Да потому, дурачьё, — ответил Шпацкий на свой вопрос, — потому что ложь всегда рядится в личину правды. Потому, что преступник всегда сумеет так подтасовать факты, что в них комар носа не подточит. Правда же не нуждается в том, чтобы комары совали в неё свой нос. Вот поче-

му, — заключил Шпацкий, — всякую вещь, внешне похожую на правду, следует тщательно проверять.

Его речь произвела на всех и на меня в том числе большое впечатление, и я готов был бы с ним согласиться, если бы не был уверен в том, что он ошибается.

— Я тебя очень понимаю, — сказал я, — я, может быть, понимаю тебя, как никто, но уверяю тебя, что в моём случае ты ошибаешься.

— Ага, — язвительно сказал Шпацкий, — я ошибаюсь, пресса ошибается, один он не ошибается.

— Да что с ним разговаривать, хватай его за горло: от этих вралей последнее время совсем житья не стало, — вмешался огромный Понтила, он подскочил ко мне и, схватив за шиворот, дёрнул вверх, а потом вниз, так что я наткнулся затылком на его железный кулак.

— Смирно! — заорал на него Шпацкий. — Не разговаривать, не для того я читал вам лекцию, идиотам, чтобы вы меня учили.

— Ладно, — сказал он мне, — раз уж ты так настаиваешь на очной ставке, устроим тебе очную ставку. Пошли.

(Борис Дышленко. Антрну // Часы, № 7, 1977)

→ 8 февраля: Антрну, 2

ФЕВРАЛЬ

Софья не спала. Она перестала спать по ночам. Да и ночей почти не было, за окном всё время колыхалась тяжёлая, светлая вода, не переставая жужжали летние мухи.

Утром, уходя на завод, Трофим Иванович рассказал, что вчера у них маховиком зацепило смазчика и долго вертело, а когда его сняли, он пощупал голову, спросил: «Где шапка?» — и кончился.

Окно было уже выставлено, Софья протирала тряпкой стёкла и думала про смазчика, про смерть, и показалось, что это будет совсем просто — вот как заходит солнце, и темно, а потом опять день. Она встала на лавку, чтобы протереть верх, — и тут её подхватил маховик, она выронила тряпку, закричала. На крик прибежала Пелагея, это Софья ещё помнила, а больше не было ничего, всё вертелось, всё несло мимо, она кричала. Один раз она почему-то очень ясно услышала далёкий звонок трамвая, голоса ребят на дворе. Потом всё с размаху остановилось, тишина стояла, как пруд, Софья чувствовала — из неё льётся, льётся кровь. Должно быть, так же было со смазчиком, когда его сняли с маховика.

«Ну, вот и конец», — сказала Пелагея. Это был не конец, но Софья знала, что до конца теперь только минуты, надо было всё скорее, скорее... «Скорее!» — сказала она. «Что скорее?» — спросил Пелагеин голос. «Девочку... покажи мне». — «А ты почём знаешь, что девочка?» — удивилась Пелагея и показала вырванный из Софьи живой красный

ФЕВРАЛЬ

1

среда

кусок: крошечные пальцы на подобранных к животу ногах шевелились, Софья смотрела, смотрела. «Да уж **на, на,** возьми», — сказала Пелагея, положила ребенка на кровать к Софье, а сама ушла на кухню.

Софья расстегнулась, приложила ребёнка к груди. Она знала, что это полагается только на другой день, но ждать было нельзя, надо было всё скорее, скорее. Ребенок, захлёбываясь, неумело, слепо начал сосать. Софья чувствовала, как из неё текут тёплые слёзы, тёплое молоко, тёплая кровь, она вся раскрылась и истекала соками, она лежала тёплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля, — ради этой одной минуты она жила всю жизнь, ради этого было всё. «Я к себе наверх сбегая, тебе больше ничего не надо?» — спросила Пелагея. Софья только пошевелила губами, но Пелагея поняла, что ей теперь больше не надо ничего.

Потом Софья как будто дремала, под одеялом было очень жарко. Она слышала звонки трамваев, ребята на дворе кричали: «Лови её!» — всё это было очень далеко, сквозь толстое одеяло. «Кого же — её?» — подумала Софья, открыла глаза. Далеко, будто на другом берегу, Трофим Иваныч зажигал лампу, шёл густой дождь, от дождя было темно, лампа была крошечная, как булавка. Софья увидела белые, как клавиши, зубы — Трофим Иваныч, должно быть, улыбался и что-то говорил ей, но она не успела понять — что, её тянуло ко дну.

Сквозь сон Софья всё время чувствовала лампу: крошечная, как булавка, она была теперь уже где-то внутри, в животе. Трофим Иваныч ночным голосом сказал: «Ах, ты... Софка моя!» Лампа стала так жечь, что Софья позвала Пелагею. Пелагея дремала около кровати сидя, она вздёрнула голову, как лошадь. «Лам... па...» — трудно выговорила Софья, язык был как варежка. «Потушить?» — метнулась Пелагея к лампе. Тогда Софья совсем проснулась и сказала Пелагее, что жжёт в животе, в самом низу.

На рассвете Трофим Иваныч сбежал за докторшей. Софья узнала её: та же самая, грудастая, в пенсне, она тогда была у столяра перед концом. Докторша осмотрела Софью. «Так... хорошо... очень хорошо... А здесь больно? Так-так-так...» Потом весело, курносо повернулась к Трофиму Иванычу: «Ну, надо скорее в больницу». У Трофима Иваныча зубы потухли, рукой с угольными прожилками он ухватился за спинку Софьиной кровати. «Что с ней?» — спросил он. «А ещё не знаю. Похоже — родильная горячка», — весело сказала докторша, пошла на кухню мыть руки.

Софью подняли на носилки и стали поворачивать к двери. Мимо неё прошло всё, с чем она жила: окно, стенные часы, печь, — как будто отчаливал пароход, и всё знакомое на берегу уплывало. Маятник на стене метнулся в одну сторону, в другую — и больше его не было видно. Софье показалось: надо здесь, в этой комнате, что-то ещё сделать последний раз. Когда уже открылась дверца в карете, Софья вспомнила — что, быстро расстегнулась, вытащила грудь, но никто не понял, чего она хочет, санитары засмеялись.

Некоторое время ничего не было. Потом опять появилась лампа, она была теперь вверху, под белым потолком. Софья увидела белые стены, белых женщин в кроватях. Очень близко по белому ползла муха, у неё были тоненькие ноги из чёрных катушечных ниток. Софья закричала и, отмахиваясь, стала сползать с кровати на пол. «Куда? Куда? Лежите!» — сказала сиделка, подхватила Софью. Мухи больше не было, Софья спокойно закрыла глаза.

Вошла Ганька — с полным мешком дров. Она села на корточки, широко раздвинув колени, оглянулась на Софью, ухмыляясь, встряхнула белой чёлкой на лбу. Сердце у Софьи забило, она ударила её топором и открыла глаза. К ней нагнулось курносое лицо в пенсне, толстые губы быстро говорили: «Так-так-так...», пенсне блестело, Софья зажмурилась. Тотчас же вошла Ганька с дровами, села на корточки. Софья опять ударила её топором, и опять докторша,

покачивая головой, сказала: «Так-так-так...» Ганька ткнулась головой в колени, Софья ударила её ещё раз.

«Так-так-так... Хорошо, — сказала докторша. — Муж её тут? Позовите скорей». — «Скорей! Скорей!» — крикнула Софья; она поняла, что — конец, что она умирает и надо торопиться изо всех сил. Сиделка побежала, хлопнула дверь. Где-то очень близко ухнула пушка, ветер бешено бил в окно. «Наводнение?» — спросила Софья, широко раскрывая глаза. «Сейчас, сейчас... Лежите», — сказала докторша.

Пушка ухала, ветер гудел в ушах, вода подымалась всё выше — сейчас хлынет, унесет всё — нужно скорее, скорее... Вчерашняя, знакомая боль рванула пополам, Софья раздвинула ноги. «Родить... родить скорее!» — она схватила докторшу за рукав. «Спокойно, спокойно. Вы уже родили — кого ж вам ещё?» Софья знала — кого, но её имя она не могла произнести, вода подымалась всё выше, надо было скорее...

Ганька, уткнувшись головой, на корточках сидела возле печки, к ней подошёл и заслонил её Трофим Иваныч.

«Не я — не я — не я!» — хотела сказать Софья — так уже было однажды. Она вспомнила эту ночь и сейчас же поняла, что ей нужно сделать, в голове стало совсем бело, ясно. Она вскочила, стала в кровати на колени и закричала Трофиму Иванычу: «Это я, я! Она топила печку — я ударила её топором...» «Она без памяти... она сама не знает...» — начал Трофим Иваныч. «Молчи!» — крикнула Софья, он замолчал, из неё хлестали огромные волны и затопляли его, всех, всё мгновенно затихло, были одни глаза. «Я — убила, — тяжело, прочно сказала Софья. — Я ударила её топором. Она жила у нас, она жила с ним, я убила её и хотела, чтобы у меня...» — «Она без ф-ф-фа-мя... без ф-фа-мяти», — губы у Трофима Иваныча тряслись, он не мог выговорить.

Софье стало страшно, что ей не поверят, она собрала всё, что в ней ещё оставалось, изо всех сил вспомнила

и сказала: «Нет, я знаю. Я потом бросила топор под печку, он сейчас лежит там...»

Всё кругом было белое, было очень тихо, как зимой. Трофим Иваныч молчал. Софья поняла, что ей поверили. Она медленно, как птица, опустилась на кровать. Теперь было всё хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся.

(Евгений Замятин. Наводнение, отрывок)

Кропоткин

По улице идёт Кропоткин
Кропоткин шагом дробным
Кропоткин в облака стреляет
Из чёрно-дымного пистоля

Кропоткина же любит дама
Так километров за пятнадцать
Она живёт в стенах суровых
С ней муж дитя и попугай

Дитя любимое смешное
И попугай её противник
И муж рассеянный мужчина
В самом себе не до себя

По улице ещё идёт Кропоткин
Но прекратил стрелять в облаки
Он пистолет свой продувает
Из рта горячим направленьем

Кропоткина же любит дама
И попугай её противник
Он целый день кричит из клетки
Кропоткин — пиф! Кропоткин — паф!

(Эдуард Лимонов, 1960-е)

Ах, любезный моему сердцу друг, ах, Боря! Выиграть бы этак тыщ по десять в спортлото, умереть как личность и, закусив «фёдоровскую» трубку в зубах, в костюме из перво-сортной чесучи (и чтоб никаких винных пятен! ни-ни!), носиться с мрачными лицами по Мытнинской.

А книги все в букинистический, по номиналу, а бумаги разные в Обводный спустить поутру, когда в глазах песок ворочается, а на заднем сиденьи очаровательная длинноногая шмара сидит сонная, поикивая в это божественное утро, не в состоянии сказать нам ни слова.

И не потому не в состоянии, что ностальгия у неё какая, или сплин, или похмелье, а оттого, что немая она с рождения. И пусть улыбается она и икает, а мы нажмём тогда, Боря, на педаль и разгоним свой велосипед, прости, машину до неопикуемой скорости, ковырнём блаженно напоследок в носу и взмоем идиотским алым мотыльком над кровлями, позлащёнными косыми лучами восходящего солнца.

Но шару губить не будем. Не будем, любезный сердцу моему друг. Пусть живёт она в лучах восходящего солнца, дитя неясных перламутровых надежд.

(Аркадий Драгомощенко. Тень черепахи)

Общий путь всех русских больших писателей — это выйти из сферы искусства к чему-то более важному для человека (Гоголь, Толстой, Достоевский). На этом пути, однако, все эти великие люди имели однообразный конец в демонизме. Теперь представим себе обратный путь: художник не отдаётся во власть выманивающих его из сферы искусства идей, а напротив, как только идея начинает выманивать его, соблазнять, отрывая от земли, он самую идею выбрасывает и за то самое, снижаясь, получает в своё видение новую деталь (так построена «Журавлиная роди-

на»). На этом же пути разрешить все вопросы только средствами искусства, оставаясь художником до конца, Пришвин находит свою скромную задачу сближения, родственного внимания.

(Михаил Пришвин. Дневник 1933 года)

Толстой удивляет, Достоевский трогает.

Каждое произведение Толстого есть здание. Что бы ни писал или даже ни начинал он писать («отрывки», «начала») — он строит. Везде молот, отвес, мера, план, «задуманное и решённое». Уже от начала всякое его произведение есть, в сущности, до конца построенное.

И во всём этом нет стрелы (в сущности, нет сердца).

Достоевский — всадник в пустыне, с одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадает его стрела.

Достоевский дорог человеку. Вот «дорогого»-то ничего нет в Толстом. Вечно «убеждает», ну и пусть за ним следуют «убеждённые». Из «убеждений» вообще ничего не выходит, кроме стоп бумаги и собирающих эту бумагу библиотеки, магазина, газетного спора и, в полном случае, металлического памятника.

А Достоевский живёт в нас. Его музыка никогда не умрёт.

(Василий Розанов)

Обычное число стихий — четыре, иногда пять (если к земле, воде, воздуху, огню добавить «квинтэссенцию») — издавна казалось мне недостаточным, «*маловато будет*», особенно когда речь шла о стихиях в стихах — у поэтов они куда как разнообразнее и индивидуальнее, чем упомянутые пять.

Попробую *естественным* образом взрастить число стихий до *девяти*, рассматривая каждую из четырёх первых стихий в мужском и женском аспектах.

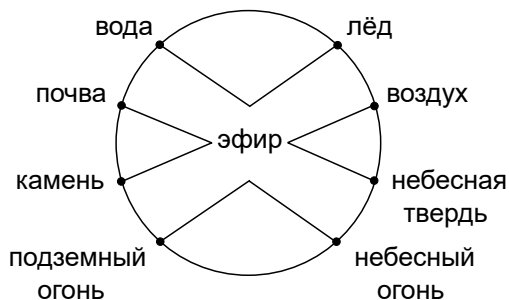
Женская земля — *почва*, рождающий и питающий слой земли, пропитанный водой и поддерживающими жизнь веществами, гумус; мужская земля — бесплодный *камень*, способный служить оружием, или кристаллический *песок*.

Женская вода — собственно *вода*; мужская вода — *лёд*.

Женский воздух — питающий дыхание *воздух*; мужской воздух — *небесная твердь*.

Женский огонь — *подземный огонь* (у него багровый цвет, его добывают трением или ударом из детей земли — деревяшек или кремня); мужской огонь — *небесный огонь*, голубая молния, ниспадающая с неба.

Число стихий можно умножить и до *тринадцати*, если каждую из четырёх исходных рассматривать в трёх аспектах-родах: мужском, женском и среднем — или расщепить каждую на три под влиянием трёх остальных, за счёт «притяжения» к ним. Так, возможна земля, пропитанная водой (почва, ил, торф), пронизанная воздухом, опалённая огнём (стекло, керамика). То же остальные производные от главных стихий (бумага, ядовитый газ, грязь...). Квинтэссенцию (плазму, эфир) оставляю пока в единственном числе как стихию Божественную.



Укол

Кончил читать Григория Богослова.
Бабушка накормила меня едой.
Сегодня еду к врачу,
Попытаюсь сыграть с ним вничью,
Избавиться от укола.
Это для меня не ново,
Словно изобретение Пирогова.
Ничего не ищу.
Жду пришествия второго.
А жизнь сурова.
Я перед врачом трепещу,
Словно он Иегова.
Врач мне напишет направление
В медицинский кабинет,
Спросив: «Сколько тебе лет?
Ходишь ли в церковь? Причащаешься ли?
Исправляешься ли?»
Я буду с ним паинькой,
Потому что лишний укол получать не хочу.
Итак, бегу ко врачу.
Всё время что-нибудь ищу.
У врача я буду лепетать,
Что мне надо спать,
Скажу: «Не надоело вам шприцы в меня вонзать,
Так-растак вашу мать».
Врачу мои слова в журнал придётся записать.
Он попробует меня усыплять
Разговором,
Что сделать укол — это не ново,
Всё равно что найти подкову.
Я для него — корова.
А он-то сам кто?
Нуль, ничто.

Только подписывает рецепты
И впивается глазами в вас цепко:
«Хочешь укол, детка?»
Так сегодня я получу укол
И лягу мертвецом на стол,
Словно вор.
Я много испытаний в жизни прошёл.
Хорошо.
Бабушка меня проводит на укол,
А раньше она меня провожала в школу.
Годы-то, годы.
Время летит,
А я по-прежнему получаю уколы.
Изменений не предвидится,
И бабушка на врача обидится.

(Василий Филиппов)

— Ну открывай, — приказал мне Шпацкий, когда мы поднялись по лестнице на мой этаж, — открывай же, что ты стоишь?

Я достал ключи и стал открывать дверь, а Шпацкий при этом пробормотал: «И ключи у него... Вон что задумал: просто волосы дыбом встают». Я подумал: «Пускай болтает что хочет, всё равно сейчас я докажу им, что я — это я».

Я открыл дверь, и вся ватага ввалилась за мной в коридор. Шпацкий цыкнул на них, чтобы они не особенно шумели, и мы прошли, по пути, правда, одна соседка из любопытства высунулась в дверь, но Понтила гаркнул на неё, и она спряталась. Я подумал, что это только лучше, чтобы соседи не знали. Шпацкий постучался, и мы вошли. Жена что-то высматривала из окна, когда мы вошли. Когда мы вошли, она обернулась и с недоумением посмотрела на нас, на нас всех, а не только на меня, на меня между про-

чим: она здорово умеет владеть собой, меня всегда это восхищало.

Мы вошли: сначала Шпацкий, потом я, а за мной Понтила. Шпацкий ловко щёлкнул каблуками и поклонился, он умеет быть вежливым, когда захочет. Жена сдержанно и с достоинством улыбнулась.

— Мадам, — вежливо сказал Шпацкий, — мы привели этого человека к вам для очной ставки. Вам знаком этот субъект?

Жена внимательно посмотрела на меня, при этом её красивые серые глаза не выразили никакого чувства: она прекрасно держалась. Она долго смотрела на меня, потом перевела глаза на Шпацкого и сказала: «Я ничего не утверждаю, но этот человек очень похож на моего мужа. Я бы даже сказала: похож как две капли воды». Она, как всегда, продумывала каждое своё слово и отвечала осторожно и дипломатично. Так, конечно, и надо, когда разговариваешь с чужими людьми, но я подумал, что лучше бы на этот раз она была менее осторожна, потому что чрезмерная осторожность тоже может повредить. Увы, так и вышло. Я споткнулся и чуть не упал, потому что Понтила дал мне подзатыльник.

— Будьте мужественны, мадам, — сказал Шпацкий, — соберитесь с силами для того, чтобы услышать печальную весть. Я сообщу вам ужасную тайну, мадам: перед вами убийца вашего несчастного мужа.

Жена слабо вскрикнула и оперлась о подоконник.

— Крепитесь, мадам, — сказал Шпацкий, — я вместе с вами скорблю о смерти вашего мужа и моего лучшего школьного друга: ведь покойный был моим одноклассником, мадам. Я знаю, ваше благородное сердце чуждо всяких мыслей и помыслов о мести, и, поверьте, не о мести, о нет, не о мести я говорю вам, мадам; но я надеюсь, что вера в справедливую кару, которая настигнет преступника за его беспримерное злодеяние, да, я надеюсь, мадам, что вера в справедливость поддержит вас в эту глубоко скорб-

ную для всех нас минуту и послужит вам хотя бы слабым утешением в вашем несчастье.

Я наконец пришёл в себя.

— Как же тебе не стыдно, — закричал я Шпацкому. — Как ты смеешь? Я вовсе не покойник. Ведь это же я! — в отчаянье закричал я жене. — Неужели ты не узнаешь меня? Вспомни: ведь ещё вчера ты дарила мне ласки.

Жена внезапно покраснела.

— А тебе не стыдно? — гневно спросила она. — Тебе не стыдно выносить сор из избы?

Я смирился. Я опустил голову. Я знал, что моя жена никогда не верила мне, но и никогда не думал, что ее недоверие зайдёт так далеко.

«Ну что ж, — подумал я, — я не буду выносить сор из избы, тем более что мне это и не поможет».

Я в последний раз посмотрел на нашу комнату: на китайскую вазу, на большой цветок в углу, на рояль, на котором я часто играл жене классику — она вообще любит классику и не выносит ничего другого, — я посмотрел на всё это, на то, что ещё в первые месяцы нашей семейной жизни так заботливо и при активной помощи своей жены я устраивал; я окинул всё это прощальным взглядом и хотел окинуть ещё раз, но Понтила не дал мне этого сделать: он взял меня за шиворот и встряхнул.

— Ну вот, — со сдержанной яростью сказал Понтила и, немного проведя меня, дал мне коленкой пинка в зад, не то чтобы так уж сильно — я даже не полетел вперёд и только слегка качнулся, но всё же это было очень неприятно, и мне было стыдно перед моей женой. Тут же подскочил ещё один, небольшой, но, видимо, очень сильный; он взял меня за локоть и так сжал, что я встал на цыпочки. Но это было уже в коридоре. Мы вышли на лестницу. Тут Понтила снова дал мне пинка, и я едва удержался за перила.

— Что хватаешься, гад? — сказал Понтила. — Шкуру свою бережёшь, убудок?

— Оставь его, — сказал Шпацкий, — оставь, не пачкайся. — Уже на улице он, с презрением взглянув на меня, сказал мне: — Достукался, отщепенец проклятый?

И с внезапной злостью он ткнул меня кулаком в губу. Не ударил — только ткнул, но мне стало очень горько: всегда горько чувствовать презрение окружающих, а тем более что я понимал, как мало я это заслужил.

Мы шли в неизвестном направлении, а в конце улицы, на краю безоблачного неба, солнце садилось на крышу невысокого дома, и за шагавшим впереди десантником длинная тень влеклась по мостовой и билась головой о бульжник; и когда мы начинали догонять её, мне каждый раз было страшно наступить на неё, как будто это был живой человек; я пытался укоротить шаг, и сразу же Понтила дёргал меня вперёд и с ненавистью говорил: «Ещё упирается — скотина!» Я спотыкался, и тогда другой, маленький, поддёргивал мой локоть кверху и сильно сжимал его, так что я каждый раз охал от боли. Шпацкий шагал рядом, с каменным лицом и с таким видом, как будто я на самом деле оскорбил его. Может быть, я действительно чем-нибудь оскорбил его, но я был почти уверен, что нет, и как бы там ни было, но в любом случае ему не стоило так себя вести: это всё-таки неблагоприятно. Мы повернули, и тени теперь упали направо, и за следующим поворотом были уже впереди нас и наконец взбежали головами по ступенькам и выросли над нами на стене.

(Борис Дышленко. Антрну)

Влад так и не пристрастил меня гадать на «И-Цзине» в своём стиле — чуть ли не каждый день и на любую мелочёвку, но раза 3–4 в жизни я гадал (серьёзно, с полной отдачей), и результат каждый раз был на удивление провиденциальный, особенно первые два: «Ещё не конец» (64-я гекса-

грамма) и «Жертвенник». Когда я принёс книгу Щуцкого Лене, ей при первом гадании выпала 63-я гексаграмма (обращение 64-й, те же вода и огонь, но в другом порядке, «Уже конец»), и мы оба с удивлением покачали головами. Влад в своём каждодневном заглядывании в «синхронность мира» использовал не только «И-Цзин», но и газетные заголовки, события городской жизни, случайные встречи — и несколько раз было очень неслабо (в разгар его экспериментов с «дельфинами» и расставания со страстно любимой Раей перевернулся на Неве плавучий ресторан «Дельфин» и т. п.).

Ягода морошка

ФЕВРАЛЬ

10

пятница

Перед смертью Пушкин попросил морошки — то ли мочёных ягод, то ли настоя из них, то ли морошковой водички, но вряд ли верно сводить его просьбу только к реальной ягоде, возможен, если вспомнить двуязычие Пушкина (в Лицее его прозвали Французом не только за поведение, но и за отменное знание французского языка), и словесный ход: в слове морошка (и другом её названии «моховая смородина») приметен слог МОР (смерть), смягчённый суффиксом -ошк. Как будто Пушкин смирился уже со своей смертью и призывает её к себе, ласково именуя «смертушкой»: — Дайте мне ягоду морошку!

→ 15 июля: Ich sterbe

ФЕВРАЛЬ

11

суббота

«Где к зловещему дёгтю примешан желток» (О. Мандельштам).

Как это нередко бывает, одна строка поэта-прозорливца перевешивает труды десятков общественных институций: государственный флаг Израиля с развесёлыми бело-голубыми колёрами, изобретённый в 1949 году (или раньше, не знаю историю), не имеет, на мой взгляд, ни малейшего отношения к трагической судьбе и мифологии Израиля, и здесь еврей-

ский поэт Мандельштам, снова и снова упоминая в стихах чёрный и золотой цвет, конечно же, прав: вот каким должен быть еврейский флаг!

В скобках замечу, что флаги двух стран, с которыми евреи Нового времени имели особые и мощные взаимоотношения (Германия и Россия), как будто впечатали в себя два главных цвета избранного народа («и свет во тьме светит»): у Германии чёрно-красно-жёлтый, у России чёрно-жёлто-белый.

Рассуждение о *правильных* еврейских цветах рикошетом затрагивает и правильный флаг России: конечно же, это не стандартный бело-сине-красный триколор, каковых в одной только Европе полтора десятка, а — поскольку флаг обязан выполнять *разделительную* функцию — имперский чёрно-жёлто-белый. Помимо упомянутой связи русской судьбы с еврейской важно то, что все три его цвета являются *сузубо мифологическими* и непосредственно вызывают к области бытия и небытия: чёрный — тьма, материнская матка, жёлтый/золотой — солнце, цвет инобытия на иконе, белый — свет, весь мир («белый свет»).

→ 1 марта: Чёрный квадрат

Философская

Неразбериха — неизбывный грех
Эпох, страстей, философов досужих.
Какой меня преследовал успех,
Что я не разобрался в них во всех,
Вернее, разобрался, но всё хуже.

Когда ж мне путь познания опостыл
И опостынул город беспокойный,
Я сделался охотником простым,
А уж затем заделался запойным,
Со взором просветлённым и пустым.

Люблю декабрь, январь, февраль и март,
Апрель и май, июнь, июль и август,

И Деве я всегда сердечно рад,
И Брюмерам, чей розовый наряд
Подчас на ум приводит птицу Аргус.

Теперь зима в саду моём стоит.
Как пустота, забытая в сосуде.
А тот, забытый, на столе стоит.
А стол, забытый, во саду стоит.
Забытом же зимы на белом блюде.

Повой, маэстро, на печной трубе
Рождественское что-нибудь, анданте.
Холодная, с сосулей на губе,
Стоит зима, как вещь в самой себе,
Не замечая, в сущности, ни канта.

(Саша Соколов. Между собакой и волком)

Осенью 1982 года Борис Останин и Александр Кобак предложили мне участвовать в работе над грандиозным коллективным проектом — энциклопедией Русского Зарубежья. Речь шла, прежде всего, о культурном наследии эмигрантов первой волны, то есть покинувших Россию вскоре после 1917 года. Отдельные тома этой энциклопедии предполагалось посвятить писателям, художникам, философам, музыкантам и учёным. Книжки намечалось подготовить в машинописном виде, а затем переправить фотоплёнки издателю (Владимиру Аллю) в Париж.

Конечно, в то время большинство из нас могло лишь смутно догадываться об истинных масштабах творческого наследия русской эмиграции. Но мы уже успели открыть для себя такие имена, как Набоков, Ходасевич, Бердяев или Кандинский (не говоря уже о всем известных Бунине и Куприне), а это позволяло сделать предположение о весьма широком поле для совместной исследовательской дея-

тельности. Мне было предложено заняться томом, посвящённым художникам, а в качестве некоего образца показана подборка из примерно двадцати машинописных статей Кобака о русских философах.

Идея энциклопедии (как и многие другие плодотворные идеи в нашем кругу) принадлежала сотруднику журнала «Часы» Борису Останину. Я не могу теперь вспомнить, когда именно мы с ним познакомились, но точно знаю, что ещё до нашей первой встречи слышал его имя от разных людей. Это был высокий худощавый человек с красивыми чертами лица, выглядевший намного моложе своих лет (ему тогда было лет 35), всегда по-детски жизнерадостный и остроумный. Он любил фантазировать, к любой работе относился как к игре и обладал познаниями в самых разнообразных областях, включая экзотические религии, магию и каббалу. В Публичной библиотеке его часто можно было застать за одновременным (в буквальном смысле) чтением сразу нескольких книг, причём язык текстов для него как будто не имел принципиального значения. Эта эрудиция позволила Борису со временем стать уникальным редактором «культурологического» склада, способного обратить внимание авторов не только на опечатки и запятые, но и на некоторые моменты принципиального порядка. Останин окончил математический факультет университета, но давно работал истопником, и теперь единственным, что связывало его с математикой, было странное мистическое отношение к цифрам и ко всякого рода числовым совпадениям.

Я решил незамедлительно включиться в работу и пригласил к сотрудничеству Олега Лейкинда, которому избранная тема тоже была близка. Будущее показало, что мы не были пустыми прожектёрами и сумели выполнить взятые на себя тогда обязательства, доведя начатый труд до завершения. Но могли ли мы предполагать тогда, что

начинаем работу, последняя точка в которой будет поставлена только через семнадцать лет!

(Дмитрий Северюхин. *Вечер в Летнем саду*, 2000)

→ 13 июня: Королевский флеш

Донжуановский список

ФЕВРАЛЬ

14

вторник

Люся К. (tragic, death) — Люба Б. (platonic) — Татьяна Ш. — Люся Ч. — Тамара В. (жена, один год) — Таня К. (жена, одиннадцать лет, приёмный сын) — Римма К. (passionate) — Люда К. — Тома Ч. (жена, пятнадцать лет, сын и дочь) — Катя П. (platonic, passionate) — Лена Ш. — Лика М. (жена, сын) —

Не такой, по нынешним меркам, и длинный, тем более что я скорее *серийный моногам*, чем *синхронный полигам*, то есть однолюб, способный сменить одну неукоснительную верность на другую, столь же неукоснительную. Занятно, что мои влюблённости и привязанности почти не покидают двух букв алфавита — «Л» и «Т». То ли проделки судьбы, то ли заледеневшая случайность... Говорить подробнее о любви, душевной или телесной, как-то неловко. То же о музыке.

→ 30 сентября: Русская рулетка

ФЕВРАЛЬ

15

среда

Любовь, как мышь летучая, скользит в кромешной тьме среди тончайших струн, связующих возлюбленных собою.

Здесь снегопада чуткий инструмент, и чёрно-белых клавишей его приятно вдруг увидеть мельтешенье.

Внутри рояля мы с тобой живём,
из клавишей и снега строим дом.
Летучей мыши крылья нас укроют.
И, слава Богу, нет ещё окна,
пусть светятся миры и времена,
не знать бы их, они того не стоят.

Приятно исцелять и целовать,
быть целым и другого не желать,
но вспыхнет свет — и струны в звук вступают.
Задело их мышинное крыло,
теченье снегопада понесло,
в наш домик залетела окон стая.

Но хороша ошибками любовь.
От крыльев отслоились плоть и кровь,
теперь они лишь сны обозначают.
Любовь, как мышь летучая, снуёт,
к концу узор таинственный идёт —
то нотные значки для снегопада.
И чёрно-белых клавишей полёт
пока один вполголоса поёт
без музыки, которой нам не надо.

(Иван Жданов)

В рассказах о <Паоло> Трубецком подчёркивались обычно две вещи: во-первых, его вегетарианство и любовь к животным, во-вторых, то обстоятельство, что он *ничего не читал*. Последнее надо понимать буквально. Стремясь, как он говорил, к полной внутренней самостоятельности и желая избежать посторонних влияний, художник совершенно отказывался от знакомства с какой бы то ни было литературой.

Трубецкой близко сошёлся с Л. Н. Толстым ещё в 1899 году, в Москве, когда он создал замечательный бюст Толстого

и первую из своих чудесных статуэток, изображающих Льва Николаевича верхом на коне.

И вот с тех пор повторяли об этом оригинальном человеке, что он «ничего не читает». Рассказывали, что однажды кто-то спросил Трубецкого, читал ли он, по крайней мере, «Войну и мир» Толстого.

— Я ничего не читаю, — невозмутимо ответил скульптор, не стесняясь присутствия автора знаменитого романа и как бы даже оскорбляясь, что его не хотят понять и запомнить о нём такой простой вещи, как то, что он «ничего не читает».

(Валентин Булгаков. Встречи с художниками)

Что же смертного, брат?

Что же смертного ты мне расскажешь?

На Крещение зима объявила горчичный фантом.
Распахнулась болезнь,
наш отец всё сидит, не приляжет,
кашель-камень кружит,
дом обходит, редющий дом.

О природе бровей
догадайся — не выложит Боже.

Смерть — любое число,
а его календарь не найдёт.

Флейтик в лае застрял,
Кайрос дёргает вожжи,
бег смягчает нарочно...

Что такое? Скажи?

— Снег идёт.

Есть начальная песня,
добиблейский фонарь, знак пустыни.

Ей сказать,

да из детского сна не достать.
Обнищала зима,
еле-еле накланчит на иней.
Кайрос саночки рвёт,
ветер носится, не удержать.

Удержу, говорю.
Даже если воронья семёрка
оборвёт небосвод
и на скатерть положит металл...
Всё молчит наш отец,
всё печалится маятник мёртвый.
Что же смертного, брат,
ты расскажешь, а я передам?

(Пётр Чейгин, 1973)

Женское тело всегда занимало особое место в моих снах, это так. И не только во снах — наяву тоже осаждают его образы. Девушка в открытом летнем платье нагибается, чтобы застегнуть босоножку; ниспадающие на лицо волосы открывают склонённую шею — нежную кожу и шелковистый пушок; смотрю и представляю её себе уступающей, сразу же податливой. Облегающее, зауженное книзу, с разрезом до бедра платье, какие носят элегантные модницы из Гонконга, лопается от движения стремительной руки, внезапно обнажающей округлое, упругое, гладкое, сверкающее бедро и изящный изгиб поясицы. Кожаная плоть, выставленная в витрине шорника в Париже, представленные на обозрение груди восковых манекенов, театральная афиша, реклама подвязок или духов, влажные полуоткрытые губы, железный браслет, ошейник — всё это создаёт вокруг меня постоянно возбуждающий фон. Обычная кровать с резными столбиками по краям, шёлковый шнур, горящий кончик сигары часа-

ми не покидают меня в путешествиях, часами и днями. Устраиваю праздники в садах, церемонии в храмах, пове- леваю обрядами жертвоприношения.

Арабские и монгольские дворцы наполняют мой слух отзвуками стонов и вздохов. Симметричный рисунок на мраморных плитах византийских церквей отражается в моих глазах бёдрами женщин, широко раздвинутыми, распахнутыми. Достаточно увидеть в тёмном подземелье древней римской тюрьмы два вмурованных в стену желез- ных кольца, чтобы перед моими глазами возникла пре- красная невольница, прикованная цепью, приговорённая к долгим медленным пыткам одиночества и пустоты.

Порой подолгу рассматриваю молодую танцующую женщину. Люблю смотреть на обнажённые плечи, а когда она отворачивается — на очертания груди. Гладкая кожа чувственно блестит в свете люстры. Молодая женщина грациозно выполняет сложные танцевальные па на неко- тором расстоянии от партнёра — от его высокого, чёрного, слегка отстранённого силуэта. Мужчина почти незаметно направляет её движения, а она, опустив глаза, внимательно следит за мужской рукой и мгновенно выполняет при- каз, послушная малейшим правилам церемонии. Потом, следуя неуловимому знаку руки, плавно совершает новый поворот и показывает обнажённые плечи и шею.

А вот она отошла чуть в сторону, чтобы застегнуть пряжку изящной туфельки — золотые ремешки, несколько раз скрещённые на ступне. Сидит на краешке дивана, на- клонившись вперёд; ниспадающие на лицо волосы обна- жают нежную кожу, покрытую шелковистым пушком. Но две фигуры появляются на переднем плане и заслоняют женщину: высокий мужчина в чёрном смокинге и красно- лицый толстяк, рассказывающий о своих путешествиях.

Гонконг знают все — его гавани, джонки, высотные до- ма Колуна и узкие, с разрезом почти до бедра платья, ко- торые носят евроазиатки, высокие, гибкие девушки, — об-

легающие платья из чёрного шёлка, без рукавов, с крохотным стоячим воротничком. Тонкий блестящий шёлк поверх голого тела плотно натягивается на животе, груди и бёдрах, чуть морщится в талии и разбегается паутиной складок, когда женщина, прервав прогулку у витрины магазина, поворачивает лицо к стеклянной стене; она застыла, едва касаясь тротуара носком левой туфельки на очень высоком каблуке. Застыла, готовая в любое мгновение продолжить прерванную прогулку (правая рука, чуть согнутая в локте, устремлена вперёд, уже не касаясь тела), и несколько секунд не отрывает взгляда от молодой женщины из воска, одетой точно в такое же, как у неё, платье из белого шёлка, или от собственного отражения в стекле, или от плетёного поводка, на котором манекен — с обнажёнными руками, не касающимися тела и согнутыми в локтях, — держит левой рукой огромного чёрного пса с блестящей шерстью, напряжённо застывшего впереди своей хозяйки.

Имитация живого зверя безупречна. Если бы не абсолютная неподвижность и подчёркнутая напряжённость фигуры, не слишком блестящие и устремлённые в одну точку стеклянные глаза, не ярко-красная пасть, открывающая чересчур белые зубы, можно было бы решить, что через мгновение пёс возобновит прерванное движение: коснётся земли вытянутой задней лапой, вскинет уши, оскалится. И примет грозный вид, словно встревоженный чем-то, возникшим в поле его зрения, или учуяв опасность для хозяйки.

Правая ступня женщины почти на том же уровне, что и задняя лапа пса, едва касается земли носком туфельки на очень высоком каблуке: маленький треугольник из золотистой кожи открывает только кончики пальцев, а тонкие ремешки троекратно скрещиваются на подъёме и огибают на щиколотке тонкий, едва различимый, хотя и очень тёмный, почти чёрный чулок.

А чуть выше расходится разрез на белом шёлковом платье, совсем немного, слегка показывая колено и бедро. Невидимая молния поможет одним движением от талии до плеча расстегнуть платье, открыть нагое тело. Гибкое тело вьётся влево и вправо, пытаясь сбросить с себя тонкие кожаные путы, сжимающие лодыжки и запястья, но тщетно. Конечно, танцевальные па ограничивают свободу движений; всё тело до последнего пальца настолько послушно строгим и беспощадным правилам, что танцовщица — как кажется — замерла в эту минуту на месте, и только едва заметное волнение её бёдер отмечает ритм танца. Внезапно, подчиняясь некому приказу партнёра, она делает плавный поворот и тут же застывает вновь, не двигаясь или двигаясь так медленно, так неприметно перемещаясь на месте, что только тонкий шёлк платья скользит по её груди и животу.

И опять краснолицый толстяк заслоняет танцовщицу, рассуждая о жизни в Гонконге и модных магазинах в Колуне, где можно купить самый прекрасный в мире шёлк. Не закончив фразы, он поднял налитые кровью глаза, словно задумался над причиной того внимания, которое — как ему кажется — сосредоточено на его особе. Стоящая перед витриной женщина в облегающем платье сталкивается взглядом с изображением, отразившимся в стеклянной стене, медленно поворачивает направо и продолжает прерванный путь, двигаясь вдоль домов ровным уверенным шагом. Из пасти огромного, с блестящей шерстью пса, которого она держит на поводке, стекает несколько капель слюны, после чего зверь, звучно щёлкнув зубами, закрывает пасть.

Именно в эту минуту вдоль тротуара, по которому мелким быстрым шагом удаляется женщина с чёрным псом, в том же направлении быстро катится коляска, которую толкает рикша — китаец в тёмно-синем комбинезоне и традиционном головном уборе в виде широкого конуса. Чёрная холщёвая кабина между двумя высокими колёсами с ярко-красными деревянными спицами совершенно скры-

вает пассажира. А может быть, единственное сиденье, прикрытое кабиной, пусто, и на нём лежит лишь старая сплющенная молескиновая подушка, сплошь потёртая, с дырой в углу, из которой торчит набивка. Этим, возможно, объясняется та поразительная скорость, с которой бежит маленький, с виду измученный человек; босые, грязные ступни мелькают поочерёдно, как заведённые, между красными жердями, а китаец ни на минуту не замедляет бег, чтобы отдышаться. И вот он уже исчез в конце аллеи, там, где густеет тень, отбрасываемая огромными фиговыми деревьями.

Толстяк с красными пятнами на лице и налитыми кровью глазами отворачивается, усмехнувшись — на всякий случай, конечно, — неопределённой усмешкой, которая никому не предназначается. И направляется в буфет, по-прежнему в сопровождении высокого мужчины в смокинге, который слушает его всё так же любезно, не произнося ни слова, и толстяк, размахивая короткими руками, продолжает прерванный рассказ.

Буфет почти опустел, на тарелках, в беспорядке расставленных на уже несвежей скатерти, почти не осталось ни бутербродов, ни пирожных. Мужчина, который жил в Гонконге, заказывает шампанское, и лакей в белой куртке и белых перчатках тотчас же подаёт ему бокал на прямоугольном серебряном подносе. Поднос на мгновение повисает над столом, сантиметрах в двадцати от протянутой руки толстяка, который собирался уже взять бокал, но — внезапно увлечённый какой-то мыслью — громким и чуть охрипшим голосом вновь принимается рассказывать всё тому же молчаливому приятелю о своих путешествиях. Повернувшись к слушателю, он говорит, сильно откинув голову, ибо тот значительно выше его. Приятель толстяка смотрит на серебряный поднос, на бокал золотистого шампанского, на поднимающиеся в бокале пузырьки, на руку лакея в белой перчатке, затем на самого лакея. Но внимание лакея внезапно поглощает что-то другое, сзади и чуть ниже, загоро-

женное длинным столом с белой, ниспадающей до самого пола скатертью. Кажется, он вглядывается в лежащий на полу предмет, который сам лакей или кто-то другой случайно обронил или, возможно, бросил умышленно и скоро поднимет. Он ждёт только, когда поздний клиент, заказавший шампанское, снимет бокал с подноса, опасно — как для напитка с бегущими вверх пузырьками, так и для хрустального бокала, — в это мгновение накренившегося.

(Роб-Грийе. Дом свиданий)

→ 18 августа: Дом свиданий, 2

ФЕВРАЛЬ

19

воскресенье

В это утро неясная грань между сном и явью пришла на Рим: струи фонтанов, узкие улочки, древние арки, пышный золотистый город, цветущие деревья, оплывшие от времени камни. Иногда перед пробуждением он возвращался в Париж, иногда ступал по булыжной мостовой военной Германии, катался на горных лыжах, жил в занесённой снегом хижине в Швейцарии. Иногда оказывался на вспаханном поле в Джорджии, на охотничьей зорьке... Сегодня в безвременном царстве сна он побывал в Риме.

Проснувшись в номере нью-йоркской гостиницы, Джон Феррис почувствовал вдруг, что его ожидает какая-то неприятность, хотя и не знал, какая именно. Это чувство, вытесненное утренними хлопотами, продолжало одолевать его и после того, как он оделся и вышел на улицу. Стоял безоблачный осенний день, полосы бледного солнечного света виднелись между окрашенными в пастельные тона небоскрёбами. Феррис вошёл в ближайшую аптеку, сел возле окна и заказал себе завтрак по-американски: яичницу и сосиски.

Неделю тому назад Феррис прилетел на похороны отца на свою родину, в Джорджию. Испытанное им потрясение убедило Ферриса в том, что молодость его прошла. Волос

на голове редел, обнажились залысины, на них пульсировали жилки, тело было худым, не считая округлившегося живота. Феррис любил своего отца, одно время их отношения были невероятно доверительными, но с годами сыновняя привязанность ослабла. И вот, казалось бы, давно уже ожидаемая смерть вызвала у Ферриса сильнейшую тревогу. Пока была возможность, он провёл несколько дней с матерью и братьями. Самолёт в Париж вылетал завтра утром.

Феррис достал зачем-то записную книжку и с нарастающим интересом принялся её перелистывать. Фамилии и адреса: Нью-Йорк, европейские столицы, потускневшие записи времен Джорджии. Поблёкшие, написанные то печатными буквами, то неверной пьяной рукой. Бетти Уилс — недолгая любовь, сейчас она замужем. Чарли Уильямс — ранен в Хюртгенском лесу, с тех пор ничего не слышно. Жив ли ты, старина Уильямс? Дон Волкер — работал на телевидении, очень разбогател. Генри Грин — после войны стал пить, говорят, лежит в больнице. Кози Холл — кажется, умерла. Весёлая глупышка Кози — невозможно себе представить, что и она может умереть. Феррис захлопнул записную книжку: его одолевали случайность и эфемерность, ему стало страшно.

Внезапно он вздрогнул: выглянув в окно, он увидел в уличной толпе свою бывшую жену. Элизабет медленно прошла мимо окна, совсем рядом. Он не мог понять ни дикую дрожь своего сердца, ни сопровождавшее её чувство отчаяния и благодати, которое осталось и после того, как Элизабет ушла.

Феррис торопливо расплатился и выбежал на улицу. Элизабет стояла на углу Пятой авеню возле светофора. Феррис поспешил к ней, собираясь заговорить, но вспыхнул зелёный свет, и Элизабет перешла улицу. Феррис заторопился следом. У следующего перекрёстка он мог её догнать, но почему-то сбавил шаг. Её светло-каштановые волосы волна-

ми падали на плечи. Глядя на неё, Феррис вдруг вспомнил, как отец сказал однажды, что у Элизабет «прелестная осанка». У следующего перекрёстка она свернула, Феррис повернул тоже, хотя догонять её больше не хотелось. Даже его тело отреагировало на Элизабет: ладони стали влажными, сердце сильно билось.

Восемь лет прошло с тех пор, как Феррис в последний раз видел свою бывшую жену. Он знал, что она давно уже вышла замуж, что у неё родились дети. В последние годы Феррис редко о ней вспоминал, но сразу после развода утрата Элизабет буквально подкосила его. Со временем раны затянулись, Феррис влюбился, потом влюбился ещё раз. Сейчас у него была Жанна. Любовь к Элизабет, конечно же, — дело минувшее. Но почему в таком случае дрожит его тело и мечется ум? Феррис понимал, что его омрачённое сердце совершенно не гармонирует с солнечным осенним днём. Внезапно он развернулся и большими шагами, почти бегом направился в гостиницу.

(Карсон Маккаллерс. Гость, отрывок)

Фома шёл по просёлку и видел, что начинается весна. Вдалеке простирали свои потревоженные воды пруды, небо сияло, жизнь была молодой и свободной. Когда солнце поднялось над горизонтом, будущие рода, племена и даже виды, представленные особями без рода и племени, в полном величия беспорядке наполнили собой одиночество. Лишённые надкрылий стрекозы, которые начнут летать лишь через десять миллионов лет, стремились взлететь; слепые жабы ползали в грязи, пытаясь открыть глаза, которые увидят только в будущем. Другие, привлекая к себе в прозрачности времени взгляд, высшим пророчеством глаза вынуждали смотрящего на них стать визионером. Сверкающий свет, в котором освещённые, пропитанные

солнцем, все суетились, чтобы получить отблеск нового пламени. Идея гибели подталкивала куколку превратиться в бабочку, смерть для зелёной гусеницы состояла вобретении тёмных крыльев сфинкса, а в подёнках присутствовало горделивое сознание вызова, производившее упоительное впечатление, будто жизнь может длиться вечно. По полям раскинулся идеал цвета. По прозрачному и пустому небу раскинулся идеал света. Мог ли мир быть прекрасней? Деревья без плодов, цветы без цветов несли на концах своих стеблей и побегов свежесть юности. Вместо розы на розовом кусте виднелся неспособный увянуть чёрный цветок. Весна объяла Фому, будто сверкающая ночь, и он почувствовал, как его нежно зовёт эта преисполненная блаженства природа. Для него в лоне земли расцвёл фруктовый сад, в пустоте ничто пролетали птицы, а у самых ног раскинулось безбрежное море. Он шёл. Не по-новому ли блестел свет? Казалось, в результате веками ожидавшегося чуда природы теперь его видела земля. Примулы подставляли себя под его невидящий взгляд. Кукушка заводила слышимую для его глухого уха песню. Его созерцала вселенная. Вспугнутая им сорока была уже всего лишь вообще птицей, испускающей свои крики осквернённому миру. Катился камень, проскальзывая через вереницу бесконечных изменений, единство которых было единством мира в его великолепии. Среди всего этого трепета распустилось одиночество. Было видно, как из небесных глубин поднимается лучезарное и ревнивое лицо, глаза которого вбирали в себя все другие лики. Возник низкий и мелодичный звук, отдававшийся в недрах колоколов звуком, которого никто не мог услышать. Фома шёл вперёд. Маячащее перед ним огромное несчастье всё ещё казалось кротким и спокойным событием. Через долины, по холмам, его путь протянулся по сияющей земле словно грёза. Странно было проходить среди благоуханной весны, которая отказывала в своём запахе, созерцать цветы, которые при всей их яр-

кости невозможно было заметить. Взлетали, надевая пустоту красным и чёрным, избранные являть собой каталог оттенков разноцветные птахи. Блеклые пичуги, призванные составить консерваторию без нот, воспевали отсутствие песни. Ещё виднелось несколько летевших на настоящих крыльях подёнок, ибо их поджидала смерть, и это было всё. Фома придерживался своего пути, и мир вдруг перестал слышать пересекавший бездны гулкий крик. Не слышимый никем жаворонок устремил к солнцу, которого не видел, высокую трель и покинул воздух и пространство, не находя в небытии вершины своему подъёму. Расцветшая при приближении Фомы роза коснулась его сиянием тысячи своих венчиков. Соловей, который следовал за ним с дерева на дерево, донёс до него свой изумительный немой голос, немой и для себя, и для всех остальных певец, распеваяющий однако восхитительные песни. Фома приближался к городу. Больше не было ни шума, ни тишины.

(Морис Бланшо. Тёмный Фома)

К портрету работы Владимира Яковлева

бывает сон как зренье
забвение как слух —

бывает: память — языком в беспомыслии! —

когда как вещь ты есть — *свет-проруби-оттуда:*

лица не разрывая!.. —

(огнём-за-кровью-знаком)

(Геннадий Айги, 1965)

Я пришёл в украинской рубахе
 вечера душны были и тяжки
 Прямо сборник греческих стихов
 от персидских стонущий штыков

Мильтиад. Возня у Саламина
 и нивесьть откуда прилетев
 Имя упоительное «Фрина»
 В русской орхидее «Львиный зев»

*(Эдуард Лимонов, из «Шестого сборника» //
 Часы, № 23, 1980)*

ФЕВРАЛЬ

22

среда

Открытка чувств
 и балалайки
 ядрёна вошь
 напой
 ударив
 труд через черп
 песчаной спайки
 лук волн
 и-сус-лик
 государев
 поместный дом
 место-именье
 бард-Эль-
 до-родовые схватки
 на зуб-
 бы-
 как-
 пу-
 затем-мненье
 в яйце у-коконы
 до кладки

ФЕВРАЛЬ

23

четверг

и то-
пи-явь
и эпо-леты
на-древных гнёзд
стол-
би-о-
сока
детинец
коротко отпетый
стрелой
торчащею из ока

за-
то-гу-
бам-пера Двуречье
взять Волго-Балт
как воде-вильца
и вся латынь
чужих увечий
в холодном теле
будет биться

жжёт розг-говор
в экспрессе скорый
летит
этапно по-этичен
как вечный зов
как перст который
не в бровь а в глаз
на-«вы»-
кол-тычет

и-по-хо-тенью
водяное
сам плоскодонок
на канатах

за-тянет лежбище
сосною
и-гры-жи-рок
на кило-ваттах

(Александр Горнон, 1986)

Говорят, Александр Секацкий в молодые годы был чемпионом Киргизии по прыжкам в высоту. В школе с неплохими результатами прыгал в высоту Аркадий Драгомощенко. У Высоцкого есть несерьёзная, ироническая, а на деле вполне педагогическая и философская песня про прыгуна, который в конце концов поймал-таки за хвост славу: «Разбег, толчок, полёт... И два двенадцать / Теперь уже мой пройденный этап!»

Прыгун соревнуется не с реальным соперником (как в боксе, борьбе или беге), а с чем-то абстрактным («высота 2–12») и по-своему абсолютным, даже Божественным, воплощённым в вздтой к небу планке. Есть только *ты и планка* (твое будущее достижение, и новая планка, на сантиметр выше, когда эта, дай бог, будет пройдена). Опустошающее соревнование с абсолютном напоминает движение воина-кочевника к *отступающему горизонту*, о котором пишет Секацкий в статье/поэме о *воинах блеска* и Сергей Коровин в повести «Изобретение оружия» (её анализ есть у Ольги Абрамович). Воины и оружие, упомянутые в связи с движением к горизонту (воистину мужской удел!), вряд ли здесь случайны.

Взлетев над планкой, на мгновение замереть над ней, узрев внутренним взором то, что видели романтики-альпинисты (Лермонтов, Ницше), и испытать то, что испытали они: вершина горы, какие-то мелкие точки внизу, нет, даже не люди, едва заметные домишки, холодный ветер, развевающийся плащ-крылатка. Ну и оставленная про запас, на самый последний случай, возможность падения, *гибели*.

В новой печке дрова загорелись бодро. Блюдце ячневой каши и чашка кофе отправили мысли в созерцательные блуждания. Прошёлся взглядом по лицам фамильного клана Ведерниковых, давая каждому его члену право заявить о себе.

Фотографии убеждали, что человек проживает не одну, а несколько жизней. Вот он — мальчик с широко расставленными, словно спящими глазами — его он не помнит. Вот студент-технолог с усиками и смелым взглядом в упор. Этого парня помнит и немного знает. Не одобряет его честолюбие по пустякам и его смешных врагов вроде некоего Панкова, от которого в памяти осталась одна фамилия и желание его уничтожить, — глупый парень вечно вертелся около него ради того, чтобы лишний раз сказать: «Нэпман, как идут делишки?» — отец Вадима ремонтировал, настраивал и продавал рояли. Оказалось, от гнусных шуток средство есть — нашёл Панкова, прижал к стенке: «Ты хочешь спросить, как у нэпманов идут дела, — ну, спрашивай, а я, потерпи, хочу разбить тебе нос!» Парень отказался от удовольствия унижать однокурсника, который привлекал внимание девиц факультета... А вот снимки совсем недавние: Ефим, ещё кто-то и он сам — улыбаются. С чего это, по какому поводу?.. А здесь Костя, Надя и он — такие наивные, какими, наверно, никогда в действительности не были. И всё же это время можно считать счастливым, хотя в последние годы он имел обоснованные претензии к политике, к работе, к начальству. И к себе.

Пошли фото матери и отца, дядек и тёток. Платья, пиджаки, жилеты выглядели театрально, а подобного выражения лиц теперь уже не встретишь. Они знали и читали нечто такое, что он, наверно, был способен понять, но стать таким же не мог. Пытается ли он сам в себе что-то отстоять? Или иначе: что исчезло бы вместе с ним, если бы он остался там — в окопе, рядом с дядей Мишей, а ночные бомбы упали бы иначе?..

Он никогда не придавал значения разговорам с многочисленной родней, среди которой в прошлом были и часовые мастера, и мебельщики, поминался некий Никита Никитич, державший каретную мастерскую, и уже совсем легендарный отпрыск рода Константин Ведерников, воровчавший большими делами в Архангельской губернии. Родня рассеялась, обмельчала, приписала Вадиму «ведерниковскую хватку», не требующую от него ничего, кроме успеха. Его старший брат Юрий потому был так безжалостно забыт, что пошёл в другую породу. Красавчик и щёголь, он запутался в каких-то махинациях торгсиновских комбинаторов, и не ради трезвого дела, а из-за красивой ветреницы, — и сгинул в трудовых лагерях; мать что-то знала, какие-то вести о нём получала, но говорила о нём беспристрастно: «Нагусарил Юра».

Ведерниковское, наверно, в Вадиме было. Ему многое удавалось. Впрочем, грандиозных планов не строил. Работа, успех, деньги, лёгкие романы, потом семья, дружба и преданность в той мере, в какой преданы тебе. Всё меньше сомнений, всё больше скуки, всё меньше свободы, всё больше пустоты...

Вадим смотрел на огонь, подбирающий остатки пожертвованного печке стула...

Часы показывали половину второго ночи, когда он прижал ухо к входной двери. Дом спал. На лестнице светила покрашенная синей краской лампа. Чердак над головой, о котором жильцы вспоминали лишь при большой стирке — там сушили бельё, — стал для него чем-то вроде лаза. Теперь он знает, что может выбираться из квартиры более безопасным путём, выходить не во двор, а сразу на бойкий проспект. На чердаке может при необходимости некоторое время скрываться и там же подбирать полезные вещи.

(Борис Иванов. Дезертир Ведерников, отрывок)

→ 15 декабря: Дезертир Ведерников, 2

Бесконечно мало. Очень мало, но бесконечно.

Закаты во всё одних окнах, как денежные бумажки, старые тополя, чёрные ели, «багряный» «закат». А облачные будни с бесцветными деревьями и небом — оккупационные марки.

Деревья, как нарисованные Рембрандтом, известный рисунок — три дерева, коричневого тона, такая же земля. Прорисованы отдельные листья тополей, как монеты, бесконечные, на корявых стволах. Как монеты ветра, обрисованы обобщённо в одном повороте — светлой стороной к нам, к зрителям, к налогоплательщикам.

Я видел ряд цветных закатов, похожих на устойчивую валюту, багряно-синих, и бесконечную череду пасмурных дней, похожих один на другой. А в окна противоположной стороны дома, в восточные, увидел восход (один). Он также напомнил новую ассигнацию, что-то вроде двух сторон нового франка, размазанного на огромных холстах Ларри Риверсом.

(Леон Богданов. Шесть писем из больницы)

В начале 90-х летом в Быково вздумал читать Никифору и Полине «93-й год» Виктора Гюго, но вскоре сообразил, что детям роман не по силам: слишком много «информационно-го краснбайства», им его не усвоить. Помогла гелиевая (правильно: желейная?) ручка, которой я к тому времени обзавёлся: очень удобно писать, хоть сидя, хоть лёжа, хоть вниз головой — не то что шариковые, которые быстро сохнут. Тут же принялся чиркать («адаптировать») книгу и получившееся читать детям по вечерам (принято ими было гораздо лучше), потом, уже в конце 90-х, отнёс Вадиму Назарову в «Амфору» с предложением: я берусь редактировать/адаптировать ещё два романа Гюго («Отверженные» и «Собор

Парижской Богоматери»), издадим все три в серии «Лёгкое чтение» или «Школьное чтение», а там ещё кого-нибудь из «чрезмерно пишущих», так тройками и будем выпускать, составил список. Вадим, увы, мою исчирикannую книжку где-то затерял, прошло лет пять — семь, и я-таки не утерпел: довёл до сходной кондиции «Отверженных» и «Нотр-Дам», чем, к слову сказать, вызвал недовольство многих приятелей, осудивших моё *варварство* по отношению к классическому наследию. Какое-то время книги лежали без дела у Вадима, но вдруг (после выхода одноимённого мюзикла, что ли) «Собор Парижской Богоматери» резво двинулся вперёд и был издан в серии «Школьная библиотека» с множеством других классических (в отличие от «Собора» неадаптированных) книг для внеклассного чтения.

Я, собственно, не знал, что книга вот-вот выйдет, случайно зашёл в «Амфору» и был призван к ответу выпускающим редактором Татьяной Викторовной:

— Борис, можно два вопроса по Гюго?

— Неужели «Нотр-Дам» выходит?

— На той неделе везём в типографию. Первый вопрос: В честь чего это вы Флёр-де-Лис де Гонделорье окрестили Лилией?

Я замялся:

— Понимаете, Татьяна Викторовна, Флёр-де-Лис и Лилия — что в лоб, что по лбу: один и тот же цветок. Зато Лилией зовут мою жену, вот я и перевёл Флёр-де-Лис её именем.

Татьяна Викторовна понимающе кивнула и замолчала.

Я: — А второй вопрос?

Она: — Нет, нет, этого вполне достаточно!

→ 6 сентября: Могила Грейва

Убить красоту — когда любуются цветами,
закричать: «Начальник едет!»

Из китайской премудрости

Нет, не Фьоренца золотая
нас папской роскошью манит —
Савонарола из Китая
железным пальчиком грозит.

О век — полустлевший остов!..
Но я, признаться, не о том —
ведь красоту убить так просто,
испортив воздух за столом.

Русь избежит стыда и плена,
ей красоты не занимать —
начнёт российская Елена
большие ноги бинтовать.

Пока Европа спит и бредит,
случается то там, то тут:
Москва горит, начальник едет,
цветы безумные цветут.

(Александр Миронов)

МАРТ

Искусствоведы называют «Чёрный квадрат» Малевича современной иконой, излагая дело примерно так: художник взял православную икону и, изъяв из неё изобразительность, залил её чёрным цветом, из которого, как из тьмы, как из матк-матрицы, может родиться/возникнуть всё, что угодно. Похожий ход есть в японской серии из десяти ксилографий «Поиски буйвола», в которой одна из гравюр представляет собой пустой белый прямоугольник — казалось бы, исчерпание всех возможностей, но («Ещё не конец!») в следующей гравюре возникает обновлённый земной мир с найденным мальчиком-погонщиком буйволом.

Напомню, что появлению «Чёрного квадрата» предшествовала работа Малевича над оформлением оперы Матюшина и Кручёных «Победа над солнцем» (1913 год), судя по всему, оказавшая определяющее влияние на его идейное и творческое развитие. Собственно эту победу он и запечатлел в своей главной картине, заменив диск (символ неба и бесконечности) квадратом (символ земли и ограниченности), а золотой цвет (питающий, способствующий росту) — чёрным (смертный). Отсюда её квадратный формат, который, если бы Малевич боролся/работал с иконой, наверняка остался бы прямоугольным.

Ещё один подход к «Чёрному квадрату» отчасти объясняет повышенный интерес к нему еврейских зрителей: если начертать каждую из 22 букв еврейского квадратного алфавита на прозрачной подложке и положить все стопкой, буквы взаимно перекроют друг друга и образуют чёрный квадрат. Малевичская картина и впрямь содержит в себе весь мир, по крайней

МАРТ

1

среда

мере, *все буквы*, а поскольку, согласно еврейской мифологии, Тора и буквы *предшествуют* мирозданию, будучи его схемой и программой, значит — и весь мир. Ко всему прочему, что наверняка приятно правоверному иудаисту, картина Малевича не нарушает запрет Торы на изображение живых существ, более того, что приятно уже гедонисту и энциклопедисту, в свёрнутом виде содержит в себе *все возможные изображения*, как словесные, так и зрелищные. Имеющий глаза и созерцающий «Чёрный квадрат» да увидит его во всей полноте-плероме, а не имеющему о ней расскажут.

МАРТ

2

четверг

В начале перестройки увидел в Манежном переулке дом № 6, в котором когда-то жил Корней Чуковский, и загорелся мыслью, ради которой едва было не отправился в Москву к его внучке Елене Цезаревне. Мысль очень простая: открыть в этом доме (можно заодно и в Москве, где Чуковский жил на Тверской улице, тоже в доме 6) интерактивный музей, посвящённый не только Чуковскому, но и другим детским писателям, поэтам, сказочникам. Всё, что угодно: мультфильмы, пьесы, кукольный театр, живые актёры, песенки, ТВ, куклы в рост и маленькие, рассказы, чтения, буфет, продажа сувениров — всё можно трогать и переставлять, играть, составлять пазлы, приходить сюда целыми классами и не на один час, проводить уроки по литературе, покупать книги и т. д.

Сказка о волшебном коте, который носил часы на голове

МАРТ

3

пятница

Жил-был дом. И в доме никто не жил. Поселилась в доме старушонка и родила сыночка. Превратился сынок в обезьянку и улетел под небеса. Прилетел тут ворон и говорит: «Если принесёшь мне золотые часы от волшебного кота, твой сыночек вернётся к тебе».

Старушонка собралась в дорогу и пошла с недовольным лицом, ведь она этого кота никогда не видела. Шла-шла

и приходит в пещеру, а там сидит кот с золотыми часами на голове и с кольцом на лапе. Говорит старушечка: «Превратись мне в незнатное животное!» И превратился кот в незнатное животное: хвост торчком, на хвосте узлы, вместо головы баллон, а вместо лап винты и кнопки. Кот спрашивает: «Кто я?» Старушка говорит: «Незнатное животное». — «Правильно. А откуда я?» — «Там, на пасу, они пасутся, ты оттуда». — «Тоже правильно».

Подхватила тогда старушонка часы и кольцо и побежала в лес. Кот за ней. Он дунул изо всех сил: поднялся ветер, понёс старуху и ударил оземь. «Ох!» Но тут прилетел ворон, поклевал её, и она ожила. А ворон набросился на кота и склевал его — ведь без часов кот силы не имел. Потом ворон слетал под небеса, принёс старухе сыночка и забрал часы. А кольцо осталось у старухи.

(Максим Кузьмин-Пригон. 5 лет)

Свет-Абеляр

На стекле его рассудка ропшущая арматура неба набрасывает всё те же знаки влюблённости, всё те же сердечные сообщения, которые, может быть, смогли бы спасти его мужественность, если бы он согласился спастись от любви.

Нужно, чтобы он уступил. Ему не удержаться. Он уступает. Его давит это мелодическое кипение. Уд его бьётся: мучительный вихрь бормочет, шум его выше, чем небо. Поток катит трупы женщин. Кто же это? Офелия, Беатриче, Лаура? Нет, чернила, нет, ветер, нет, камыши, берега, отмели, пена, хлопья. Уже без шлюза. Из своего желанья сделал себе шлюз Абеляр. На месте слияния жестокого и мелодичного толчка. Это Элоиза, катящаяся, уносящаяся — к нему — И ОНА ЕГО ТАК ХОЧЕТ.

Вот на небе рука Эразма сеет горчичные зёрна безумия. Ах, забавное снятие. Движением своим Большая Медведи-

ца закрепляет время в небесах, закрепляет небеса во Времени — всё с той извращённой стороны мира, где небо предлагает свою лицевую сторону. Необозримая переобезличка.

А из-за того, что у неба есть лицо, у Абеяра есть сердце, в котором столько звёзд самостоятельно пускают ростки и отрачивают хвосты. На грани метафизики эта любовь, замощённая плотью, пламенеющая камнями, рождённая в небе после стольких-то оборотов горчицы безумия.

Но Абеяра гонит небеса, словно синих мух. Странное бегство. Где укрыться? Господи! быстро, игольное ушко. Крохотнейшее игольное ушко, через которое Абеяра не сможет пробраться за ними на поиски.

До странности хорошо. Ибо теперь всегда хорошо. С сегодняшнего дня Абеяра больше не целомудрен. Оборвалась тонкая цепь книг. Он отрекается от целомудренного совокупления, *дозволенного* Богом.

Как сладостно совокупление! Даже человеческое, даже применяющее женское тело, какая серафическая и близкая похоть! Небо, которое можно достать с земли, но не такое прекрасное, как земля. Рай у него под ногтями.

Но ведь не стоит пространства одной женской ляжки зов звёздного освещения, пусть даже и с самого верха башни. Не так ли, священник Абеяра, для которого любовь столь светла?

До чего светло совокупление, до чего светел грех. Так светел и ясен. Какие завязи, как сладостны эти цветы изнемогающему полу, как прожорливы головы наслаждения, как удовольствие рассеивает свои маковые зёрна на самом пределе наслаждения. Свои маковинки звуков, маковинки дня и музыки, одним махом крыла, как гипнотический отрыв птиц. Из заточенного лезвия сна удовольствие извлекает резкую и таинственную музыку. О! этот сон, в котором любовь соглашается раскрыть глаза! Да, Элоиза, это в тебе я на ходу со всей своей философией, в тебе я отбра-

сываю ризы и на их место даю тебе людей, чей рассудок дрожит и отсвечивает в тебе. Пусть Дух любит себя, ибо Женщина наконец любит Абеляра. Дай же пене хлынуть из глубины лучезарных перегородок. Деревья. Растворительность Аттилы.

Он её имеет. Он обладает ею. Она его подавляет. И каждая страница открывает свой смычок и движется вперёд. Это книга, где переворачиваешь страницу мозга.

Абеляр отсек себе руки. Найдётся ли отныне симфония, равная этому жестокому поцелую бумаги? Элоиза пожирает огонь. Открывает дверь. Поднимается по лестнице. Звонят. Топорщатся нежные расплющенные груди. Кожа на них много светлее. Тело белое, но тусклое, ибо никакой женский живот не чист. Кожа цвета плесени, живот пахнет хорошо, но до чего убог. А ведь сколько поколений грезят о нём. Он здесь. Абеляр по-мужски держит его. Выдающийся живот. Всё так и не так. Пожри солому, огонь. Поцелуй открывает пещеры, попав в которые, умирает море. Вот он, тот спазм, в котором пресекается небо, к которому прибой прибывает духовную коалицию, и ПРОИСХОДИТ ОН ИЗ МЕНЯ. Ах! словно я чувствую теперь лишь свои внутренности, безо всякого духовного моста над собой. Без всяких этих магических чувств, уймы добавочных секретов. Она и я. Мы вполне тут. Я держу её. Я обладаю ею. Последний гнёт сдерживает меня, замораживает меня. У себя в паху я чувствую, как меня останавливает Церковь, жалуется, парализует ли она меня? Не убраться ли мне восвояси? Нет, нет, я раздвигаю последние стены. Святой Франциск Ассизский, охраняющий мой уд, подвинься. Святая Бригитта, разожди мне зубы. Святой Августин, распусти мне пояс. Святая Катерина Сиенская, усыпи Бога. Конечно, бесповоротно кончено, я больше не девственник. Небесная стена перевёрнута. Я обуян вселенским безумием. В своём наслаждении взбираюсь я на самую высокую вершину эфира.

Но вот святая Элоиза услышала его. Позже, бесконечно позже она слышит его и говорит с ним. Как бы ночь наполняет его зубы. Входит, мыча, в пещеры его черепа. Костлявой муравьиной рукой она притворяет крышку своего склепа. Будто внимаешь во сне старой ведьме. Она дрожит, но он-то дрожит намного сильнее. Бедняга! Бедный Антонен Арто! Это, конечно, он, импотент, карабкается по звёздам, пытается сопоставить свою слабость с основными принципами и стихиями, из каждой утончённой или уплотнённой грани природы силится составить мысль, которая держалась бы, образ, который держался бы стоймя. Если бы он мог создать столько стихий, представить по крайней мере какую-то метафизику краха, дебют был бы крушением.

Элоиза сожалеет, что на месте живота у неё не было стены наподобие той, о которую она опиралась, когда Абельяр теснил её бесстыдным жалом. Для Арто утрата является началом той смерти, каковой он жаждет. Но до чего же прекрасен образ кастрата!

(Антонен Арто. *Свет-Абельяр // Часы, № 64, 1986*)

Восемь русских народов

Не однажды уже говорилось о «загадочной русской душе», а мне в этой *загадочности* видится элементарная ошибка говорящего, произносящего «русский» в единственном числе, а в уме пересказывающего с одного «русского народа» на другой и третий... Понятно, что у каждого из них свои особенности, свои крайности, и вот это *пересказывание* и создаёт впечатление о фантастической ёмкости русской души, о её невероятной способности вмещать в себя любые крайности и противоречия. Попробую разобрать этот палимпсест по слоям, но сначала несколько предупреждений.

1) До сих пор нет удовлетворительного определения народа/нации/этнуса: какими бы совокупностями особенностей

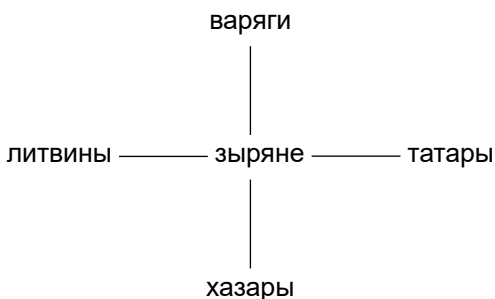
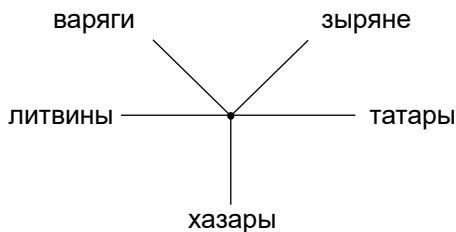
(генетических, географических, религиозных, языковых, культурных, экономических) ни определить этнос, всегда найдётся *народ-выродок*, который из этого определения выпадет.

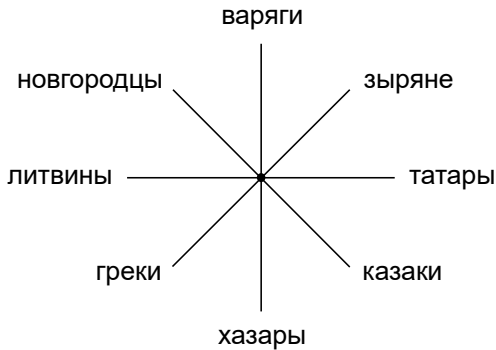
2) То, что я ниже называю народом (в кавычках или без) — это всего-навсего «этно-функциональная ячейка» для тех или иных конкретных исторических народов, не надо их путать.

3) Понуждаемый аскетизмом схемотворчества, я остановился на небольшом количестве «русских народов» (5–8), имея в виду их существенную роль в истории России (на политическом уровне — мирный или военный захват столицы).

4) «Русские народы» то и дело вступали в борьбу (войну, вытеснение, внутреннюю колонизацию) друг с другом, образуя при этом разного рода временные союзы.

5) Все схемы ориентированы по сторонам света, отчасти отражая географическое происхождение/местопребывание «народов».





Чтобы немного разобраться с заполнением «этно-функциональных ячеек» историческими народами и сословиями: варяги — скандинавы, немцы, американцы, протестанты, агрессоры; зыряне — фино-угорские народности, лесные жители, мирные язычники, не умеющие властвовать; татары — степняки, завоеватели; казаки — степняки, селяне, военная охрана; хазары — иудеи, евреи, торговцы; греки — православные; литвины — западные и южные славяне, поляки, украинцы, селяне; новгородцы — лесные люди, торговцы.

МАРТ

6

понедельник

Два грузина в горах, узкая тропинка, внизу пропасть. Один поскользнулся и упал в пропасть. Второй, склонившись над ней, кричит:

— Гоги, ты живой?

Тот отвечает: — Живой, живой.

Важа: — Руки целые, потрогай?

Гоги: — Целые, целые.

— А ноги?

— Ноги в порядке.

— А голова, что с головой?

— И голова целая.

Важа: — Гоги, так что ты там внизу делаешь, поднимайся наверх!

Гоги: — Не могу, я ещё лечу...

Никогда не проявлял особого интереса к Марксу и почти не читал его, разве что по диагонали, из-за необходимости получить зачёт. Кто-то говорил мне о его невероятной глубине, на постижение которой надо никак не меньше 10–15 лет, но я предпочёл отдать эти годы другому. Что-то в его учении представлялось мне принципиально неверным: если существует два взаимозависимых класса, высший и низший — господствующие и подчинённые (рабовладельцы и рабы, феодалы и крепостные, капиталисты и рабочие), которые видоизменяются по мере внедрения в промышленность технических новинок, непонятно, почему и во имя чего эта биполярная конструкция должна вдруг стать, как только рабочие захватят власть, однополярной? Почему бы не сохраниться всё тем же двум главным классам, разве что по-иному названным: управляющие и служащие или ещё как?

Общество богаче, чем два «противоборствующих» класса, древние индийцы говорили о необходимых для его нормального существования *четырёх* главных кастах. Вся манихейская воинственность Маркса (кто кого?) была мне, мирному человеку, *не по душе*; ко всему прочему он не обратил внимания в своём анализе на торговый и банковский («деньги из воздуха») капитал, только на промышленный. Есть ещё замечания, да Бог с ним.

Созвездие Рака обозначают следующим образом: ♋, почти как ♁ ♀, где кружок — центр тяжести каждого из головастиков — женского (Инь) и мужского (Ян). При чём тут Рак, ума не приложу, всего лишь одно из двенадцати созвездий зодиака, центрального положения (в отличие от Овна, с которого начинается год) не занимает и вряд ли имеет касательство к разделению человечества на два пола... Ладно, отложу его пока в плюшкинскую кучу, авось со временем что-нибудь прояснится.

В арабском оформлении числа 69 принято видеть замысловатую сексуальную позу, но можно разглядеть и другое.

♁ — женщина: центр её тяжести, сердцевина, главный круг интересов — в нижней части; фигура с огромным низом-

животом и едва обозначенным придатком головы в виде крохотной запятой, загибающейся всё к тому же низу, к земле.

9 — мужчина: вверху карикатурно огромная голова, центр его жизни (Homo Sapiens), внизу фаллический отросток, устремлённый вверх, к небу, к голове, к её задачам и интересам. Сексуальное у женщины-шестёрки притягивает к себе её разум и подчиняет себе; у мужчины наоборот: разум притягивает сексуальное и назначает ему свои привычки и фантазии.

А теперь неожиданность, выплывшая для меня *задним числом*: в «Книге перемен» прерывистая женская линия называется *шестёркой*, сплошная мужская — *девяткой*, и это при том, что китайская числовая нотация ничуть не похожа на арабскую!

МАРТ

9

четверг

Интересную гипотезу предложил в частной беседе Б. В. Останин, который возводит к названию «Великая Швеция» известное выражение «Великая (*mikla*) и святая (*Svitjod*) Русь», т. е. фактически этимологизирует его как «Великая Шведская Русь». Свою гипотезу он мотивирует упомянутой в данной статье «особой соотнесённостью Великой Швеции с областью божественного». После христианизации Руси эта соотнесённость, поддержанная фонетической близостью слов *Svitjod* и «святой», вполне могла закрепиться в самоназвании «Святая Русь».

(Дмитрий Мачинский. *Русско-шведский пра-Петербург // Шведы на берегах Невы. Стокгольм, 1998*)

Здоровье как истина

Здоровье, как человек привык считать, — «абсолют», которого никогда много не бывает; болезнь — в точности наоборот: даже если её *очень мало*, всё равно это *уже болезнь*. Совсем иное свет и тень, жара и холод — по крайней мере, в их отношении к человеку, который для «нор-

МАРТ

10

пятница

мального существования» нуждается в тех или иных пропорциях света и тени, тепла и холода, а не в абсолютном преобладании одного из членов пары.

Это я к тому, что метафора света как истины вводит в заблуждение, а ведь на ней основаны многие «религиозные» прения (Мефистофель — Фауст, Воланд — Левий Матвей и др.). Свет и тень *в подходящих пропорциях* (фон и фигура) есть условие зрения, избыток того или другого (слепящий свет, полный мрак) лишают человека возможности видеть. Свет и тьма — не антагонисты, а сотрудники в процессе человеческого видения-ведения, тогда как здоровье и болезнь — антагонистическая пара, они пожирают друг друга: когда есть здоровье, нет болезни, когда есть болезнь, нет здоровья. Именно эта пара (а не традиционная свет-тьма) является удовлетворительной метафорой традиционного представления о добре и зле.

Невидимый охотник

Может быть — к счастью или позору, —
Вся моя ценность только в узоре
Родинок, кожу мою испещривших,
В тёмных созвездьях, небо забывших.
Вся она — карточка северной ночи:
Лебедь, Орёл, Андромеда, Возничий,
Гвоздья, и гроздья, и многоточья...
Ах — страшны мне эти отличья!
Нет, не дар, не душа, не голос —
Кожа — вот что во мне оказалось ценнее,
И невидимый меткий охотник,
Может, крадётся уже за нею.
Бывают такие черепахи,
И киты такие бывают —
Буквы у них на спине и знаки,
Для курьёзу их убивают.

Не на чем было, быть может, флейтисту,
Духу горнему записать музыку,
Вот он проснулся среди вечной ночи,
Первый схватил во тьме белый комочек
И нацарапал ноты, натыкал
На коже нерождённой, бумажно-снежной...
Может, ищет — найдёт и срежет.
(Знают ли соболь, и норка, и белка,
Сколько долларов стоит их шкурка?)
Сгниёт ли мозг и улетит душа...
Но кожу — нет! — и червь не съест,
И там — мою распластанную шкурку,
Глядишь, и сберегут как палимпсест
Или как фото неба-младенца.
Куда же мне спрятаться, смыться бы, деться?
Чую дыхание, меткие взоры...
Ах, эти проклятые на гибель узоры.

(Елена Шварц)

МАРТ

12

воскресенье

В начале 1980-х годов Таня Поздняева, ревностно оберегаемая от гостей и развлечений Володей, за два с небольшим года написала замечательную книгу о главном романе М. Булгакова. Я поучаствовал в этой книге, но, за дальностью пребывания и редкими приездами, минимальным образом: её названием («Воланд и Маргарита»), публикацией отрывка в журнале «Часы» (№ 61, 1986) и 2–3 мелкими догадками, включая определение начала работы Булгакова над романом по поздней Пасхе, приходящейся на начало мая (2 мая в 1926 году и 5 мая в 1929).

Ещё одна догадка, которую я до Тани сразу не донёс, а потом как-то забыл, касалась музыкальных фамилий Берлиоз — Стравинский — Римский(-Корсаков) с неочевидной, «по буквам в слове», отсылкой Стравинского к психиатру Равино из «Головы профессора Доуэля» А. Беляева, да и сама отделённая от тела голова (как, по слухам, украденный в 1931 году при перезахоронении в присутствии нескольких советских писателей-

мародёров череп Гоголя) хороша. Что касается клиники Стравинского под Москвой, не знаю, где её прообраз, если таковой был, находился (плохо разбираюсь в московских ландшафтах), первой в голову, естественно, приходит Канатчикова дача, то есть Алексеевская психбольница, построенная двоюродным братом Константина Алексеева-Станиславского (ещё один, если не музыкальный, то театральный момент). Константин Сергеевич Станиславский в аббревиатуре К.С.С., кис-кис, вот вам и (на 10 %) коты — и в «Театральном романе», и в «Мастере и Маргарите» (Бафомет/Бегемот, впрочем, никакой не кот). Помимо купца Канатчикова, на землях которого была построена Алексеевская больница, был и другой Канатчиков, первый главный редактор «Литературной газеты». Ну, и Корсаков — с одной стороны, половина композитора, с другой — известный психиатр, «синдром Корсакова». И его ученик Ганнушкин — этот, впрочем, не по музыкальному моменту, а скорее, благодаря Чуме-Аннушке и трамваю А, по масляному.

В советское время Алексеевскую больницу звали Кащенко; в Ленинграде была с таким же именем, недалеко от Гатчины. Оттуда Леон Богданов написал несколько писем Миле Чистович («Шесть писем из больницы») — четыре из Кащенко, два из Скворцова-Степанова, в Кащенко умер Вася Филиппов.

И ещё одно: о букве W (или M, если глядеть с другой стороны, а то и монограмма WM). Обе буквы, равно как и обращение «мессир Воланд», не говоря уже про публичные сеансы «чёрной магии», позволяют присовокупить к прообразам Воланда (от сатаны-Фаланда и Сталина до американского посла Буллита) ещё один: знаменитого Вольфа-Велвела Мессинга, в 20-х годах с шумным успехом выступавшего в Европе, включая Париж, Лондон и Рим, слух о чём вполне мог достичь Булгакова — и зацепить его.

Меня Мессинг тоже зацепил, впрочем, не сеансами, а цифрой: родился он 10 сентября, в аккурат между Ликой (9-го) и Томой (11-го), в 1899 году, вместе с Платоновым, Борхесом, Набоковым и Хичкоком, а разъезжал по Европе с импрессарио Лёвой Кобаком — всё не чуждые мне имена...

→ 10 сентября: Вольф Мессинг

МАРТ

13

понедельник

В Гражданском кодексе издавна существует формула о защите чести и достоинства; как видно, не зря одно отделено от другого, *розлічається*. Совсем коротко, различие в архаике таково: у ближнего, точнее, у *ближней* защищают честь, у себя — достоинство (собственно не столько защищают его, сколько утверждают, заставляют уважать); если совсем цинично, защита чести — это защита девственной плевы сестры/дочери от врага-насилльника (как Валентин защищает Маргариту от Фауста, отдавая за её честь свою жизнь), защита достоинства — утверждение своего «прямоствояния», представлений о своём месте в обществе. Отсюда две разновидности дуэли: в защиту (женской) чести и в поддержку (своего, мужского) достоинства, отсюда женские черты при защите, допустим, чести полка (тряпичное знамя) или мундира (тоже тряпичного, «женственного»; кортик по уставу выдаётся для защиты не жизни, а мундира), отсюда и обратное движение: попать чужое знамя в грязи, разорвать его, сжечь — лишить целостности, оскорбить, изнасиловать.

→ 25 июня: Честь и слава

МАРТ

14

вторник

В 1984 году устроился работать в котельную Киномеханического завода на Уткином пр., 2, у слияния рек Оккервиль и Охта. Занятно, что лет 20 тому назад, когда учился в школе и понадобились деньги на поездку с приятелями на Украину, работал на Заводе металлоизделий по соседству: Уткин пр., 2а. На картах Уткин пр. раскрывают как проспект, на деле же это проезд, короткая улица, пара-тройка домов. Перед самой революцией Уткину дачу занимала богадельня, в советское время — филиал психбольницы на Пряжке (после охраны лодок на Пряжке я двинулся, следовательно, «верным путём»). В 20-х годах здесь служила родственница Саши, а теперь он сам оператором газовой котельной, плюс Борис Иванович, Юра Колкер, Гена Прохоров и я. Начальником у нас В. И. Сергеев (со звонким именем-отчеством Владимир Ильич), позже его сменил инженер с не менее

звонкой фамилией Жуликов. Как-то чёрт дёрнул меня за язык: «Александр, а почему бы вам не исправить свою фамилию в паспорте и других документах, это совсем нетрудно: чуть-чуть подчистить бритвой первую букву — и получится Куликов!» Жуликов посмотрел на меня с недоумением: «А зачем?»

Сергеев ушёл в котельную Театра юного зрителя, через какое-то время перебрался вслед за ним и я. Там соткалась не менее приятная, чем на Уткина, компания, включая Кирилла Козырева и его приятеля Мишу/Михрутку, имена у местного пожарного начальства, как и на Уткина, были занятные: Майор (имя!) Вильевич Куценогий (в ТЮЗе) и Косолапов (районный начальник).

→ 23 марта: Уткина дача, 2

Один из *важнейших* корней русского языка «гад» связан, вероятно, с греческим словом-мифом *Hades*, Аид, ад, низший загробный мир. Гадание — обращение гадалки/гадателя к Гадесу за предсказаниями и предостережениями; гадюка — обительница загробного мира или водительница в него (таковы же ворон, пантера, шакал, иные звери, питающиеся падалью); загадка — форма речи гадателя-прорицателя, она невнятна и требует разъяснения/разгадки. У Набокова было несколько причин возвеличить имя Ада, одна из них: провокация, эстетическое пренебрежение моральными основами человеческого общежития, бравада. Свою роль в этом сыграла и его симметричность, особенно в русском, где симметрично не только слово АДА, но и каждая из составляющих его букв; по-английски не так хорошо: ADE, малый обломок выражения MADE BY NAVOKOV, женский род от «ад», сокращённое название бабочки «адмирал» (Red Admiral < Red Admirable, красная восхитительная), собственно, Ада в набоковском романе и есть бабочка в паре с ещё одной — Ваном, сокращение Ванессы (Vanessa atalanta, тот же адмирал), отсюда и неприличная для людей, но вполне уместная для чешуйчатокрылых сцена спа-

ривания юных Вана и Ады *на дереве* в одну ванаду/монаду. Ну и, конечно, первочеловек и первоименователь Адам, побывать в шкуре которого мечтают многие литераторы: или первый человек (открыватель), или последний (тотальный завершитель), третьего не надо, на третье все способны.

МАРТ

16

четверг

Во многих языках Луну и Венеру причисляют к женскому роду, оставшиеся пять планет — к мужскому (в русском Солнце — среднего рода), а характерное для многих цивилизаций недоверие к женщине распространяют и на эти две, казалось бы, ни в чём не повинные планеты: lunatic — сумасшедший, безумец; veneritic — большой «нехорошей» болезнью. Обеим богиням, Селене и Афродите, вряд ли отмыть эти пятна лингвистической пакости, перебравшиеся и в русский язык: лунатик, венерические болезни... Про планету Юнону, переименованную в Юпитер, и говорить нечего.

МАРТ

17

пятница

Не пленяйся... (А слово-то, слово!
Что за твари в ловитве полей!)
Не пленяйся свободой ничьей,
ни чужой полнотою улова,
лишь о том, что душа не готова
в путь воздушный — о том пожалей.

Не пленяйся, но словно затвержен,
точно сам дословесно в плену,
повтори: Проклиная — прильну
к прутьям клетки! Заржавленный стержень —
повтори — чуть не с нежностью держим,
чуть не флейтой! Не дуну — вздохну.

Зашевелится снег на ладони,
точно внутренне одушевлён.
Что вдали? Раскрасневшийся гон.
Лай. Охотничий рог. Пар погони.

Кто за нами? Собаки ли? Кони? —
всё не люди. Дыхание. Сон.

Не пленяйся прекрасной гоньбою,
рваным зайцем мелькая в кустах!
Ты не жертва, создатель! Твой страх —
только снег, возмущённый тобою,
только флейты фригийского строя
проржавелый мороз на устах.

Только Слова желая — не славы,
не жалей о железах тюрьмы,
где язык примерзает шершавый
к раскалённой решётке зимы.

(Виктор Кривулин)

Чинари-обериуты пытались одно время называться «Левым флангом» — это уже в 1927 году, после журнала Маяковского и Брика «ЛЕФ» (1923–25), в названии которого («Левый фронт искусств») приметен фронтовой отсыл: военизированный взгляд на революцию и творчество, памятный поход Тухачевского на Варшаву, замысловато отражённый в плакате Э. Лисицкого «Клином красным бей белых!» и пр.

«Фланг» — не в пример «фронту» — мирнее: не столько война или призыв к ней, сколько расположение на левом или правом краю, с индекс принадлежности/идентификации, пусть и с армейским разворотом.

Но и «ЛЕФ» нимало не однозначен. Во-первых, не очень понятно, почему «Левый фронт искусств» в сокращении утрачивает немаловажную для него составляющую «искусств». Во-вторых, ни Маяковский, ни Брик поэтической глухотой не страдали, а ведь оскорбительная рифма «леф — блеф» напрашивается сама собой, и в конце концов ею воспользовался В. Полонский, напечатавший в «Известиях» статью «Леф или блеф?» и организовавший дискуссию под тем же названием. Приходилось терпеть не совсем благозвучное имя, возможно, ради каких-то вторых или третьих его смыслов. Каких именно?

Маяковскому в этом слогe наверняка слышался автопортретный *лев*, царь зверей, солнечный хищник, а также *левша*, каковым поэт был; Брику — священническое колено *левитов*, знатоков языка и ритуалов, а заодно семитское письмо (справа налево, сподручное левшам) и левачество троцкиста; но куда интереснее разглядеть в ЛЕФе аббревиатуру (1920-е годы любили аббревиатуры) лозунга Великой французской революции: «Liberté, Égalité, Fraternité». Эта *существенная* и *настойчивая* упаковка заставляла её авторов закрывать глаза (зажимать уши) на провоцируемую ею оскорбительную рифму.

МАРТ

19

воскресенье

Служи слово «дурак» действительно наименованием человека глупого, тупого и ни на что не способного, было бы непонятно, почему произнесение его сопровождается нарочитым похихатыванием. Ведь несовершенство человеческой природы — повод скорее для скорби, чем для радости, и если о ком-то, лишённом деятельного органа или страдающем постоянной болезнью, мы говорим, напуская на лицо сочувственную унылость, — так почему же о важнейшем недостатке ума — злорадно и смеясь? Это было бы, повторяю, непонятно, когда бы речь шла только о неполноценности. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы хихиканье, сопутствующее диагнозу, служило выражением чистого удовлетворения — как по случаю победы в беге или на кулаках. Обнаруживаемые чувства, видимо, двусмысленны. Говорят словно бы даже не о дефекте, а о некачественной симуляции. Назвать кого-либо дураком в глаза — всё равно что обидно упрекнуть в притворстве, в валянии дурака. Откуда следует, что наше словоупотребление основано на переносном смысле и что «дурак» означает не человека.

Кого же это слово обозначает? Каков его собственный смысл? Что за реальность соответствует термину?

Чтобы лучше ответить на эти вопросы, сопоставим некоторые слова близкого значения, но лучше сохранившие генеалогические связи, — такие как болван, чурбан, бревно и другие. Нас поразит полнейшее единообразие материалов. Во всех случаях — это древесина. Однако не древесность же вызывает насмешки. Нет, тут дело в претензии, которая при внешнем намёке на возможность не способна осуществиться. Форма, в которую облечён материал, служит иллюзиям, а сам материал их развеивает. Предмет статьи своей изображает творящее начало, сутью же — бездейтелен и туп. Такими признаками обладает один-единственный предмет, который и есть, собственно говоря, «дурак».

Не следует думать, что тут скрывается метафора или синекдоха. Дурака прежде видели в любом огороде. И не только видели — его самым непосредственным образом валяли по грядкам из соображений, относящихся к магии плодородия. Валяли с визгом, хохотом, всем обществом вступая по ходу дела в профанированные отношения между собой и с явлениями окружающего мира, пьяные и сквернословя. Это вакханствование должно было, по замыслу, сообщать огородным растениям дополнительную мощь и кормящие соки.

Итак, дурак представляет собой намеренно воздвигнутый столб с несколько расширенной и округлой верхней частью, напоминающей лысую человеческую голову.

Примитивная скульптура совершенствуется. На голове возникают черты лица. Приапический идол может поэтому осознаваться не только как покровитель плодородия вообще, но и как предок владельцев огорода — в особенности. По очевидной ассоциации идей, приобретая глаза, рот, даже бороду, он не теряет лысины — своего прародительского знамения. Изначальный нерасчлененный образ теперь состоит при нём как устремлённый ввысь атрибут. В описанном здесь единении понятий «дурак» и «предок» чувствуется та всемогущая предбытийная глупость, та глумливая непосредственность, та оживлённая визгливая бессмыслица, ко-

торая связана с произведением на свет себе подобных. Потомство не зря зовёт предка старым лысым дураком — именно таким стоит он перед глазами наследников.

(Анри Волохонский. О значении одного слова // Часы, № 31, 1981)

→ 31 марта: Иван-да-Марья

МАРТ

20

понедельник

Воробей (клюющий зёрна радости)

Господи, как мир волшебен,
как всё в мире хорошо.
Я пою богам молебен,
я стираюсь в порошок
перед видом столь могучих,
столь таинственных вещей,
что проносятся на тучах
в образе мешка свечей.
Боже мой, всё в мире пышно,
благославно и умно.
Богу молятся неслышно
море, лось, кувшин, гумно,
свечка, всадник, человек,
ложка и Хаджи-Абрек.

*(Александр Введенский.
Священный полёт цветов // Часы, № 5, 1977)*

МАРТ

21

вторник

В русском языке легко сочинять этимологии: беглые гласные, оплывающие согласные, путь от одного слова к любому другому удаётся пройти в две-три ходки; вот подходящий пример.

В европейских языках красный — red_E, rot_D, rouge_F, rojo_S, rud (др.-бретон.), но и в русском есть его изводы: *рыжий* и *рудый*.

Пасечник Рудый/Рыжий Панько у Гоголя, причём «рыжий» — по сквозной гоголевской привычке — нечистый. (Три главных цвета — белый, чёрный и красный — образуют в разных культурах пары, соответствующие «доброму-злому» и «божественно-му-демоническому», чаще всего это «белый-чёрный» и «белый-красный»). *Руда* означала когда-то жилу металла и не какую-нибудь, а железную, то есть была рыжей, ржавой. С железа (металл воителя Марса, его цвет — марциальный, красный) РЪЖ/РЪД перекинулось на *оружие, орудие, ружьё*.

У мужчины кровь и рудое/красное на оружии, но и у женщины своё оружие: род, родовой канал в ежемесячной крови, пре^{красное} *рожающее* место тела (*uroda*_p — красота).

→ 24 июля: Чернильное вино

Сорок мучеников

Сорок мучеников поспели —
 значит, подопрелый март пришёл,
 жареные жаворонки сели
 стаею на предпасхальный стол,
 и того, кто духом нищ и гол,
 тёплые последние метели
 в ризы белоснежные одели
 и ему кондак весенний спели,
 и на лбу воздвигли ореол.
 Каждый мученик, как заунывный вол,
 головой помахивая, вёл
 борозду свою в былом апреле.
 И Тебе молюсь я еле-еле:
 Господи, услыши мой глагол!
 На стихиры душу положив,
 я на сорок мучеников жив.

(Сергей Петров, 1980)

В конце марта 1984 года инженер котельной на Уткиной даче Владимир Ильич Сергеев собрал производственное (или профсоюзное?) собрание.

— Высшее начальство Киномеханического завода, — сообщил он, — пришло к выводу, что пять человек для котельной много и один из вас будет по сокращению штатов уволен, собравшиеся должны предложить кандидатуру.

По какой-то причине я на собрание опоздал, появился, когда оно было в полном разгаре (присутствовали все заинтересованные лица — Борис Иванович, Саша, Юра Колкер, Гена Прохоров и инженер В. И. Сергеев), и с порога выпалил: — Я в коллективе новичок, проработал всего несколько месяцев, а у других многолетний стаж, следовательно, покинуть котельную должен я.

— Ну вот, — не стал скрывать радости Колкер, — всё уладилось: Останин сам хочет уйти, очень благородный поступок.

— Погоди-погоди, сначала надо рассказать ему, что здесь происходит, — сказал Б. И.

Происходило же следующее: сочинялся механизм для определения увольняемого. Юра настаивал на том, что он — самый обездоленный и загнанный, что за участие в Ленинградском еврейском альманахе его преследует КГБ, что, если его уволят, он не сможет устроиться на другую работу.

— Почему? — удивился Саша.

— Потому что у меня фамилия еврейская: Колкер.

— А у меня для устройства на работу что ли лучше: Кобак?

— Ну всё-таки *не такая еврейская*, как у меня.

— Юра, твоя Таня говорила моей Гале, что у тебя в паспорте в графе «национальность» стоит *русский*. Так что формально мы равны. Зато у тебя жена русская, а у меня еврейка!

— В таком случае воспользуемся предложением Останина: все остаются, а он уходит.

Вмешался старый демократ Борис Иванович: — Друзья, так нельзя. Предлагаю демократическую процедуру: или мы большинством голосов решаем, кто уходит, или, если считаем участие в таком голосовании-выталкивании безнравственным, *бросаем жребий*.

Идея жребия всех убедила, Колкера в том числе: — Давайте бросать жребий! Я согласен, но при одном условии: я в этом жребии *не участвую*.

Народ пооткрывал рты: — Как это? Это ещё почему?

Колкер: — Я уже объяснил почему. (Он напомнил на бис о своей несчастной еврейской судьбе и преследовании со стороны КГБ, присовокупив несколько слов о больной жене Тане и совсем больной дочери Лизе.)

Жребий мы, если память не изменяет, всё-таки бросили, и выпал он, смешно сказать, на Колкера.

После чего инженер Сергеев сказал, что пора этот базар кончать, что решение об увольнении Колкера принято начальством, которое действовало по указанию сверху, так что мы можем расписаться и разойтись.

В середине июня Колкер уехал в Израиль, но свою обиду, чтобы не сказать хуже, долго не мог изжить. Кто-то рассказывал мне, что то ли в Вене, то ли в Израиле он вовсю поливал грязью «часовщиков», именуя кэгэбэшниками, а Борису Ивановичу даже присвоил чин капитана, возможно, у Юры шутка такая.

Слова Колкера «Я согласен на жребий, только бросайте его без меня» настолько мне понравились, что долгое время, где надо и не надо, я использовал их как народную мудрость.

Ленинградские стихи

Ленинград

Первый взгляд

Волны

Ходят

Львы сидят

Люди спят

Огни горят

Проспекты

Ровненько лежат

Дома

Стоят

Ах стоят

Ряд ряд

Дворян

Дворян

Мордами к фонарям

Огни

Горят

Глаза

Глядят

Как нам

Как нам

К огням

К огням

К огням?

— Пряма —

МАРТ

24

пятница

— прям —
 прям-прям —
 прям-прям —
 прям-прям-прям —
 Прям
 Прям
 Прям
 Прям
 мим

(Всеволод Некрасов)

Всё Лицо: лицо — Лицо,
 пыль — Лицо, слова — Лицо,
 всё — Лицо. Его. Творца.
 Только сам Он без Лица.

(Леонид Аронзон)

МАРТ

25

суббота

Из трёх наклонений глагола (изъявительного/повествовательного, повелительного/командного и сослагательного/мечтательного) самое короткое — повелительное (дай! бей! люби!), возможно, поэтому повелительное наклонение — самое древнее. Естественно (не говорю: правильно) думать, что сначала возникли *короткие* слова, а из них, спустя какое-то время — длинные. «Дай!» — короче, чем «давать» и «дал бы», к тому же командное наклонение — главное орудие младенца, который требует от матери молока, тепла и сухости, это же наклонение — язык религиозных заветов («Не убий!», «Не укради!», «Не пожелай!») и армейских приказов.

→ 15 октября: Ся-тя-мя

МАРТ

26

воскресенье

МАРТ

27

понедельник

С ветки на ветку
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний.

(Басё)

МАРТ

28

вторник

Философы упоминают тело без органов; можно говорить и об *органах без тела*, используя это понятие не столько философски, сколько поэтически, как метафору господствующего среди людей разделения труда и недостающего им, но по-прежнему желанного, синтеза всех органов в единое тело, своё или общее. Существуют безотносительно к организму и самостоятельно: *нога* (движение), *рука* (труд), *глаз* (созерцание), *нос* (интуиция), *мозг*, *сердце*, *печень*, *дрон*... В повести «Нос» Гоголь изобретательно описал один из таких органов без тела. В связи с её фрейдистским прочтением небезполезно напомнить, что каждый знак зодиака опекает тот или иной орган человеческого тела, и только у Скорпиона органов опеки *два* (дрон и нос), лишнее свидетельство выдающегося чутья Гоголя.

МАРТ

29

среда

Точка есть пустота, но она же и полнота. Однако и там и тут она мыслится на границе бытия и небытия, или местом перехода от того, что мы считаем в здешней нашей жизни действительностью, — к её отрицанию, или, напротив, переходом от потусторонней реальности в здешнее ничтожество, но во всяком случае соединяющей два мира: мир действительного и мир мнимого, она есть место трансценза. Достоин внимания: почти во всех символических применениях точки символ может быть перетолковываем как в ту, так и в другую сторону, но эта, связующая две области, функция точки остаётся, хотя в том или другом определённом мировоззрении и делается акцентуация на положительном или на отрицательном истолковании символа.

В онтологии точка означает Начало, Единицу, Первопричину; это онтологический Центр, из которого всё разворачивается; это — Активный Принцип, Дух, Разум, Бог, Бог Отец, Йот кабалистической философии, сам изображаемый точечной буквой йот. Поэтому это мужское начало, которое ещё не выделило из себя своего женского дополнения и, как полномощное, андрогеничное, рождает из себя. Но эта полнота мощи, перед которой всё проявленное и рождённое есть ничто, с точки зрения этого последнего, из мира проявлений, сама оценивается как Ничто, как Эн-соф, как начало, постигаемое лишь *via negationis*, как предмет апофатического богословия; точка — символ Неименуемого, Непознаваемого и т. д.

Точно так же космологически точка есть солнечная пылинка или солнечный атом, из которых зиждется мир, атом, электрон и проч., как положительные начала переустройства. Но она же — центр мира, то есть мыслимое, но не действенное мировое средоточие. Она — бытие и небытие, энергия и ничто.

Пневматологически точка-звезда, точка-искра, или искорка, есть символ души <...>.

Биологически точка есть символ сведения того или другого физического процесса в некоторый жизненный центр. Жизненная точка у Гёте, зерно в символических представлениях всех народов, клетка или хромосома как носительница жизни; сперматозоид; монада как живой организм, мыслимая как материальный минимум, посмертный носитель жизни для будущего воскресения, то есть зародыш имеющего воскреснуть тела, *os sacrum* в иудейском богословии; какое-то минимальное образование из монад телесного состава, посмертный носитель формы тела у Лейбница; пуп как средоточие и исходный пункт всего организма; сердце или, точнее, *plexus solaris*, солнечное сплетение, несущее ту же функцию, но в отношении душевного тела; чакрамы индусской йоги и отчасти сближаемые с ними

нервные узлы анатомии и т. д. и т. д. — всё это мыслится как положительное значение символической точки, но имеет и подчинённый момент отрицательный, поскольку само по себе оно есть ничто в сравнении с тем, чем должно стать или что в нём сосредоточивается. <...>

Там, где дело идёт о жизни, выдвигается в значении точки на первый план момент положительный, тогда как отрицательный составляет фон; при построении же отвлечённых схем происходит обратное, и главенствует отрицательное значение точки.

(Павел Флоренский. Точка)

→ 27 июня: Точка, 3

МАРТ

30

четверг

Особой дружбы ни с Володей Дубровским, ни с Мишей Зарайским, ни с Геной Волосовым у меня не было, скорее шапочное знакомство времён раннего «Сайгона», зато тёплое чувство ко всем троим и доброе послевкусие осталось по сей день.

Володя обитал в Старой Деревне, в подъезде его дома (так же как в подъезде дома Козыревых — непревзойдённый Леон Богданов) жил гениальный Сергей Владимирович Петров, с которым Володя немедленно меня познакомил. С Петровым я подружился на всю жизнь — единственный, не считая друга и соратника Бориса Ивановича, мой приятель, гораздо старше меня, 1911-го года рождения (Борис Иванович — 1928-го).

К Мише, которого упекли в психбольницу Скворцова-Степанова (там же сидели позже Леон Богданов и Вася Филиппов), ходил на Рождество с бутылкой водки и пирожками. Чтобы обмануть охрану, спрятал бутылку в брюки, под свитер, но она как-то ухитрилась проскользнуть в штанину — не дай Бог провалится и разобьётся о пол! Пришлось согнуться в три погибели и буквально проползти мимо

удивлённого охранника в Мишины объятия. Погиб Зарайский нелепо, хуже бутылки, которую я всё-таки спас — упал с последнего этажа своей хрущёвской пятиэтажки, когда, от кого-то мнительно спасаясь, перебирался из одного окна в другое.

Полётом и падением закончили свою жизнь Серёжа Хренов (в 1995 году) и Вася Кондратьев (25 сентября 1999 года). От Васи осталась дочь Лика, об имени которой он незадолго до смерти приходил советовать: «Хочу назвать Гликерией». — «Чтобы испортить девочке жизнь?» Сторговались на Лике. Были ещё две Лики — дочь Гриши Беневича и моя (с 1999 года) жена.

→ 8 октября: Лиля, Лия, Лика

→ 9 апреля: Натюрморт Шемякина

Несколько слов об Иванушке-дурачке. Что это за персонаж — понятно из вышеизложенного. Смущение вызывает только имя — библейское Иоханаан, узурпированное языческим Ванькой-Встанькой. Проблема «почему» в таком виде неразрешима, а значит, неверны посылки. И если вторую из них — что дурак есть понятие и предмет, подлежащий мирозерцанию производительной сферы в качестве сокровенного гнома идолопоклоннических зачатий, несомненно следует принять, то первая — о христианском происхождении имени Ваня — должна быть упразднена как заблуждение. Под пристойным передником имеющего европейских кузенов в виде различных Гансов, Янов, Джонов и Жанов Иоанна-Ивана сидит всё тот же древний, как плоть, разухабистый наездник на своём подозрительном горбунке, влетающий в нижние печи Бабы-Яги и выскакивающий из трубы зловонным Перуном-Громовержцем, отцом и бессмертных и смертных, согласно Гомеру. Ваня намного старше и Владимира Красное Солнышко, и самого

Иоанна Крестителя. Ваня уже был в те времена, когда древяне, как сказано, дурака валяли, и сидела по пуп во мху югра. Югра помянута не зря. На финских языках югры имя Вене или Вейне значит «старый», древний, то есть «предок», то же, что и дурак в сакральном смысле. Ваня, значит, и есть «дурак», а Иванушка-дурачок тавтология. Загадка разрешена, и, как это бывает при обнаружении истины, — с нею ворох других загадок. Поскольку сам Ваня древнее Библии (стадиально — во всяком случае), постольку его естественная пара Маня старше любой Мириам. На тех же финских языках имя Мене или Мейне означает «древняя». Так что героя Вейнемейнена следует представлять себе архаическим андрогинном, чудовищем, сексуально нерасчленимым вселенским Адамом Кадмоном. Имя его — старый и древняя — вводит нас в круг воззрений, связанных с существованием миру космической пары прародителей, — именно не двух, а неразделённой пары, предвечных Деда и Бабы. И зачин сказки: «Жили-были Дед да Баба» — нужно понимать как утверждение бытия в неопределённо-временном состоянии монолитной, постоянно совокупающейся двоицы, Урана и Геи наших широт. Особенно хорошо это видно, когда зачин произносится в форме: «Жили-были Старик со Старухой». Предлог «со» донельзя уместен для выражения всех этих пикантных идей.

(Анри Волохонский. О значении одного слова // Часы, № 31, 1981)

АПРЕЛЬ

Первые два года студенческой жизни (1964–65) я провёл в кафе-стекляшке «Экспресс» (угол Суворовского проспекта и Старо-Невского), потом перебрался в «Сайгон». «Сайгон» был разнообразнее, культурнее, карнавальнее, «Экспресс» — серьёзнее, трагичнее, человечнее. Сдружился в стекляшке с молодым таксистом Виктором, который мечтал собрать собственную гоночную машину, а в далёкой перспективе — поучаствовать в гонках «Формулы-1», о чём с восторгом мне поведал. Поднимались на второй этаж, сидели с кофеем под фикусом, рядом таксисты, уголовники, наркоманы, могли при случае побить, а то и зарезать. Со второго этажа укромный ход вёл в прилегающий к «Экспрессу» ресторанчик, где работала подруга Виктора, порой удавалось перекусить там на халяву.

В «Сайгоне», когда укоренился и пообвык, несколько раз провёл *по целому дню*, от открытия до закрытия — с полной утратой чувства времени, а пожалуй, и бытия. Похожее чувство «полного равнодушия к темпоральности» захватило меня на севере, где несколько месяцев работал на границе с Норвегией помощником взрывника. Там же испытал сильнейшее и счастливейшее переживание скорости, когда ехал в зюську пьяный, стоя в кузове гэтээски («грузовой тягач средний») или гэтээлки («грузовой тягач лёгкий»), по бездорожью со скоростью, дай Бог, 15 километров в час. О чём и твердят философы: переживание времени и скорости субъективно.

АПРЕЛЬ

1

суббота

Виктор-таксист своей невозможной мечтой и обликом напомнил мне Бурыкина, с которым познакомился в поезде дальнего следования после небольшой драки в тамбуре, где помог ему отбиться от двух рассерженных подростков.

Несколько спустя, разливая спиртное, Бурыкин, нисходящая ветвь старообрядцев, доверил мне мечту своей жизни и пригласил в ней поучаствовать: где-то в Кавказских горах он отыскал заброшенный аул, в который *никто* не сумеет добраться — ни милиция, ни армия, ни КГБ, а если и доберутся, то мы сумеем за себя постоять. «Там буду жить я, Бурыкин!» — громко твердил он, размахивая стаканом. Подробно-сти беседы забыл, но громовое «Я, Бурыкин!» не вытравить из памяти до конца дней.

В повести Сергея Коровина бывший солдат, оказавшись в квартире любовницы у Нарвских ворот, оценивает окружающие улицы с точки зрения огневой обороны, об этом же мечтал пьяный Бурыкин, готовый ради мечты поменять родной Архангельск на далёкий Кавказ.

Узнав у коридорного, что в гостинице есть ресторан, я спустился пообедать. Часть столов была вынесена на тротуар, их удачно расставили на углу улицы под навесом гостиничной арки. На улице было прохладно, и несколько столов пустовало, но я предпочёл остаться в душном зале. Входя сюда, я заметил стайку мальчишек-чистильщиков, которые расположились на поребрике тротуара напротив ресторана. Я понял: займи я стол под аркой, они тотчас накинулись бы на меня.

С моего места ребята были хорошо видны. За один из столов на улице сели двое парней. Ребята тут же облепили их, предлагая свои услуги. Парни отказались. К моему удивлению, мальчишки немедленно от них отстали и вернулись на место. Немного погодя расплатились и ушли трое

солидных на вид мужчин. Мальчишки бросились к их столу и принялись подбирать объедки. В мгновение ока тарелки опустели. Так повторялось всякий раз, когда на каком-нибудь из столов оставалась пища. <...>

Наблюдая в течение трёх дней, как мальчишки, словно грифы, бросаются на объедки, я всё больше приходил в уныние и покинул городок с горькой мыслью: «Бедные дети! Какая беспросветная у них жизнь...»

— Тебе их жаль? — удивился дон Хуан.

— Конечно, — ответил я.

— Почему?

— Потому что мне не безразлична человеческая жизнь. Они ещё дети, а как уродлив и убог их мир!

— Постой, постой! Как ты можешь говорить, что их мир уродлив и убог? — передразнил меня дон Хуан. — Ты думаешь, твоя жизнь богаче?

— Конечно, — подтвердил я, и дон Хуан спросил:

— Почему?

Я объяснил: по сравнению с миром маленьких чистильщиков мой мир гораздо разнообразней, он открывает бесчётные возможности для удовлетворения моих потребностей и личного развития.

Дон Хуан рассмеялся и сказал, что я, видно, говорю не подумав. Откуда мне известно, богат или беден мир этих ребят и какие у них возможности?

Мне показалось, что дон Хуан просто дразнит меня. Я был искренне убежден: у мальчишек нет никаких шансов на развитие.

Я продолжал настаивать на своём, пока старик не спросил в лоб:

— Не ты ли когда-то говорил, что самое большое достижение — стать человеком знания?

Я и впрямь так говорил и повторил, что стать человеком знания — величайшее духовное достижение.

— Ты полагаешь, что твой богатый и разнообразный мир поможет тебе стать человеком знания? — с сарказмом спросил дон Хуан.

Я ничего не ответил. Тогда он сформулировал свой вопрос по-другому, как часто делал я сам, когда мне казалось, что дон Хуан плохо меня понимает.

— Говоря иначе, — сказал он, улыбаясь и наверняка догадываясь, что я заподозрил подвох, — способны ли твоя свобода и твои возможности сделать тебя человеком знания?

— Нет, — ответил я.

— Тогда почему тебе жаль мальчишек? Любой из них может стать человеком знания. Все люди знания, с которыми я знаком, когда-то были такими же оборванцами.

Мне стало не по себе. Я пожалел этих ребят не потому, что они живут впроголодь, а потому, что они, как мне показалось, обречены на духовную неполноценность. Выходит, всё не так? Ведь любой из них может достичь того, что я полагаю высшим достижением человеческого духа, — стать *человеком знания*. Следовательно, моё сострадание совершенно неуместно. Дон Хуан положил меня на обе лопатки.

— Пожалуй, ты прав, — согласился я. — Но разве не естественно — стремиться помочь своим ближним?

— А как, по-твоему, им можно помочь?

— Ну, облегчить их участь, изменить их. Ты ведь и сам этим занимаешься.

— Нет, этим я не занимаюсь. Я не знаю, что можно изменить в моих ближних и зачем это делать.

— Дон Хуан, а как же я? Разве ты учишь меня не для того, чтобы я изменился?

— Нет, не для этого. Возможно, ты станешь человеком знания — этого нельзя знать наперёд, — но и тогда ты не изменишься. Если когда-нибудь ты научишься *видеть* людей, ты поймёшь, что в людях ничего изменить нельзя.

— А что значит «видеть людей»?

— Когда *видишь*, люди выглядят не так, как обычно. *Дымок* позволит тебе *увидеть*, что люди как бы сотканы из волокон света.

— Из волокон света?

— Да. Вроде белой паутины. Очень тонкие нити, струящиеся от головы к пупку и обратно. Человек похож на яйцо из подвижных световых нитей. Его руки и ноги — пучки лучей.

— И так выглядит любой?

— Да. И ещё: человек тесно связан со всем, что его окружает, но касается окружающих вещей не руками, а длинными волокнами, исходящими из живота. Волокна поддерживают человека в равновесии, придают устойчивость. Когда-нибудь ты *увидишь*: человек — это светящееся яйцо, не важно, нищий он или король, и изменить в нём ничего нельзя. Да и что можно изменить в светящемся яйце?

(Карлос Кастанеда. Особая реальность)

Ребёнки — зайцеобразны: снизу два зуба, а щёки!

Так же и зайцы — детоподобны.

Злобны зайцы и непредсказуемы, словно осколки серы чиркнувшей спички.

Впереди мотоцикла и сзади — прыг-скок! —

живые кавычки!

После октябрьских праздников по вечерам они

сигают в мой сад,

наисмелейший проводку перегрызает и, сам чернея,
отключает свет.

Я ж защищаю саженец северного синапа от их аппетита
в одиночестве полном, где нету иллюзий единства

и авторитета,

и сколько-то старых привычек не противоречат всякой
новой привычке.

Я покупаю в хозмаге мешок мышеловок —
розовые дощечки
с железным креплением, как сандалия Ахиллеса —
где пятка
мифологическая, там у меня для приманки насажен
колбасный кружок.
А на заре обхожу мышеловки — попадают бабочки
и полёвки
и неизвестного вида зверьки типа гармошки в роговой
окантовке.
Всем грызунам я горло перерезаю и вешаю их над
ведром головой вниз,
чтобы добыть множитель косоухого страха —
кровь крыс.
Скисшую кровь я известью осветляю и побелочной
щёткой
мажу остовы и скелетные ветви погуще, так чтоб
стекало с коры.
В сумерках заячье стадо вокруг сада лежит, являя
сомнений бутры, —
да! — ни один из них не пойдёт хоть за билет в новый
Ноев ковчег
через ограду — столь щепетилен и подавлен мой враг.
Ножницы-уши подняли и плачут, а я в жизни не видел
зайца и крысу в обнимку!
Я же падаю в кресло-качалку листать руководство
по садоводству,
днём тепло ещё, и ужи — змеями здесь их
не называют —
миллионы км проползают под солнцем, не сходя
с места,
вот они на пригорке царят и, когда я их вижу, внезапно,
словно чулок ледяной мне надевают — это хвощёвое
чувство.

Ух! Книгу читать, думать или вспоминать,
а я выбираю — смотреть!
Сразу я забываю зайцев осадных и яблоню, я забываю
того, кого вижу.
Что это в небе трепещет леса повыше и солнца пониже?
В этом краю, где женщины до облаков и прозрачны,
зрю ли я позвонок, что напротив пупа, и золотое меж
них расстояние,
линию, нить, на какой раздувается жизнь
на хромосомах,
как на прищепках — X, Y,... вдруг отстегнётся
и по земле волочится
краем, как пододеяльник пустой, психика чья-то —
на то воля Господня.
Там образуются души и бегут в дождевиках,
как стрекозах —
мальчишка-кислород и девочка-глюкоза.

(Алексей Парщиков. Я жил на поле Полтавской битвы)

Как-то раз я делал из картона и кожи переплёт для словаря. Дело шло тяжело, материал не слушался. Но вышло интересно: облик создался не столько из замысла, сколько из отклонений от регулярной формы — все прямые углы и параллельные линии были чуть-чуть косыми и непараллельными. Закончив работу, я принялся тщательно рассматривать книги в кожаных переплётках XVIII века. Оказалось, что все толстые и солидные переплётки делались из толстого картона, но тонкой кожи. Кожа, сверх того, на местах будущих перегибов «выбиралась», делались канавки. Я же использовал тонкий картон и толстую кожу без всякой подработки. Это было бы глупо, делай я целую партию книг. Но для единичной вещи такой «метод» оказался хорош. Да и защита книги лучше. И впредь буду так перепле-

тать. Знай я наперёд традиционную технологию, я мог бы купиться на соблазн простоты.

Самое главное при работе над вещью — не слишком много знать наперёд. Не слишком много брать на себя. Не слишком много даже уметь.

Полнота видения наперёд, предполагающая в каком-то случае сталь и только сталь, кожу и только кожу, в рукоделии неуместна. Серьёзность его как раз в том, чтобы по возможности самоустраниться, оставить лишь взаимные отношения цели и формы, формы и материала, материала и метода работы — и так во всех возможных сочетаниях.

Я делаю нож. Разумеется, не «из стали». Нож делается «из железки» — скажем, старого, поломанного ножа, случайно найденного в лесу или выпрошенного у знакомой. У него интересно вытерто лезвие. Вещь сразу имеет своё вещное прошлое (не прошлое моего переживания!), я же сразу оказываюсь медиумом, посредником между двумя её жизнями.

И рукоятка ножа делается не из древесины вообще, а вот из этого куска шелковицы, который я припёр из Абхазии, заплатив в самолёте по полтиннику за каждый избыточный килограмм. А раз так, то я точно вписываюсь в каждый кусок, который мне диктует форму. На рукоятке — там, где поверхность вещи близка к прошлой поверхности куска, — темнота выветривания. Это память вещи о себе самой, своём прошлом, одна из присущих ей глубинных привязок. Сам способ работы в существенной мере определяется *этим* куском дерева и *этой* железкой. Послушание дереву и «железке», оптимальному способу их прилаживания — путями, для меня лишь отчасти понятными, — навязывает дополнительную ответственность и открывает дополнительную свободу.

Вот, скажем, нож — это «вытянутый и плоский кусок металла, заточенный с одной стороны и имеющий один острый конец, имеющий также на противоположном конце

утолщённую и закруглённую ручку, причём изделие в целом симметрично относительно срединной плоскости куска металла». Все ножи таковы, такова их «патентная формула» от неолита до общепита. Дополнительная свобода, свобода вещи — это отказ от канона. Отказ этот означает, что вещь становится в известной мере внезапной или театральной, теряет неброскость сподручности... И, таким образом, она отступает от меня (!), пытавшегося овладеть ею и приблизить её...

Форма вещи в широком смысле слова не геометрия, но сообразность конечной цели. Это — облик вещи. Откуда форма берётся? В какой мере предрешена? Она «тянется»: она получается постепенно сообразованием облика рукоятки и «железки», рукоятки и кисти руки в обхвате. Ножны же продолжают облик рукоятки. В ходе такой «вытяжки» полу-деланная полувещь даёт свои «подачи». Надо не проглядеть их. Поэтому надо останавливаться и смотреть, что, собственно, выходит. Так что знание наперёд проявляет себя только в таком улавливающем разглядывании. Это знание носит характер не замысла, а, скорее, ожидания. Знание это в существенной мере состоит из ограничений, то есть знания того, чего не должно быть и чего делать нельзя. Оно состоит в решающей мере из знания пространства цели: я делаю свою вещь для своего дома. Ни в коем случае не для музея, не для выставки. Но мой дом — это не моя квартира...

«Подачи» заготовки, или «железки», означают, что материала — с его неограниченной пластичностью — нет. При подборе кусков и «железок» уже действует *causa finalis*: дом, пространство цели опережает материал. Но даже взятые вместе дом и родовспомогательное притяжение заготовки недоговаривают форму.

Форма стимулируется «прыжком». Это значит: в ходе работы надо создать такой переломный момент, когда готовый нож почти не виден. Не всегда в этом возникает надобность, но, может быть, лучшие вещи получаются как раз на этом

пути: способ доведения вещи до конца, получения домашнего облика теряется из виду, или же возникает несколько равноценных вариантов. Тогда в конечном счете оказывается порой, что вещь и на самом деле невозможна. Или же получается, что я сделал другую вещь, или начальная вещь оказалась культяпкой, которая впоследствии как деталь уходит на другую вещь, оказываясь как бы ключом при строительстве новой формы (она становится «железкой»). Такой прыжок — это, например, отказ от симметрии рукоятки ножа. После него можно «тянуть» форму, то есть — ползти. Вероятно, только «ползучие» и «прыгучие» вещи могут рассчитывать на спонтанность театра и укрытость дома.

Традиционные клише (а они все не случайны и почти все — хороши) как раз домашности не обеспечивают. Не обеспечивают потому, что не могут ничего противопоставить агрессии хаотического: их теплота и привычность стали сладкими, засахаренными. Домашность же подразумевает способность инкорпорировать горечь. Эта горечь (увечность, ущербность) входит в вещь вместе с «железкой», с трещиной заготовки или вместе с тем выломом, который образуется почти неизбежно из-за того, что дерево всегда не выдержано, инструмент плох да и руки — крюки. Так что «прыжок», если хотите, — это «предотвращённое падение» (определение ходьбы человека в «Занимательной физике» Перельмана — детское впечатление, тоже своего рода трещинка на всю жизнь).

(Константин Мамаев. Деревянный рай)

→ 3 августа: Дерево — уязвимо

Искус многочтения (то же обжорство, только «тонкое»!) я сумел преодолеть в студенческие годы простым (не вполне корректным, но всё-таки) рассуждением:

— Ты любишь читать и хочешь прочитать «как можно больше», допустим. Занимаясь чтением полдня и лишая себя мно-

гого, ты прочтёшь, будем честными, едва ли 0,1 % книг, которые хотел бы прочитать. А теперь допустим, что ты научился читать быстрее и занимаешь чтением весь день, перемалывая книгу в три раза больше, чем обычно, и что же? Ты прочтёшь в этом случае 0,3 % желаемых тобой книг. Ну хорошо, ещё ускоримся, дальше некуда: теперь ты не спишь, не отрываешься от книги — вот твой рекордный результат: 0,5 %. Сравни теперь 0,1 % и 0,5 %, но не между собой, а с недостижимым идеалом в 100 %, и ты увидишь, что оба малых числа — почти одно и то же, оба не перешагнули границу в 1 %, так стоит ли это «одно и то же» твоих усилий, одиночества и слезящихся от недосыпа глаз?

То же самое о книгах и статьях, которые ты собираешься написать.

И ещё: довод Паоло Трубецкого в пользу умственной гигиены и малочтения — не количественный уже, а качественный.

→ 16 февраля: Умственная гигиена

→ 8 августа: Не делом занимался

Право же, настало время покончить раз и навсегда с этим неумным, кощунственным толкованием искусства как религии и театра как храма. Нелепость этой жалкой эстетики может быть легко доказана следующим доводом: нельзя себе представить верующего, занявшего по отношению к богослужению положение критика. Получилось бы *contradictio in adjecto*: верующий перестал бы быть верующим.

Положение зрителя прямо противоположно. Оно не обусловлено ни верой, ни слепым повиновением. Во время спектакля восхищаются или отвергают. Для этого прежде всего надо судить. Можно что-либо принять только тогда, когда составишь себе, хотя бы бессознательно, какое-то мнение. Критическое чутьё играет при этом главную роль. Смешивать эти две категории понятий — значит обнаружить полное отсутствие здравого смысла и хорошего вкуса. Но можно ли удивляться подобному смешению понятий

в нашу эпоху, когда торжествует суетность, которая, принижая духовные ценности и опошляя человеческую мысль, неминуемо ведёт нас к полному огрубению? Теперь, кажется, начинают понимать, какое чудовище рождается на свет, и не без досады приходят к выводу, что человек не может прожить без культа. И вот стараются подновить кое-какие культы, вытащенные из старого революционного арсенала. И этим думают соперничать с церковью!

(Игорь Стравинский. Хроника моей жизни)

Псалом

Аз, усумнившийся, гляжу в прозрачные леса
на дым зелёный рощ берёзовых, и всё же
десницей Божьей провожу по коже
земли шершавой. А она колышет телеса
бугристые. И мир повис, как лёгкая слеза,
и жизнь моя трепещет, как ресница,
и я в глаза не знаю ни аза —
мне осень может и весной присниться.

Берёзы теплятся, как свечки восковые,
обедня бедная, соломинок звонки,
они как лучики тонки
и в чёрные мгновенья роковые
ломаются. Пичуги вьют венки —
на небе хороводы вековые.
Земных морщинок счесть я не могу,
и на распаханном, как мысль моя, лугу
я в борозды вникаю мозговые.
Помилуй, Господи, лукавого слугу!
Я перед истиной Твоей в долгу,
и аще аз божусь, да радуюсь, да лгу,
вещам сгибая каменные выи,

ломаю горные хребты,
и аще, Господи, в вещах вещаешь Ты,
то Ты еси живот мой, смерть — и ствол
и помыслов моих и прегрешений,
а я — одно из неизбежных зол,
единственное из решений,
есмь повесть о Тебе и сбивчивый рассказ,
есмь житие Твое и Твой незримый глаз,
и что ни час, Ты, Боже, оглашенной,
и бесноватей, и слепей. И усумнился аз.

(Сергей Петров, 1942)

On ne peut citer Pascal qu'en français. Il est le seul prosateur qui, même parfaitement traduit, perd son accent, sa substance, son unicité, et cela parce que les *Pensées*, à force d'être débitées, ont tourné en rengaines, en clichés. Rengaines inouïes, clichés fulgurants. Or, on ne peut toucher aux clichés, qu'ils soient brillants ou nuls, il faut les servir inentamés, dans leur expression originelle et rebattue, tels des éclairs ressassés.

(Эмиль Чоран)

Приехал в середине 60-х годов в Москву, зашёл в кафе «Космос» неподалёку от Красной площади и оказался по соседству с шумной поэтической компанией, кажется, смогитов. С одним поэтом из этой компании, Аркашей Паховым, познакомился, с другим (с Кублановским? Губановым?) чуть было не подрался — заступился за девушку, с которой, как мне по моей молодости показалось, они не совсем по-джентльменски обращались. Кончилось дело тем, что я вызвался проводить эту девушку, Таню Долгодрову, в Рыбинск, где она жила (лишний довод в пользу присутствия в «Космосе» уроженца Рыбинска Кублановского),

АПРЕЛЬ

8

суббота

АПРЕЛЬ

9

воскресенье

и отправился с ней, кажется, на Белорусский вокзал, где купил два билета, не очень представляя себе ни расстояние, ни продолжительность поездки. Ехали всю ночь, часов двенадцать, причём поезд двигался, как мне казалось сквозь полусон (Таня мирно дремала, положив мне голову на колени), то в одну сторону, то в другую, то стоял подолгу на маленьких полустанках, короче говоря, приехали в Рыбинск только на следующее утро.

Там познакомился с замечательной парой Толей и Мариной Ивановыми — он художник, она пианистка, у них ночевал и столовался, восхищая Марину квазиницшеанскими идеями о «сверхженщине». Вернулся в Ленинград, а через неделю следом приехала Таня. Я в порыве понятного самосохранения немедленно познакомил её со своим приятелем Сашей Липецом, радикальным, в духе молодого Достоевского, мыслителем, борцом с любой формой социального зла и любителем рубануть собеседнику правду-матку в глаза, сколь бы неуместной и нетактичной она ни была. Таня осталась ночевать у Саши, да так *на несколько лет* у него и застряла. Потом их отношения обострились и ухудшились, вплоть до разрыва, и Таня, наивная душа, чтобы наказать как-то меня, виновника их знакомства, явилась в моё отсутствие ко мне (я жил тогда на улице Чехова, сосед открыл ей, так как не однажды её видел) и, поскольку особых ценностей у меня не было, позаимствовала словарь Ларусса за 1969 год и замечательный натюрморт кисти Михаила Шемякина, который я купил за очень скромную сумму в 30 рублей у коллекционера Льва Борисовича Каценельсона. Уже в 90-х годах кто-то рассказывал, что видел этот натюрморт у питерского коллекционера (кажется, у Чудновского). Мне он очень нравился, порой я подолгу стоял возле него (рыба на блюде, блюдо на столе, старинная техника нанесения краски) и вглядывался в «невнятные мне ответы на тайны мироздания».

Саша Липец одно время ходил к Шемякину (тот жил возле Витебского вокзала, на берегу недавно засыпанного Вве-

денского канала), но вскоре подрался с ним в лифте на идейной почве (на стенке лифта было написано что-то нелицеприятное про советский народ, Саше это не понравилось, Шемякин, наоборот, поддержал надпись, вроде бы, он её сам когда-то и написал). Тщедушный Липец изрядно в этой драке пострадал и больше Шемякина не посещал. Саша снимал комнату на улице Рубинштейна у Эмиля Плоткина (раньше в ней жил я, передал ему по наследству и помогал оплачивать), панически боялся милиции, поскольку из года в год жил без прописки, потом уехал с новой женой в Душанбе, из Душанбе в Якутск, где родил двух сыновей, Бориса и Владимира, дважды названных, как он объяснил, в честь меня — первый по имени, второй по отчеству, снова в Душанбе, где работал осветителем в театре, с которым приезжал однажды в Ленинград на гастроли, оттуда во времена перестройки прислал очень злое письмо, в котором обвинил меня и Таню Горичеву (почему-то нас двоих) — «зачинщиков перестройки» — в пролитой в Душанбе крови, наконец эмигрировал в Израиль, где несколько лет спустя умер. Сашина мама звонила из Израиля, спрашивала, не осталось ли у меня его картин или рисунков. Не осталось.

Грамматическая поэзия с её установкой на свёртку (уплотнение, компрессию) склонна порождать сверхплотные тексты (В. Набоков, Саша Соколов, М. Ерёмин, И. Жданов). Ниже анализируется один из них: мини-стихотворение Владимира Набокова

В. Сирин

— более известное широкой публике как его литературный псевдоним. Внимательное прочтение этого стихотворения открывает в нём более двух десятков смысловых рядов, которыми оно, естественно, не исчерпывается. Развёртка (расслоение, разборка, срв. *déconstruction* Ж. Дерриды) обнаруживает

пробывающие в этом минимальном тексте в потенциальном виде (имена-семена) события и темы из жизни и творчества В. Набокова. Адекватность предлагаемого компресс-анализа авторским намерениям является особой проблемой, которая отчасти решается уравниванием творческих возможностей писателя и аналитика (последний транс-формирует текст первого). (Линейная запись проводимой ниже разборки далеко не соответствует раскрываемым пристальным чтением многомерным ветвящимся структурам.)

1) Сирин, райская птица, книгоиздательство символистов, радость, в отличие от Алконоста и Гамаюна.

2) Сирена, полуптица-полуженщина, пожирательница путников, мизогиния ВН, хитроумный Одиссей, Итака (местожительства ВН в США).

3) В.(С)ирин, «Капитанская дочка» Пушкина, «Машенька», русская классическая литература в творчестве ВН, Вырин от Выры (усадьба Набоковых между Гатчиной и Лугой), как Лужин («Защита Лужина») от Луги, ностальгия эмигранта по родине, потерянный детский рай, вырей, ирей.

4) Сирень — атрибут барской усадьбы, после 1917 года пошедший, как «Вишнёвый сад», под топор, Пнин — вырубленный Сирин, в курсивном письме Pnin и Sirin почти неразличимы.

5) Цепочка переводов, оправданных полилингвизмом ВН: Sirin (*фр.*) — сирень — lilas (*фр.*) — lila (*индо-европ.*, срв. лялька — игрушка) — игрок, играющий, «Лилит», «Лолита», Лёля (семейное имя матери ВН).

6) Цветовая гамма Сирина: сиреневый, лиловый, ирисовый (в обратном чтении; подозреваю, что ВН был левшой), влажно-голубой (цвет буквы С в «цветовой азбуке» ВН; бабочки голубянки — специализация ВН), со сдвигом в холодную часть спектра, излюбленную декадентами и символистами.

7) Имена В. Сирина и Валентины Шульгиной (первая возлюбленная ВН, 1915–16) совпадают в английской аббревиатуре и в другом псевдониме ВН — Василий Шишков (Василий Рукавишников, дядя ВН, завещал ему усадьбу в Рожественно,

Александр Шишков, дальний родственник ВН, поэт, адмирал, знаток русского языка, современник Пушкина).

8) Сирий, сирота, положение ВН после гибели отца 28 марта 1922 года (Мартын, «Подвиг»).

9) INRI, сомнительная из-за безразличия ВН к христианству анаграмма, Голгофа эмиграции, одинокий «царь иудейский».

10) Столь же сомнителен и Ефрем Сирин (IV век), христианский поэт.

11) Сириус, ярчайшая звезда неба, № 1, Number One, N. V., анаграмма star-tsar.

12) Siring, герундиальный изофон Сирина: Sir-ing, господствующий, господин, Sir-ring, властелин кольца, See-ring, кольцевое видение, круговые построения, «Круг», зрительная доминанта у ВН.

13) Сирина, многоствольная флейта Пана, эрос, язычество, нимфы.

14) Iris, радужная оболочка глаза, раёк (слепота — ад для глаза, «Камера обскура»), Ирида, богиня радуги, очень юная девушка, радуга (многоцветная дуга, полный цветовой спектр, «цветовая азбука», сапфир-изумруд-рубин (с...-и...-р...ин) — сокращённая схема радуги в «Других берегах»).

15) Око в Набокове — iris (раёк) в Сирине, два глаза в слове око (по А. Шишкову, одно из свидетельств гениальности русского языка) воспроизведены в iris, I изофонно eye, глаз (*англ.*)*, четырёхглазость Нарцисса с двойником-отражением.

16) ОКО — IRI, симметричные конструкции, перевод женского, рыхлого, русского О в мужское, спортивное, английское I, англomania ВН, Кембридж, гомосексуальная тема, брезгливость, неприязнь к стихии воды, превращающей землю в грязь.

17) Iris, радужница (или переливница), Apatura iris, сем. Нимфалид, лепидоптерологические занятия ВН, их выбросы в литературу (срв. чёрный аполлон, Parnassius mnemosine).

18) I в IRI — изофон и изограф I, я (*англ.*), солипсизм, монологизм, мизантропия ВН.

* За английский глаз приношу благодарность Майклу Молнару, моему внимательному слушателю и провокатору.

19) Изограф к I = я — 1 = единица (one), числовой выразитель я, звуковой дубль аббревиатуры В. Н., Ван из «Ады», спаривающийся на дереве с Адой в бабочку-монаду (ванада с переменной пола: ванесса + адмирал, Vanessa L-album + Vanessa atalanta, срв. Vanessa io, павлиний глаз), перевод «Онегина» (One + gin).

20) Монограмма IRI из-за смысловой вариативности своих частей (I, eye, one, are, art, рай) множественна в прочтении: бытийствующее зрение, искусство для глаза (увлечение ВН живописью), единый рай и т. п.

21) I в IRI удвоено рефлексом R (зеркально, нарциссически и рефлексивно), центральное положение R в IRI (K в OKO), священный король (rex, roi, geu, king, король), романтический намёк на царскую (романовскую) кровь в жилах ВН, изгнание поэта-царя, (Pe)Пнин, «Под знаком незаконнорождённых», «Bend Sinister» с частичной анаграммой (B)end Sirin est (Сирин кончился), Sirin('s) best end, или Бедн(ый) Сирин, «Sulus Rex», технический термин из шахматной композиции, перевод ВН «Алисы» Л. Кэрролла, путешествующей по шахматно-карточной стране: «Аня в стране чудес», где Аня — изофон Н. (Аня = App + я, дубль), господин Н. из предисловия к «Другим берегам».

22) Мимикрия — искусство имитации чужих узоров* — в творчестве ВН (см. предыдущие пункты). И тому подобное...

→ 24 апреля: Сирин: один или много?

Volare oh-oh.
Cantare oh-oh-oh-oh!

До сих пор с 60-х годов в памяти хранится «Летать» в исполнении Доминико Модуньо: vo-la-a-re! oh-oh!

Во французском языке забавная склейка: voler — не только «летать», но и «воровать», vol — полёт и воровство, да и в рус-

* Nabokov was, after all, a parodist, and a parodist at the end of a great literary tradition (A. Field).

ском корень вор- на удивление *птичий*: на вскидку, не заглядывая в словарь, вспомнил полдюжины птиц с «воровским» корнем: ворона (crow), ворон (raven), воробей, скворец, жаворонок, воронки (городская ласточка), ещё и сорока из сказок — непременно сорока-воровка...

Птицы в русском языке не только летают, но и воруют (это, впрочем, и без языка известно: налётчики). Вопрос такой: язык всего-навсего отражает «воровскую» природу птиц, губительниц зерновых, или есть для воровских птичьих слов какие-то другие зацепки? Кажется, есть: вестник богов Гермес с его *крылатыми сандалиями*, первый и главный вор Олимпа, укравший, совсем ещё младенцем, священных коров Аполлона.

О парадигмах

1. В «точных» науках: каждое сообщение (в идеале/принципе: в математике) верифицируемо. Математика это доказательство это неминуемость. Рассуждение — подступ к Доказательству. Независимость: *любое* доказательство остаётся истинным для *любого* другого (и доказательства, и Другого: мыслителя, деятеля, *пользователя*). Иначе: доказательство *любого факта* не меняет доказанного иным путём. И значит, диалог (дискуссия, прение, *распря*) — прокрустов(ы), соотносим(ы) с Законом, Истиной. Жупел: повторение. В счёт только первый раз. Следствие: любое высказывание должно быть новым. Возможность ошибки, отсутствие глупости. Диктант.

2. Сфера искусства.

Со стороны практики: царство интерференций (он знал, как трудно писать музыку после Шёнберга и Веберна — Стравинский о Варезе; и ещё одна цитата, моя любимая: Берг сравнивал музыку Веберна с живописью Мемлинга и Ван дер Вейдена). Сочинение.

Со стороны теории, сиречь эстетики: доказательств (это уже не суд, не улики) быть не может. Эстетическое чувство,

вкус. Суждение ближе к рассуждению (и, как ни странно, осуждению), чем к Закону. Дискуссия (дискурсия) с профаном рядится в профанные (идиотические, т. е. здесь доказательные) формы. Нет абсолютной истины — нет единого уровня рассуждения (дискурса). Нет ошибок, есть глупость. Рассуждая об эстетическом объекте, всегда нужно учитывать, к кому обращаешься. С доказательностью — к профану. С «тонким» другим (возвышенным над плоскостью доводов?) доказательность обесценивается. У него своя. Единственный метод (путь, стратегия) — показать, что есть *другая* точка зрения (сплошь и рядом — почти та же). Её «засветить». Другому: аллегорически. Отсюда главный критерий эстетического чувства — способность осознать а) чужую точку зрения; б) что существуют иные точки зрения (именно в таком порядке). Чем тоньше партнёр, тем меньше слов. Тем противоестественнее доказательства. Доводы. Меньше *построений* (конструкций). Инстанция вкуса. Успех, обеспеченный повторению, подхватыванию. Прежде всего, чужого. Вечное пережёвывание (Бланшо). Тавтогоричность. Повторение (своими, т. е. чужими, словами, театр суфлера) как идеальный вид диалога. Любой диалог монологичен (Бахтин). Иной статус высказывания. Роза это роза и т. д. Изложение.

3. Сфера «гуманитарных наук»: внешне навязанная (и с готовностью принятая) необходимость научной (см. п. 1) доказательности. В вопросах, ей не подлежащих (см. п. 2). Новый (иной) статус доказательности. Всегда непременно есть некая лагуна, лагуна между выводом и доводом. Люфт: по-французски — игра. Сиречь неопределённость статуса высказывания. Опасность опьянения: токсична не только докса. [Фантастичность (включая момент хамства) дискуссий о М. Л. Гаспарове.] Описание.

За. Дальнейший шаг: сфера социологии (в наших пенах — литературы в первую очередь). Наблюдатель самим своим рассмотрением не только (квантово-механический

эффект; Планк, Гейзенберг) меняет картину наблюдаемого; он неизбежно выпадает из её плоскости (сферы, пространства), превращая её в *гиперплоскость*, подчиняя чужим (не имманентным ей) законам (политика, власть, математика, т. е. логика, и т. п.) — неминуемо аннулируя её внутренние законы (и Кеплера, и Канта). Вкус — категория статистическая. Докса токсична: роза это розга. Безумие взгляда, дня (мысль не есть кодировка, расшифровка мысли немислима). [Сила Бодрийера — в понимании своего места. Метаметастратегия, которая, правда, как известно из теории игр, в конечном счёте ничего не добавляет.] Опись.

4. Сфера философии (здесь ничего нового, см. Бадью): никаких внутренних истин (п. 1), умеренность поэмы (п. 2), не надо подшивок (п. 3), политики (п. 3а). Ни доказательства, ни лирики, ни власти. Фило-софия всё объёмлет (это со-бытие бытия и события) и зиждется на любви. Послание.

21.30–21.42. 12. 4. 2001.

(Виктор Лапицкий)

Андрюша родился в 2001 году, 13-го числа, в пятницу, да ещё и в Страстную, «вместе с Беккетом». Схватки начались у Лики 12-го, мне разрешили быть рядом; по словам медсестры, все роженицы, как одна, родили в День космонавтики мальчиков, но наш ребёнок (мы не знали, мальчик родится или девочка, никаких УЗИ, кто родится, тот и пригодится) в космос не торопился, ждал полночи, ждал следующего дня, ждал пятницы. И дождался: появился на свет в 00.15. Кто-то из акушерок глянул в окно: «Девочки, снег идёт!» Сильный снег, ветер. Я возвращался из Весёлого Посёлка пешком, возле самого дома часа в два ночи какой-то пьяный бомж приветствует: «Папаша, поздравляю с праздником!» Я с удивлением: «А откуда вы знаете?» Он махнул рукой и, шатаясь, удалился.

Потом я сообразил: поздравлял он с Днём космонавтики — всё равно приятно. Сидя за кухонным столом, улыбался во весь рот,пил за здоровье малыша, заодно и за Беккета.

АПРЕЛЬ

14

пятница

Когда желание сосать камень снова овладевало мной, я опять лез в правый карман пальто в полной уверенности, что мне не попадётся тот камень, который я брал в прошлый раз. И пока я сосал его, я перекладывал остальные камни по уже описанному мной кругу. И так далее. Но это решение удовлетворяло меня не вполне, ибо от меня не ускользнуло, что в результате исключительной игры случая циркулировать могут одни и те же четыре камня. В этом случае я буду сосать не все шестнадцать камней, а только четыре, одни и те же, по очереди. Правда, я как следует перемешивал их в карманах, прежде чем доставать сосательный камень, и снова перемешивал, начиная их пере­кладывать, надеясь таким образом достичь большей степени циркуляции при переходе камней из кармана в карман. Но подобный паллиатив не мог надолго удовлетворить такого человека, как я. И я приступил к поиску. Первая же мысль, на которую я наткнулся, подсказала, что, возможно, лучше было бы пере­кладывать камни не по одному, а по четыре, то есть во время сосания достать оставшиеся три камня из правого кармана пальто, вместо них положить четыре из правого кармана брюк, вместо них — четыре из левого кармана брюк, вместо них — четыре из левого кармана пальто и, наконец, вместо них — три из правого кармана пальто плюс тот один, как только я кончу его сосать, что находился у меня во рту. Мне показалось сначала, что на этом пути я приду к лучшему результату. Но, поразмыслив, я вынужден был отказаться от него и признать, что циркуляция камней по четыре приводит точно к тому же результату, что и циркуляция по одному. Ибо хотя, опустив руку в правый

карман пальто, я наверняка найду там четыре камня, отличных от четырёх своих предшественников, тем не менее сохраняется вероятность того, что я буду постоянно вытаскивать из кармана один и тот же камень из каждой группы по четыре камня и, следовательно, сосать не шестнадцать камней поочерёдно, как я того желал, а только четыре, одни и те же, по очереди. Так что выход следовало искать не в перемене циркуляции, а в чём-то другом, ведь, независимо от вида циркуляции камней, я подвергался одному и тому же риску. Вскоре мне стало очевидно, что, увеличив число карманов, я тем самым увеличивал шанс сосать камни так, как я этого хотел, а именно один за другим, пока число их не исчерпается. Будь у меня, например, восемь карманов вместо четырех, которые у меня были, тогда и самая изошрённая игра случая не помешала бы мне сосать по меньшей мере восемь камней из моих шестнадцати, поочерёдно. Закрывая тему, скажу, что мне необходимо было шестнадцать карманов, чтобы получить желаемый результат. Долгое время это решение казалось мне единственным; без шестнадцати карманов, по одному камню в каждом, я никак не мог достичь поставленной перед собой цели, если, конечно, не поможет исключительное везение. Но если бы даже я сумел удвоить число карманов, разделив каждый пополам, с помощью, допустим, нескольких булавок, учетверить их было бы мне не под силу. А городить огород ради каких-то полумер я не собирался. Я так долго ломал голову над этой проблемой, что начал терять всякое чувство меры и повторял: Всё или ничего. И если, на мгновение, меня соблазнила мысль установить более справедливую пропорцию между числом камней и карманов, сократив первое до величины последнего, то не более чем на мгновение. Ибо тем самым я должен был признать своё поражение.

(Сэмюэл Беккет. Моллой)

И р м а. Жорж, скажи мне... *(Нерешительно.)* Только не сердись. Ты не устал играть в эту игру?

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Нет. Я ухожу сейчас к себе.

И р м а. Как хочешь. Благодаря мятежу ты оказался свободен.

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Мятеж — тоже игра. Отсюда тебе не видно, что творится снаружи, а ведь каждый мятежник играет. И любит свою игру.

И р м а. Но не могут ли они оказаться по ту сторону игры? Я хочу сказать, что игра может заставить их всё разрушить и всё изменить. Я знаю, что и у них, конечно же, есть правила игры, которые в определённый момент заставят их остановиться и повернуть вспять. Но если вдруг, движимые страстью, они про всё забудут и, отбросив последние сомнения, устремятся...

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Ты хочешь сказать: в реальность? Ну а дальше? Пусть попробуют. Подобно им, я тоже устремляюсь в ту реальность, которую предоставляет нам игра, но поскольку моя роль более выигрышная, мне несомненно удастся их смирить.

И р м а. Они могут оказаться сильнее.

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Почему ты так думаешь? В одном из твоих салонов я оставил охранников, которых всегда держу при себе. В конце концов, разве ты не хозяйка этого дома? Так вот. Если я пришёл сюда, то потому, что нахожу удовольствие в твоих зеркалах и играх. *(Нежно.)* Успокойся. Всё пройдёт, всё образуется, как это бывало прежде.

И р м а. Не знаю почему, но сегодня мне никак не успокоиться. Кармен стала совсем чужой. У мятежников, как бы тебе сказать, такие серьёзные лица...

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Этого требует их роль.

И р м а. Нет, нет... решительность. Те, что проходят под нашими окнами, молчат, но в их глазах скрывается угроза.

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Ну и что? Пусть так. Разве ты считаешь меня трусом? Или, по-твоему, я должен отказаться...

И р м а (*задумчиво*). Нет. К тому же уже слишком поздно.

(*Жан Жене. Балкон*)

→ 18 декабря: Балкон, 2

Церковь

Бабушка прислала мне зефир.
Мне открылся целый мир,
Состоящий из вещей-дыр.

Где-то церковь под небом голубым
Полнится платьем прихожан тугим.

Церковь — это дым.
Игрушечная,
Она плывёт в облаках.
Засушенная,
Держит старуха младенца в руках.

Сколько мучеников умерло под пилой
На земле по-византийски золотой,
На земле простой.

Бог скажет церкви: «Стой!»
Она остановится под Ленинградом,
Обернётся дождём или градом.

Град прошёл,
А я в церковь не пошёл.
Дом мой населён вещами и дождём,
И я прячу глаза в мешок,
И несу глаза на спине
Топить их в реке
Времени тусклых дней.

Но в России не стало царей.
Вместо них Романов-пырей,
Не из Германии он, из зверей.

Вечер приходит, словно вор.
Шеи моей касается воздуха топор,
И начинается с вещами в комнате спор.

Вещи идут со свечами
Кругами
В моём сознание.
Ноги мои лижет Эдема пламя.

В церкви иконы гибнут под топорами,
И священник заплутал языком в Коране.

А я на диване
Думаю о самоубийце Анне
Карениной.
Всё, что со мной происходит, то происходит вне времени.

Здравствуй, новое поколение,
Не знающее, что родился Христос в Вифлееме,
Глядящее на Божий свет сквозь материнское темя,
Идущее на комсомольские стройки
с душевным сомнением.

(Василий Филиппов)

Языческие боги воплощают собой идею формы человеческого существования. Язычество — многобожие.

Вообще Бог абсолютен по своему определению, отсюда может показаться, что язычество — просто недоразвитость религии, дух ещё не дорос до чего-то; однако это лишь негативное, отрицательное определение.

Греческое язычество (как и всякое другое) имеет целью перенести аспект от «что» к «как», от содержания к форме. Язычество подчёркивает, что не существует просто бытия, данного бытия, а существует как бы язык представления этого бытия. В мире Аполлона мы описываем бытие с точки зрения красоты в противоположность безобразию. Но суверенность формы и бытия в форме достигается ценой отказа от единого истинного бытия и признания множества языков описания. Равно достойных. Есть множество богов, и каждый из них абсолютен в себе и рядоположен другим.

Зевс только потому во главе богов, что он выражает идею власти, которая — только одна из идей.

Человек властен над бытием, потому что властен выбрать форму существования. Это простейшая и наивнейшая форма власти мысли, т. к. выбирая одного бога, он отказывается от другого. Власть формы над содержанием полноценно, но наивно выражена в греческом язычестве.

Абсолютного бытия в язычестве нет. Этот вопрос лишен смысла. Вместо этого выступает чистое делание, мастерство.

Вопрос «что» потонул, исчез, размазался во множестве описаний. Но «описание» вне того, «что» есть и «что» описывается, есть делание. Нечего созерцать, находиться можно лишь в делании (т. е. не «как ты делаешь», а «что ты делаешь»).

У греков поэтому нет идеологии, т. к. нет иерархии ценностей. Если бы присутствовала иерархия ценностей, она отсылала бы нас к «что».

Но среди богов нет лучших и худших. Каждый бог — бог. Бытия не существует, поэтому нет ничего абсолютно-го. Греческое язычество отвергает саму возможность морализировать.

(Олег Ноговицын. 12 лекций о досократиках. СПб., 1994)

АПРЕЛЬ

18

вторник

У Максима с малых лет тяга к прекрасному и цепкая память: выучил как-то по моей наводке несколько стихотворений Ли Бо в переводе Гитовича и отправились (в 1973-м?) на бульвар Профсоюзов навестить приболевшего Кузьминского. Поговорил с лежащим снопом на тахте Костей о том о сём, после чего Максим, заметно смущаясь, заводит:

*В струящейся воде
Осенняя луна.*

*На южном озере
Покой и тишина.*

*И лотос хочет мне
Сказать о гём-то грустном,*

*Чтоб грустью и моя
Душа была полна.*

Константин Константинович, с его колоссальной памятью, тоже не промах, тут же подхватывает:

*Плывут облака
Отдыхать после знойного дня,*

*Стремительных птиц
Улетела последняя стая.*

*Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,*

*И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.*

Дошкольник не успокаивается, ещё не всё, поэтическое состязание продолжается, все трое в восторге:

*На горной вершине
Ногу в покинутом храме.*

*К мерцающим звёздам
Могу прикоснуться рукой.*

*Боюсь разговаривать громко:
Земными словами*

*Я жителей неба
Не смею тревожить покой.*

Костя, с улыбкой до ушей, по-прежнему лёжа:

*Так жарко мне —
Лень веером взмахнуть.*

*Но дотяну до ноги
Как-нибудь.*

*Давно я сбросил
Все свои одежды —*

*Сосновый ветер
Льётся мне на грудь.*

Тут и я не удержался, вмешался в поединок двух книго-
чеев:

*Вижу белую цаплю
На тихой осенней реке.*

*Словно иней, слетела
И плавает там, вдалеке.*

*Загрустила душа моя,
Сердце — в глубокой тоске.*

*Одиноко стою
На песчаном пустом островке.*

До сих пор созерцаю внутренним взглядом обоих современателей — большого и малого, оба молодцы.

Filioque и прогресс

АПРЕЛЬ

19

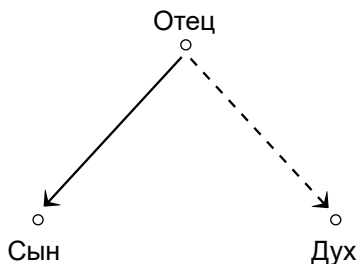
среда

Религиозные догматы и обычаи, на которые мирское сознание зачастую смотрит как бы свысока и язвительно («Не всё ли равно, двумя пальцами креститься или тремя?»), являют собой костяк, скелет религиозного сознания (*одухотворённый скелет*), или, если угодно, краеугольные кости общественного устройства, разделительные межи, водоразделы — схемы, каркасы, направления роста, «зримые оси кристалла», задающие его внешние особенности и признаки.

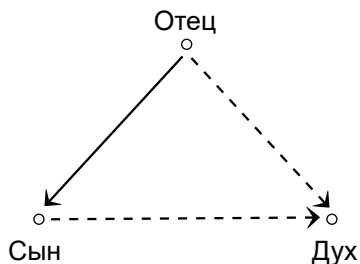
Таков, среди прочих, христианский догмат о взаимоотношениях трёх ипостасей Троицы — у православных: «Сын рождается Отцом, Св. Дух истекает от Отца», у католиков с добавлением: «<от Отца> и от Сына» (*filioque*). Схематически обозначим отношения порождения и истечения двумя разными векторами: сплошная стрелка — порождение, пунктирная — истечение. (Что это означает содержательно для дальнейших «формальных» построений, не важно.)

Православный (1) и католический (2) догматы приобретают следующий геометрический вид:

1)



2)



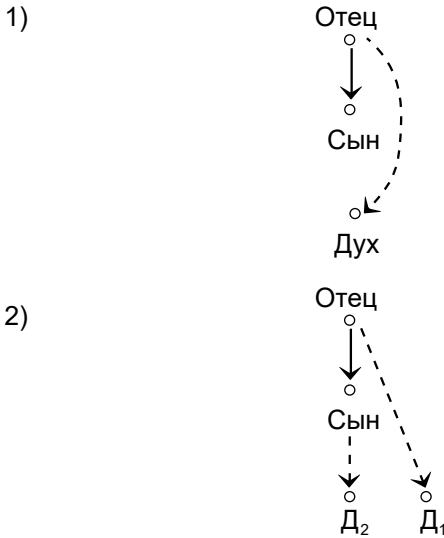
В первой схеме у Отца две активных функции (порождение и истечение), у Сына и Духа — по одной пассивной (Сын порождён Отцом, Дух истечён Отцом), так что взаимодействие Сына с Духом возможно только *через посредство* Отца, который осуществляет «контроль» за их общением и не позволяет ему принять чуждые отцовскому проекту очертания. Отец здесь единственный активист, всему голова: всё начинается и завершается Отцом. Помимо Отца никто *не силён*: Сын и Дух лишь воспринимают нисходящие на них дары рождения и истечения. Полное господство Отца над другими ипостасями — это и есть «патриархат» в обычном смысле слова.

Вторая схема — гораздо разнообразнее: в ней два активиста (Отец и Сын), Дух дважды пассивен (истечён и Отцом, и Сыном), Сын пассивен по отношению к Отцу и активен по отношению к Духу. В католической схеме все три ипостаси взаимосвязаны, для связи Сына с Духом нет нужды в посреднике. Можно сказать, что Сын в какой-то мере «подражает» Отцу: Дух так же истечён Сыном, как и Отцом, но, скорее всего, *по-своему*, поскольку Сын, не способный, в отличие от Отца, к рождению, *отличается* от него, и будет истекать в Духе *не так*, как Отец.

Иначе говоря, католический догмат поощряет в Сыне отцовские черты и тем самым способствует его соревнованию с Отцом, то есть возможности смены поколенческих и исторических эпох, которые в православном догмате как бы и *не возникают* (не из чего: среди ипостасей функционально господствует Отец — что бы ни говорилось о их нераздельности и неслиянности). Иерархия в православии есть, а движения нет, оно даже не намечено. В католицизме есть и иерархия, и борьба за господство или, по крайней мере, за своё. Как следствие,

проистекающий из Сына Дух позволяет Сыну вносить что-то своё, чего не было у Отца (в первую очередь — рождённость, которой Нерождённый Отец лишён).

«Подражание» Сына Отцу в католической схеме станет очевидным, если представить обе схемы не в виде треугольников, а линейно:



D_1 и D_2 означают здесь «разных» Духов, поскольку первый из них истечён Отцом, а второй — Сыном, а Отец и Сын, как уже говорилось, *несколько разные* ипостаси: Отец нерождён, а Сын рождён.

Если в православной схеме пресечение хотя бы одной функции (а все они — и порождение, и истечение — активно принадлежат Отцу) свёртывает одну из ипостасей (Сына или Духа) в изолированную точку, фактически уничтожает ей, то в католической схеме каждая ипостась защищена *двойной связью*, и потому при пресечении одной из функций все три ипостаси продолжают пребывать в действенной связи с другими ипостасями и сохраняют свою жизнеспособность.

Filioque наделяет Сына непосредственным доступом к Духу и делает необязательным для этого наличие Отца. Отец породил Сына — на этом его роль как бы обрывается: Сын и без От-

ца найдёт доступ к Духу (*свой* доступ), и если он воспринимает рождение от Отца как нечто «формальное», паспортное, имевшее место некогда (до времён), то Сын будет действовать (изливать Духа) вне и помимо Отца, по собственному изволению.

Если, обмирщая богословскую схему, понимать действия Духа Святого как творческий порыв и умножение культурных сокровищ, то в православии они обретаются Сыном через посредство Отца, с его участием и помощью («застойная традиция»), тогда как в католицизме достигаются как через Отца, так и через Сына. В православии Отец, так сказать, черпает Свой Дух и передаёт его Сыну при условии своего неперемennого присутствия. В католицизме у Духа — двойное истечение; и если связь между Отцом и Сыном по какой-либо причине (включая её *сознательный разрыв* Сыном) прерывается, это вовсе не свёртывает Сына в точку, в «вещь в себе», а сохраняет его в развёртке, в связи, и, более того, сохраняет Сына как того, от кого истекает Дух. То есть Сын может отбросить (пресечь, забыть) свою связь с Отцом, свою зависимость от него, его старшинство — и думать о себе как о «новом Отце», от которого, как и от старого, истекает, причём *по-своему*, Дух. «Я — как и Отец, от меня, как и от него, истекает Дух. Собственно, я и есть Отец, хотя и не порождаю Сына (нет реального рождения), зато *как бы* рождаю Духа, он от меня проистекает». А это значит, что в католической схеме в добавке «filioque» дана основа для «прогресса», для соревнования Сына с Отцом, для смены поколений, для преобразования традиции и пр.

Гумберт-Гитлер

На первой странице «Лолиты» её «редактор» Джон Рэй (Иоанн, Иван, Ван; Ray_E — луч) называет имя Гумберта Гумберта *причудливым* (*bizarre*). По звукописи ГМБРТ — не самое благозвучное сочетание, но одной фонетикой причудливость не исчерпывается, тем более что В. Набоков не слишком-то жаловал музыку (в противоход своему отцу, брату Сергею и двоюродному брату Николаю, будущему композитору, на филармонические концерты он не ходил, выказывал

восторг от невыносимого для русского уха БЛ и пр.), так что причудливость здесь, скорее всего, не звуковая, а смысловая. И в самом деле, имя Humbert (если каждую букву читать в своём регистре, то латинском, то кирилличном: $H_L; u_L = u_R = i_L; m_L \approx \tau_R = t_L; b \approx l; e_L; r_L$; франц. «немое t») причудливым образом превращается в неприятное, если сказать самое малое, Hitler. (К слову сказать, происхождение английского bizzare примерно таково: $bizzare_F < bizarro_S < bizar$ (баск.), борода, бородач, варвар.)

В фамилии Набоков, как и в Humbert'e — семь букв, увы, две одинаковых, что мешает соотнести их с семью цветами/нотами/планетами; Гумберт в этом отношении совершеннее. Выявлять цветовые очертания той и другой фамилии посредством набоковской «цветовой азбуки» и синестезии я поленился; уверен, впрочем, что никаких КОЖЗГСФ, никакой радуги не возникнет — имена Гумберта и Гитлера в цветовом отношении *должны быть* дисгармоничными.

Удвоение имени (Гумберт Гумберт, Г. Г.) идёт, вероятно, от Нарцисса и от Гоголя — как от литературных приёмов последнего, так и от его фамилии с удвоенным слогом.

Сходным приёмом переброски регистров чтения воспользовался некогда Владимир Эрль, сочинивший название ленинградской поэтической группы 1960-х годов «Хеленукты» из «нелепистов» (нелепица, абсурд) переменной регистров чтения: Нелеписты ($H_L = X_R; e; л; e; n_R = n_L = n_R; u_R = u_L = u_R; c_R = c_L = k_R; т; ы$) — вот вам и Хеленукты. Нелишне указать, что к сходной разгадке самостоятельно пришёл Дмитрий Северюхин, приятно: ты бредишь не один.

Объекты внешнего мира, которые не должны интересоваться *avinivartaniya bodhisattva mahasattva <бодхисаттва-махасаттва, который не вернётся назад>*: царь, вор, войско, война, деревня, город, городище, государство, царство, столица, дух, душа, я, министр, премьер-министр, женщина, мужчина, гермафродит, колесница, парк, сад, монастырь, дворец, злые духи, пища, питьё, одежда,

украшение, благовоние, гирлянда, помада, дорога, перекрёсток, улица, рынок, игра, паланкин, семья, песня, актёр, танец, повесть, артист, странствующий певец, море, река, остров.

(Линнарт Мяль. К буддийской персонологии // Труды по знаковым системам V. Тарту, 1971)

В начале 90-х годов Женя Белодубровский пригласил на Большую Морскую, 47, где на особняке Набоковых собирались 23 апреля торжественно открыть мемориальную доску. Пойти я не пошёл, но попросил Женю предостеречь организаторов (Вадима Старка и других) от распространённой ошибки, спровоцированной, скорее всего, самим писателем: Владимир Набоков родился 10 апреля 1899 года по старому стилю, в XIX веке; поэтому при переходе в григорианский календарь следует прибавлять не 13 дней, как это сделали вряд ли разбирающиеся в тонкостях юлианского календаря немецкие чиновники, а 12. Скорее всего, чиновникам подсобил в ошибке сам Набоков, не пожелавший соседствовать с варваром Лениным — куда как приятнее, сдвинувшись всего на день, оказать ся в одной компании с Шекспиром и Сервантесом...

АПРЕЛЬ

22

суббота

Кронос-Сатурн-Яхве

Карл Барт призывает: «Церковь должна говорить языком времени», то есть, переводя на понятный язык, быть *церковью бога времени Кроноса (Сатурна)*. Не важно, имеет ли Барт в виду «время как таковое» или конкретный процесс «темпорализации», который церковь обязана воспринять как *свой*.

Тора — не столько философская, сколько историческая книга: история определённого народа в окружении противоборствующих ему народов-языков.

АПРЕЛЬ

23

воскресенье

Кронос-Сатурн — один из планетарных богов; убеждённость в его главенстве или единственности есть *миф*, наряду с мифом *историзма*.

Сатурна в старину изображали на часах в виде художого высокого старика с косою в руках, правильнее — с *серпом*. Впрочем, коса — тот же серп, разве что на палке, но серп позволяет интересные сближения: «серпом по яйцам» (оскопление Урана, обрезание), серп и змея, лунный серп, серп и смерть и пр.

Кронос не терпит, чтобы ему служили «в неподвижности», он требует движения, каковое и есть форма религиозного служения Кроносу.

Здесь сталкиваются два мира: согласно гойскому (индо-европейскому), *времени нет*, согласно еврейскому — главный и единственный бог — Время.

Христос восстал против Кроноса и обещал человеку *вневременность*. День Христа (воскресенье) почитается восьмым днём в семидневной неделе, т. е. выпадает за пределы временного цикла. Отсюда же, вероятно, повышенное внимание христиан, как некогда египтян, к загробному миру, где «времени нет», и к вечности.

Сирин: один или много?

В статье «Равенство, зигзаг, трилистник, или О трёх родах поэзии», в главке о многочисленных толкованиях набоковско-го псевдонима Сирин (→ 10 апреля) я опустил *важнейшее* из них, так и бросающееся в глаза при созерцании имени Sirin, прочитанного с французским прононсом и переписанного по-английски: Сирин — Sirin_E — Sirin_F — Sir In_F — Sir N. — господин Н. Не знаю, открыли его с тех пор набоковеды или нет.

Выразительность никогда не была свойством, присущим музыке: смысл существования музыки отнюдь не в том, что она выразительна. Если нам кажется, как это часто случается, что музыка что-либо выражает, это лишь иллюзия, а никак не реальность. Это просто некое дополнительное качество, которое по какому-то укоренившемуся в нас молчаливому согласию мы ей приписали, насильственно ей навязали как обязательную форму одежды и то ли по привычке, то ли по недомыслию стали смешивать всё это с её сущностью.

Музыка — единственная область, в которой человек реализует настоящее. Несовершенство природы его таково, что он обречён испытывать на себе текучесть времени, воспринимая его в категориях прошедшего и будущего и не будучи никогда в состоянии ощутить как нечто реальное, а следовательно, и устойчивое, настоящее.

Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во всё существующее, включая сюда прежде всего отношения между *человеком и временем*. Следовательно, для того чтобы феномен этот мог реализоваться, он требует — как непереносимое и единственное условие — определённого построения.

Когда построение завершено и порядок достигнут, всё уже сделано. Напрасно искать или ожидать чего-то иного. Именно это построение, этот достигнутый порядок вызывает в нас эмоцию совершенно особого характера, не имеющую ничего общего с нашими обычными ощущениями и нашими реакциями на впечатления повседневной жизни.

(Игорь Стравинский. Хроника моей жизни)

Порча

АПРЕЛЬ

26

среда

Самая очевидная причина болезни в человеческом организме состоит в недостаточности процесса разрушения. Мы видели, что в результате разрушения образуются инертные, или отработанные, вещества, не пригодные к дальнейшему использованию, которые так или иначе должны быть из организма устранены. Но эти инертные вещества могут остаться в теле и превратиться в яды. В этом случае они дают начало совершенно новому процессу, который в человеческой жизни проявляется как восстание, или преступление.

Что соответствует преступлению в человеческом теле? Конечно же, неправильное функционирование, или бунт разных частей организма. А неправильное функционирование, в свою очередь, порождается задержкой в теле инертных веществ. <...>

В симпатической нервной функции, где процесс выделения даёт слёзы, смех, пение и другие внешние психо-эмоциональные проявления, процесс болезни превращает отработанные вещества в безосновательные страхи и сожаления, негативные мечты и так далее. Эти неправильные функции, ядовитые и на своём уровне, нетрудно узнать по тому неприятному и подозрительному оттенку, который они придают мыслям. Таким образом яд высшей функции вторгается как активная сила в функции нижнего уровня и заражает их.

Наконец, по отношению к половой и эмоциональной функции, где выделения представлены глубочайшими и тончайшими формами человеческих проявлений, их задержание в теле и патологическое разложение приводит к самому лихорадочному сексуальному воображению и к целому ряду болезненных эмоций насилия, страха, отчаяния и преступления. Что же является активизирующим фактором на этой стадии, ибо яд должен происходить из некой функции более высокой, чем свойственна человеку? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы сталкиваемся с дьяволом.

На фоне вышеизложенного процессы разрушения и претупления, или уничтожения и болезни, видятся в определённом смысле как две альтернативы: одна — естественная и здоровая, вторая — ненормальная и дегенеративная. <...>

Процесс болезни действительно развивается в обратном направлении и, если его не обуздать, истребляет огромные запасы хорошего материала, которые, возможно, являются результатом долгой работы и накопления. Аналогию этому мы обнаруживаем в молекулярном царстве, когда от одной ложки кислого молока сворачивается целый кувшин свежего или когда из-за небрежного хранения вино превращается в уксус. В клеточном мире мы наблюдаем почти безостановочное разрастание раковых клеток за счёт здоровой ткани.

Чтобы понять процесс порчи, мы должны понять идею *яда* в более широком, чем привыкли, смысле. Существуют яды физические, яды интеллектуальные, яды эмоциональные. Существуют ядовитые лекарства, ядовитые насекомые, ядовитые люди. Можно страдать от отравленного пальца, отравленного ума, отравленного общества. Во всех случаях природа яда состоит в том, что он *подрывает единство организма*, отрывает часть от жизни целого и оставляет её беспомощно гнить в одиночестве.

Сейчас много говорят о бактериях как о факторах болезни. Однако почти все виды бактерий существуют повсеместно. Здоровое тело со своим сильным магнитным полем имеет естественный иммунитет к вредоносным микроорганизмам. Они не способны овладеть им, *если его жизнённость и единство уже не подорваны внутренними ядами*. Стоит только начаться порче, и бактерии непременно подточат и уничтожат больной организм, подобно тому как черви подтачивают и уничтожают труп. По природе своей они являются «разборщиками завалов», функция которых состоит в том, чтобы как можно быстрее убрать с дороги ненадежные структуры. Истинно здоровому телу они угрожают не в большей мере, чем нападение личинок мух.

В мире людей процесс порчи проявляется как преступление, а его понимание представляет собой тест, по которому можно объективно оценить различные социальные концепции преступления.

(Родни Коллин. Теория небесных влияний. СПб., 1997)

→ 5 мая: Исцеление

АПРЕЛЬ

27

четверг

Представь себе, что ты раковая клетка на теле некоего организма. Как ты поступишь, узнав об этом? Избавишь так или иначе организм от своего присутствия или же бестрепетно продолжишь свое смертельное для него существование?

(Одна из первых самостоятельных «философских» мыслей, пришедших мне в голову в 1960-е годы.)

АПРЕЛЬ

28

пятница

Слава с виноватым лицом признался, что не понимает названия сосноровской книжки «Камни NEGEREP», а я немедленно выговорил ему, что «головное понимание» — отнюдь не главное для полноценного восприятия поэзии.

— Но ведь это книга прозы! — возразил он.

— У поэта любая книга — поэтическая, — я обратил его внимание на «аминь» в первом слове и тройное ритмическое Е во втором («Чем не поэзия?»), но потом сжалился и, приговаривая: «Не в этом дело, не это главное», подсказал анаграмматическое прочтение названия — «Книга перемен». Наверняка при её написании Соснора увлекался «И-цзином» и «всем китайским», если уж позволил себе переименовать в тексте имена своих ближних на китайский манер.

Волчара

АПРЕЛЬ

29

суббота

Баба Нюра Степанова — та, что продала мне дом в псковской деревне Быково всего-навсего за 900 рублей (впрочем, меня и за это укоряли: подобной развалюхе, мол, красная цена — 500), да и эти 900 рублей я выплачивал, при моём

скудном кошельке, целый год, навещая старушку в её новом доме в Низовской — так вот, баба Нюра вручила мне ключи, рассказала о правильном содержании огорода, чёрной смородины и яблонь, о фантастических грибных местах, Чёрной речке, леснике и соседях (с Николаем Матвеевичем, Павлом Васильевичем и Таисией Михайловной я уже успел познакомиться и даже выпить за знакомство и приближающиеся майские праздники) и отбыла восвояси, а я остался на первую апрельскую ночь в *зуть-зуть уже моём* доме, который, как вскоре выяснится, мне предстояло не один год обживать и, среди прочего, вывозить туда на лето не приходивших мне тогда даже в голову Никифора и Полину.

Утром проснулся не по своим меркам рано, часов в восемь, распахнул дверь из сеней, перешагнул через вдавленный в землю мельничный жернов — и увидел неторопливо пробегающую по дорожке большую поджарую овчарку. Пошёл следом за родным созданием (я — пёс по восточному гороскопу) с мыслью догнать, приласкать, одарить краухой хлеба, но не успел, собака убежала...

А вечером узнал от Николая Матвеевича, единственного после бабы Нюры обитателя деревни, остающегося в ней на зиму с козами и кошками, что в ближайших деревнях, за вычетом лесника Петра (но у него не овчарка, а охотничья), ни у кого собак нет, а пробежавшая мимо меня «овчарка» на самом деле — волчица, устроившая себе логово недалеко от Быково и зимой не однажды навевывавшаяся на козий запах в его сарае, так что пришлось даже стрелять в неё из форточки — жаль промахнулся. Забавная, обратная обычной «принял собаку за волка» история.

Летом, когда ходил на речку купаться и ловить рыбу, несколько раз встретил красавицу лису (по словам лесника, их рядом с деревней поселилось две — молодая красотка в ярко-рыжей шубке и с пушистым хвостом и старая карга с облезлым мехом), про зайцев и кабанов не говорю. Первые два года в Быково приезжало немало друзей и приятелей: Саша,

его брат Коля и мама Ирина Васильевна (у них дом неподалёку, в Вязке), Кирилл, Володя Кучерявкин, Василий Иванович Аксёнов, «родственник убийцы Столыпина» Алёша Багров, Боря Полещук (он купил дом в Загромадье, возле Вязки), Валера Зеленский и даже такой *принципиально городской* житель, как Виктор Антонов... Кучерявкин добрался самостоятельно, заплутал ночью в лесу, где встретил (ночью, пусть и белой!) *мужика с гемоданом*, тот и подсказал правильную дорогу.

Когда Игорь Чернышёв построил себе в Быково дом (обещал и мне за издательские труды, но как-то *не совсем* получилось), добираться в деревню с ним на машине стало куда как проще, не то что раньше: ночной поезд до Плюссы, утренний автобус до Должиц, четыре километра по лесной дороге с тяжёлым рюкзаком за плечами. На «Волге», которую Игорь умудрился приобрести в венгерском посольстве (венгерский флажок за стеклом так и остался, чтобы гаишники не приставали), мы едва не поплатились под ранним ноябрьским снегом жизнями, попали возле деревни с предостерегающим названием Погребище в аварию.

→ 29 ноября: Жуткое Погребище

→ 24 декабря: В Сочельник от Гурия

АПРЕЛЬ

30

воскресенье

Читали с Аркадием «Catch-22» Дж. Хеллера (английская книга 1961 года, русский перевод «Уловка-22», 1967, с изрядными сокращениями), приходя в немалый восторг, и спорили о названии. Сошлись на том, что правильно всё-таки не «Уловка», а «Параграф» или «Поправка» (так её в перестройку и назвали), мне больше нравился «Параграф», даже не словом, а знаком: «§ 22». Аркадий с усмешкой: «Дай тебе волю — все слова сократишь до знаков и значков!» Ну, это вряд ли, но кое-какие, в небольшом количестве...

МАЙ

Ткань иволги, делённая на клетки птицелова,
В палых листьях спелый ствол гадюки,
По капле цапля в пруд стекает с клюва,
В паутине зеркала различимы слёзки-гвоздики,
Зяблости не кончиться ни вечером, ни днём,
В ягоду западает иголочка-колючка,
Фигура любви расщепляется ножом
Надвое, как логово моллюска.

(Михаил Ерёмин, 1959)

МАЙ

1

понедельник

У Никифора редкое имя, но досталось оно ему почти случайно. В конце апреля 1986 года, когда до его рождения, по словам специалистов из женской консультации, оставалось полтора-два месяца, мы с Томой бестрепетно отправились на майские праздники в Быково, псковскую деревушку километрах в двухстах тридцати от Ленинграда. 1 мая добрались до Быково все четверо — Тома, я, не родившийся ещё Никифор и болонка Рёша («паспортное» имя куда грознее — Орёл), а утром 2-го у Тома неожиданно начались схватки. Сосед Николай Матвеевич взялся подбросить нас до больницы, его жена на всякий случай вручила мне моток шёлковых ниток с иголкой, ножницы и бутылочку спирта — и мы поехали в Плюссу. Местная больница оказалась на ремонте, как вдруг на помощь откуда-то возникла «скорая помощь», двинулись дальше — в Струги Красные

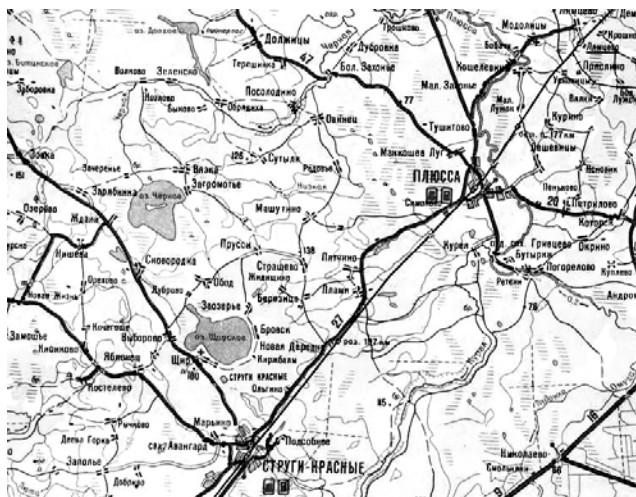
МАЙ

2

вторник

(в 1919 году переименованные большевиками из Струг Белых), километрах в двадцати пяти от Плюссы.

Больница в Красных Стругах в порядке, но брать Тому без паспорта не захотели, велели взять её в Псков. Я не удержался, вспылил, воззвал к совести и клятве Гиппократа — на удивление, подействовало. Пока я курил у порога, Тома *быстренько* родила мальчишку.



В Быково в этот день возвращался очень долго, немалую часть пути на своих двоих: 2 мая, народ пьянствует, ни машин, ни автобусов, дорога неблизкая. Часа через три тихонько взмолился: «Дядечка какой-нибудь, у меня в Быково собачка некормленная, а сколько еще идти! Подбрось до деревни: назову сынка в честь тебя твоим именем!» Не успел домолиться, сзади догоняет легковушка, водитель останавливается, радушно распахивает дверцу, я доволен. Но довёз он меня, однако, не до самого Быково, ему было не по пути, где-то раньше свернул (это важно для дальнейшего). Тем не менее половину пути, а то и больше я проехал. Прощаясь, спрашиваю, не объясняя для чего: «Как вас зовут?» — «Николай». Ничего удивительного: на Псковщине — каждый второй Нико-

лай, каждая вторая — Нюра. Ладно, думаю, пусть дитя зовётся Николаем. Но вскоре засомневался: представил огромную очередь просящих и умоляющих чудотворца, с этой толпой разве дозовёшься? Задумался, как быть, и тут же проблему решил.

На следующий день, 3-го, прихватив с собой Орла-Рёшку, снова в Струги, теперь уже полегче: народ опохмелился, кое-кто выбрался на трассу. В стружской больнице постучал в окно к Томе, она его тут же распахнула, показала сыночка. Я рассказал о Николае, о непомерной очереди к чудотворцу, о том, что водитель вёз меня всего лишь полпути, и сообщаю: «Я вот что придумал: полпути — значит, пол-имени — никакого обмана, всё честно! Выбирай сама, какое тебе по душе: Никон, Никандр, Никита, Никифор, Никодим, Андроник... а Николая оставим псковичам». Тома, не задумавшись: «Мне нравится Никифор». Я, не задумавшись: «Так тому и быть». Сочинили таким образом, стоя с двух сторон больничного окна, имя младенцу.

После чего отправился с Рёшкой в Ленинград за паспортом, одеждами и одеялами, а через пять дней снова вернулся в Струги забирать Тому и Никифора. Билет на поезд купил с шиком, в мягкий вагон, с нами в купе ехал офицер-ветеран, вся грудь в орденах и медалях, на парад Победы в Ленинград; ну и наш Никифор-Победоносец как раз ко времени.

→ 20 июля: Никифор, Боян, Марина

→ 6 октября: Вероника

Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, с тем не для чего произносить «А» споров, разговоров.

Мимо такого нужно просто *пройти*. Обойти его *молча*...

(Василий Розанов. Уединённое)

Утро во рту

МАЙ

4

четверг

(Это прелестное стихотворение пятилетний Никифор сочинил *немедленно* после того, как я объяснил ему, что такое стих-палиндром. Забавно, что после этого разового подвига ни одного палиндрома за всю свою жизнь он больше не сочинил. Когда вырос, приспособил с друзьями перевертыш к названию музыкальной группы «Утроворту». До рекламы зубной щётки или пасты, слава Богу, не додумался.)

Исцеление

МАЙ

5

пятница

Если бы процесс порчи не имел никаких препятствий, то уже в силу его заразной природы Вселенная была бы обречена. Но, как известно, больные иногда выздоравливают, эпидемии стихают, пустыни самозасеваются и даже войны подходят к концу. Существует процесс исцеления, в котором больная материя, заново обнаруживая первоначальную природную форму, вновь становится каналом для жизни и выздоравливает. <...>

Здесь имеется в виду возвращение к исходному принципу и его приспособление к новой или ненормальной обстановке. Например, в мышечных тканях тела начинают накапливаться какие-то ядовитые вещества. Через некоторое время положение становится слишком тяжёлым, чтобы облегчиться нормальным выделением. При этом, однако, белые кровяные тельца наделены способностью устранять яды. Окружая и изолируя яд гноем, они *изобретают* некую форму выделения. Нарыв развивается, назревает и лопаётся. Яды выброшены, и если заражение не слишком распространилось, ткань заживает. В теле существуют целебные вещества всех видов, но в некоторых случаях их работе способны помочь лекарства и препараты, имеющие сходную с ними природу. Это вещества, содержащиеся в концентриро-

ванном виде природный принцип, необходимый для того, чтобы исправить ненормальность и восстановить здоровую форму. К нарыву доктор прикладывает различные соли, имеющие естественное свойство вытягивать или высасывать яды из плоти. Этот же принцип он использует на молекулярном уровне, прикладывая тепло в виде горячего компресса. Иными словами, он вспоминает и использует естественные законы, чтобы *изобрести* способ возвращения организма к той форме, через которую кровь и жизнь снова могли бы протекать свободно.

Уже на этом примере видно, что процесс исцеления работает на двух уровнях. Во-первых, происходит естественное физиологическое излечение тела. Во-вторых, процесс исцеления поддержан человеческой изобретательностью, выраженной в искусстве медицины. В сущности, это один и тот же процесс: различны только шкалы и среда его действия. В первом случае процесс действует в клеточном мире, во втором — в мире человека. В первом он предстает перед нами как заживление в собственном смысле слова, во втором — как изобретение, умение, как прикладная наука, то есть сознательное использование естественных законов.

В своей основе исцеление — это то, что возвращает в здоровое состояние явления, затронутые процессом порчи, или преступления. Мы уже знаем, что этот процесс делает молоко кислым, вино превращает в уксус и заражает кровь сепсисом. В случае испорченных продуктов человек может или отказаться от них, как от протухшей пищи, или использовать для других, более низких надобностей. Когда же порча затрагивает вещества его собственного тела, он не может оставаться равнодушным, а должен остановить гниение и вернуть тело в здоровое состояние. В уксусе можно использовать саму его «кислоту», но заражение крови необходимо излечить, иначе человек погибнет. Так родилась медицина. <...>

Основопологающим принципом старой медицины было то, что каждый орган имеет свой разум, способный — с соответствующей помощью — диагностировать свою болезнь и выработать противоядие. Разумы разных органов в действительности объединены в один общий для всей инстинктивной функции разум, который, если ему верить и не перечить, способен спасти человеческий организм практически от любой болезни.

Современная медицина, работающая на молекулярном уровне, как правило, игнорирует этот инстинктивный разум и, действуя, так сказать, через его голову, подрывает его авторитет и власть в организме. Это как если бы больной вместо того, чтобы довериться больнице с её мудрым главврачом и подчиненными ему специалистами и отделениями, направился бы прямо в исследовательскую лабораторию и стал бы там уговаривать ассистента прописать ему самый последний препарат. Даже если бы это случайное лекарство оказало больному помощь, подобная практика вскоре сделала бы лечебную работу больницы как целого невозможной. Сходным образом чрезмерное увлечение молекулярными лекарствами, действующими с невероятной силой и скоростью, подрывает способность организма к самоизлечению и выздоровлению в будущем.

Вместе с тем очевидно, что медицина не может отвернуться от своих собственных открытий, не может отступить от мира молекул, в который проникла теперь её лечебная деятельность. Здесь, фактически, имеется только один выход. Чтобы исцеление было совершенным, то есть приносило реальную пользу человеку в целом, а не только уничтожало каких-то конкретных микробов или стимулировало определённый гормон, пациент сам должен познаться с разумом своей инстинктивной функции. Он должен услышать изнутри его голос, поверить его желаниям и подчиниться его приказам. Если он это сделает, в нём начнется такой процесс исцеления, который со временем

сделает вмешательство внешних лекарств совершенно ненужным.

На самом деле человек может научиться непосредственно воздействовать своим умом на инстинктивный разум, то есть поместить в клеточный орган точный электронный образ здоровья, которому тот должен соответствовать. Эта возможность лежит в основе исцеления верой — методов Христианской Науки и так далее. Сложность заключается в том, что для этого необходим очень мощный умственный контроль, абсолютно позитивное отношение и умение общаться с органами на их языке. Кроме того, нередко возникает своего рода самогипноз, когда процесс болезни протекает по-прежнему, а пациент убеждает себя в том, что не чувствует её симптомов. Это как раз и означает погружение инстинктивного разума в сон.

Именно инстинктивный разум — связующее звено между физиологическим лечением и интеллектуальным изобретением, двумя главными аспектами изучаемого нами процесса. Выше уровня клеток и органов изобретения человеческого ума и изобретения других его функций, работающих через инстинктивный разум, смешиваются друг с другом. Можно даже предположить, что все изобретения человеческого ума — результат некоего искусного воплощения природных принципов, законов и устройств, которые непрерывно действуют в механике движений его скелета, химии пищеварения, электрических явлениях нервной системы и так далее. <...>

Именно исцеление и его посредники в теле перестраивают материю в такую форму, в которой жизнь может сохраниться в изменившихся обстоятельствах. Благодаря ему человеческий организм чудесным образом приспособливается к сильной жаре, лютому холоду, долгому посту и недостатку сна. Благодаря ему слепой начинает «видеть» кожей своего лица, глухой — «слышать» костями черепа.

Исцеление позволяет исправить ошибки, избежать несчастия, вернуть органу здоровье, а человека правильным пониманием природного закона приблизить к нормальности.

(Родни Коллин. Теория небесных влияний)

МАЙ

6

суббота

Врач-акушер отработал две смены — за себя и за своего приятеля, принял шесть родов, сделал девять аборт, провёл три консультации, прочитал студентам-гинекологам лекцию, возвращается наконец, усталый, дамой, в руках две авоськи, набитые подарочным коньяком и шоколадными конфетами. На трамвайной остановке навстречу ему тощая пэтэушница: «Дяденька, дай три рубля, маху покажу!»

Немая сцена, авоськи падают из рук несчастного труженика, бутылки разлетаются вдребезги.

МАЙ

7

воскресенье

Смутная в памяти (когда это было?) и мутная по событиям (что это было?) история о моём знакомстве с французской девушкой Анной Лион, которая приехала в Ленинград специально для того, чтобы я на ней *фиктивно женился* и уехал во Францию. История не просто смутная и мутная, но и неправдоподобная: что за организация (общественная, частная) послала её в Ленинград, каким образом она отыскала меня, что заставило меня отказаться от выгодного на первый взгляд предложения? Тем не менее память об Анне осталась в виде бутылки коньяку «Camus Napoleon». Некоторое время я хранил её нетронутой, а потом предложил как материальное наполнение задуманной в 1978 году литературной премии Альбера Камю, которую её организаторы (Б. Иванов, Б. Останин, А. Драгомощенко, Ю. Новиков) тут

же переименовали в премию Андрея Белого, заменив дорогой и редкий французский коньяк без труда и задёшево обретаемой бутылкой русской водки.

→ 26 октября: Визит к Лотману

В Быково я ездил довольно часто, разве что не зимой, дозволив хозяйничать в промёрзлом доме мышам: на поезде до Плюссы, можно и на электричке до Луги, а оттуда на местном псковском поезде в пяток вагонов, после чего (предпочтительный поезд — ночной, отправлялся из Ленинграда за полночь, прибывал в Плюссу около 4 утра) на утреннем пятичасовом автобусе, идущем на Марьинско, где поселился Паша Кузнецов с Ритой, до Должиц, после чего четыре километра по лесной тропике, через бр~~о~~ню (небольшое болото) и колхозный луг в высокой росистой траве (идти без сапог и плаща было чревато мокрыми насквозь штанами).

Как-то отправился наезженным маршрутом и уже в поезде явственно, в точных подробностях вспомнил, что оставил дома на газовой плите чайник с закрывающимся носиком и свистком, увидел воочию, как набрал в чайник воды, поставил на плиту, зажёл и убавил газ. Что делать? Махнул рукой, упрекнул себя за «ложную память» и продолжил путь в заданном направлении. Дня через два в Быково приехал Игорь, сообщил, что меня ждёт срочная работа, и отвёз, не завернув домой, в издательство на Выборгской набережной. Там я и просидел допоздна, здраво, на фаталистический манер — а в глубине души я пофигист и наплеватель — рассудив, что если что-то и случилось (чайник распаялся, взрыв газа, пожар), то *уже случилось* — лишние 5–6 часов на работе после трёх суток за городом ничего не изменят. Ближе к ночи добрался наконец домой: выкипевший, почерневший, раскалённый чайник стоял на плите, огонь под ним горел синей звёздочкой, следов по-

МАЙ

8

понедельник

жара или газовой атаки я не заметил. Остудив чайник, снова поставил его на газ (на удивление, он не протекал) и, заварив свежий чай, подумал о том, какую прелестную кино-рекламу можно было бы сделать заводу — производителю *везных чайников*.

МАЙ

9

вторник

His story is history.
And my story is mystery.

<1990-е>

МАЙ

10

среда

О благороднорождённый, слушай! Сейчас ты созерцаешь Сияние Чистого Света Совершенной Реальности. Познай его. О благороднорождённый, твой разум пуст, он лишён формы, свойств, признаков, цвета; он пуст — это сама Реальность, Всеблагость.

Твой разум пуст, но это не пустота Небытия, а разум как таковой — свободный, сияющий, трепещущий, блаженный; это само Сознание, Всеблагой Будда.

Твоё сознание, лишённое формы и воистину пустое, и твой разум, сияющий и блаженный, — оба они неразделимы. Их единство и есть [Дхарма-Кайя] Совершенного Просветления.

Твоё сознание, сияющее, пустое, неотделимо от Великого Источника Света; оно не рождается и не умирает, оно — Немеркнущий Свет, Будда Амиитаба.

Этого знания достаточно. Осознав, что пустота твоего разума есть состояние Будды, и рассматривая её как своё собственное сознание, ты достигнешь состояния Божественного Разума, Будды.

(Тибетская книга мёртвых)

Уведомление автора

Первое издание «Москва—Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получил с тех пор много нареканий за главу «Серп и молот — Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупредил всех девушек, что главу «Серп и молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «и немедленно выпил» следует полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «и немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился того, что все читатели, особенно девушки, сразу хватались за главу «Серп и молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «и немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

(Венедикт Ерофеев. Москва—Петушки, 1973)

→ 24 октября: Москва—Петушки, 2

Еще одна попытка (→ 2 октября), на этот раз сменить уставший караул «содержания — формы» вкуче с «традицией — новаторством». Вместо этих двух пар предлагаю близкую к ним, но несколько другую (акцентирующую в творчестве военный регистр) тройку: *корпус*, *арсенал*, *полигон*.

Корпус — то, чему мы обучаемся в культуре, что, на первых порах ученичества, активно и любовно воспроизводим, чему подражаем (традиция и пассаизм), порой страстно и буквально.

Два других слова из регистра новаторства: *арсенал* — изобретение и использование новых приёмов и форм, *полигон* — зона тематического/содержательного обновления. Это и есть, собственно говоря, «творчество». И то, и другое — постепенно и выборочно — со временем переводится культурой в хранилище *корпуса*.

МАЙ

11

четверг

МАЙ

12

пятница

МАЙ

13

суббота

Приходит ночь, уходит странный день.
Жизнь коротка, а ночь ещё короче.
Есть где-то лес, в лесу кричит олень,
кричит олень пред наступленьем ночи.

Как грустно всё. Оленя влажный мех
начнёт тускнеть. Как страшно всё бывает.
Друг друга встретим — забываем всех,
расстанемся — друг друга забываем.

Но погоди, коснись твоей щеки
и жёлтых век — они невольно вздрогнут...
Кричит олень у бархатной реки,
и крик его, как рог его, изогнут...

(Нина Самойлович, 1977)

(Стихотворение посвящено В. Алейникову, к которому ненавязчиво отсылают и олень, и его изогнутый рог — Володя родом из Кривого Рога.)

МАЙ

14

воскресенье

Наконец я покинул Лусс, тёплой безветренной ночью, не попрощавшись, что, впрочем, мог бы и сделать, с её стороны попыток удержать меня не было, но были, наверняка, проклятья. Она, конечно же, видела, как я поднялся, взял костыли и удалился, перебрасывая себя на них в воздушном пространстве. И, конечно, слышала, как хлопнула за мной калитка, калитка закрывалась сама по себе, она была на пружине, и поняла, что я ушёл, ушёл навсегда. Она прекрасно знала, как я обычно ходил к калитке, — выглядывал за неё и тут же возвращался назад. Она не пыталась удержать меня, но наверняка отправилась на могилу своей собаки, которая (собака) до некоторой степени была и моей, и которую (могилу) она засекала, к слову сказать, не травой, как я думал раньше, а всевозможными разноцвет-

ными цветочками, подобранными, полагаю, так, что, когда одни отцветали, другие как раз распускались. Я оставил ей свой велосипед, который невзлюбил, подозревая, что он стал проводником некой злой силы и, возможно, причиной моих последних неудач. Тем не менее я взял бы его с собой, если бы знал, где он находится и что он на ходу. Но ни того, ни другого я не знал. К тому же я боялся, что, если начну искать его, тихий голос устанет повторять: Уходи отсюда, Моллой, забирай свои костыли и уходи отсюда, — а я долго не мог разобрать, что он говорит, ибо давно уже его не слышал. Возможно, я понял его неверно, совсем неверно, но я его понял, а это уже нечто новое. И мне представилось, что я ухожу отсюда не навсегда и, возможно, вернусь однажды, блуждая окольными путями, в то место, которое сейчас покидаю. И что не весь путь ещё пройден. На улице дул ветер, здесь был другой мир. Не зная, где я нахожусь и, следовательно, какой дорогой мне идти, я пошёл вместе с ветром. Когда костылям удавалось хорошенько метнуть меня и я отрывался от земли, ветер помогал мне, я это чувствовал, слабый ветерок, веющий не могу сказать, с какой части света. И не говорите со мной о звёздах, я плохо их вижу, да и читать по ним не могу, несмотря на свои былые занятия астрономией.

(Сэмюэл Беккет. Моллой)

Я помню чудное мгновенье
Невы державное течение
Люблю тебя Петра творенье
Кто написал стихотворенье
Я написал стихотворенье

(Всеволод Некрасов)

Брат Кинг-Конг был откровенен до фамильярности, что свидетельствовало о неловкой силе натуры, и фантастически неприхотлив: в городе трудно было найти человека в более нищенском одеянии. Порой он был непрезентабелен до оскорбления приличий — вероятно, на него оборачивались на улице. Он носил вещи, которые другие постеснялись бы отдать старьевщику, а он не только не смущался своего облика, но был настолько непринужденным, что все, с кем он общался, почти сразу переставали обращать внимание на его странный наряд. Он называл себя аскетом, пытаясь, возможно, этим оправдать нищенское существование своей семьи, беднее которой трудно было сыскать: будучи радушным хозяином, широким жестом он распахивал створки кухонного шкафа, желая попотчевать гостя, но там подчас не было ничего, кроме русской мацы, кажется его единственной повседневной пищи. Жена брата Кинг-Конга носила испещрённые разноцветными заплатками восточные байковые халаты, не следила за собой, что в очередной раз напоминало, насколько женщины труднее мужчин переносят материальные лишения: они тускнеют раз и навсегда, как скисает молоко, а молодости уже не вернуть.

Есть тип таких людей, они как бы рождаются усталыми. А при этом ей выпало жить с человеком, назвать коего чудачком не поворачивается язык, настолько это бледное, невнятное отражение его натуры, хотя чудесных и удивительных чудачеств его биографии не занимать. Он сам любил сравнивать свой темперамент с характером медведя, который, в отличие от кошек, пантер или тигров, намерения которых ясны заранее, нападает всегда внезапно, будучи за секунду до того, как он, скажем, снимет с дрессировщика скальп когтистой лапой, внешне добродушным и невозмутимым. По одной версии, он ушёл от первой жены в тапочках и рубашке, выскочив за пивом

в половине девятого в рождественский вечер, и больше не вернулся, даже за вещами. По другой — просто опоздал на рождественский обед, а ушёл из дома с баннным чемоданчиком с окованными углами (единственным его сокровищем — предметом зависти друзей и родственников) вечером под Пасху.

Со второй женой он распрощался куда более буржуазным способом: то есть оповестил за час до ухода о своём решении и забрал с собой пишущую машинку, столик и матрас для ночлега в незаселённом доме, где давний университетский приятель разрешил ему временно квартироваться, хотя в доме не было пока ни горячей воды, ни газовой конфорки. Он любил свою семью, поссориться с ним было достаточно непросто: и многие недоумевали — зачем он это сделал? В тридцать семь лет всё начинать с нуля, не имея никаких юридических или фактических причин для разрыва, оставляя женщину на грани отчаяния, а мальчика пятнадцати лет без отца.

Есть типы, чья натура время от времени чувствует необходимость полного перерождения, а жизнь настолько подчинена внутреннему голосу, что они принимают самое неожиданное для посторонних решение с легкостью, с которой змея меняет свою кожу. Жизнь превратилась в сухой футляр, привычки от долгого употребления протёрли дыры, шестерёнки отношений стёрлись и вращались, не задевая друг друга, не причиняя видимой боли, но и не обогащая душу щемящими чувствами, всё надоело, устал. В течение месяца брат Кинг-Конг оборвал все свои дружеские и приятельские связи, бросил журнал, которому отдал девять лет своей жизни, для начала затребовав полугодовой отпуск, развёлся с женой и исчез в неизвестном направлении. Что это был за человек?

(Михаил Берг. Момемуры // ВНЛ, № 6, 1993)

Соловей спасающий

МАЙ

17

среда

Соловей засвистал и защёлкал —
Как банально начало — но я не к тому —
И он сцепил голосовой защёлкой
Деревню Новую и Каменного дышащую тьму,
И он повесил на прохладе сушиться их полотна,
Чтоб точку ту найти — материей не так набиту плотно.

Друг! Неведомый! Там он почувал иные
Края, где нет памяти, где не больно
Дышать, — там они, те пространства родные,
Где чудному дару будет привольно.
И, свиста рукоять зажав, он начал точку ту долбить,
Где запах вечности шёл слабый, — ах, нам его не уловить!

Он лил кипящий голос
В невидимое углубление —
То он надеялся, что звук взрастёт, как волос,
Уже с той стороны, то умолкал в сомненье.
То прижимался и тянул из этой ямки всё подряд,
Проглатывая грязь и всасывая яд.

Он рыл туннель в грязи пахучей ночи
И ждал ответ
С той стороны — вдруг кто-нибудь захочет
Помочь. Блеснёт нездешний свет.
Горошинку земли он под язык вкатил
И выплюнул бы в свет, а сам упал без сил.

(Елена Шварц)

МАЙ

18

четверг

То ли у Леви-Строса, то ли у Малиновского читал про неправдоподобное индейское племя, которое большую часть жизни проводит лёжа в гамаках. Проходит день за днём, индейцы мирно лежат, голодают, тощат, и вот, наконец, вождь даёт сигнал к началу охоты — изголодавшиеся охотники покидают

свои гамаки, несутся аки ветер по саваннам и прериям за изумлёнными ланями и зайцами, хватают их на ходу, расшибают о землю... После чего, естественно, пир на весь мир: всё племя от души и от живота ядствует и пьянствует, после чего заваливается в гамаки — цикл повторяется до следующей побудки, охоты и пиршества.

Русские (вернее, «зыряне») (→ 5 марта) напоминают мне этих индейцев — своей малоподвижностью, «пофигизмом», попустительством, с последующей мобилизацией и авралом/атакой, позволяющей в кратчайший срок добиться нужных результатов. Таков Илья Муромец, 33 года пролежавший на печи, таков Илья Обломов (первая половина цикла, вторая, увы, ему не удалась), таков зверь-хранитель России медведь, всю зиму лежнем проводящий в берлоге, таков Жихарь у Михаила Успенского.

Гарик Лонский

Местный плейбой и острослов Игорь Лонский часто менял любовниц и порой предстал перед новой избранницей в неожиданном виде, кого из них удивляя, кого смущая. Как-то Гарик привёл очередную барышню домой и, усадив на диван в просторной гостиной, попросил немного подождать. Через несколько минут въезжает в гостиную на роликовых коньках, нагишом, с детским кнутиком в руке, описывает на паркете несколько замысловатых вензелей и с присвистом покидает изумлённую барышню. Потом снова возвращается — о дальнейшем развитии событий умолчу.

(Слышал от Аркадия)

Не литература, а литературность ужасна: литературность души, литературность жизни. То, что всякое *переживание* переливается в играющее, живое слово: но этим всё и кончается, — само переживание умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова. Слово не возбуж-

МАЙ

19

пятница

МАЙ

20

суббота

дает, о нет! оно — расхолаживает и останавливает. Говорю об оригинальном и прекрасном слове, а не о слове «так себе». От этого после «золотых эпох» в литературе наступает всегда глубокое разложение всей жизни, её апатия, вялость, бездарность. Народ делается как сонный, жизнь делается как сонная. Это было и в Риме после Горация, и в Испании после Сервантеса. Но не примеры убедительны, а существенная связь вещей.

(Василий Розанов)

МАЙ

21

воскресенье

Юрий Павлович Филатов заходил к Налу Подольскому на улицу Декабристов, тем более что жил неподалёку, возле церкви Исидора Юрьевского, я и вообще через дорогу, Виктор Кривулин приезжал на такси — и мы устраивали вчетвером захватывающий турнир в китайские шахматы *сян-ци*.

Играть в них научил Филатов, он же в 60-х годах внедрил в Ленинграде (не только в Ленинграде, ещё и в Перми) игру в *го*. Вообще любил настольные игры, знал их десятки и сотни. Увлекался японским языком, за каких-то два года его выучил. Работал сторожем, а если денег на жизнь не хватало, подрабатывал в Катькином садике игрой в шахматы (50 копеек партия). Увлекался музыкой и живописью, дружил с Кондратовым и Михновым.

Как-то, гласит предание, ему досталось от *швейцарской тётки* наследство, и он немедленно потратил деньги на книги и пластинки, купил у Михнова несколько картин, а оставшиеся с ним же и пропил. Когда кто-то из знакомых стал ему пенять: «Лучше бы зубы себе вставил!», ответил с широкой улыбкой: «А жачем жубы-то, жрать всё равно нешего!»

12 глаголов

Быть, казаться,
Рыть, касаться,
Выть, кататься,
Бить, ломаться,
Пить, валяться,
Жить, пытаться.

<1990-е>

МАЙ

22

понедельник

Это Пётр, грамотей один слободской, повёз что-то в город — продавать, покупать ли, не разберёшь на таком состоянии: далеко отошёл я на промысел, да и лампа моя штормовая не слишком фурычит в чужих потьмах, и лета мои не для птичьего зрения. Петру — что, он в полном порядке, а вот Павел, племянш его, озабочен, письмо ему треугольное шлёт. Прибывает турман их мохноногий на постоянный двор, видит — Пётр с отдельными сторожами охотничьими винище употребляет немилосердно, в козны режется, песни затеял шуметь. Турман Петра в темя клюёт — приговаривает: ты, Пётр, пить пей да дело разумей. Пётр письмо берёт, распечатывает, а в нём написано что-то. Дядя Петь, дорогой ты мой, там написано, дрозжи я уже не надеюсь, что привезёшь, но надеюсь пока что, что в торговом отрыве от наших мест ты не жил на продувное фу-фу и про азбуку мечтал дерзновенно. Плачется слёзно Пётр в кубарэ товарищам: помогите советом, уж гибну я. Послан Павелом в Городнице не то покупать, а может быть и продавать, знаю только — по смерть меня командировать выгодно, и что нету сейчас ни товару, ни денег, а тем более необходимых ему дрозжей. Тербит с того берега: мол, как хочешь, а от пустопорожного возвращения воздержись. Ну, дрозжей браговарных, возможно, у кого-нибудь и удастся заимообразно изъять, а вот

МАЙ

23

вторник

жэ-букву где раздобыть, заколодило нам на ней, просветителям. Гэ-букву, Пётр делится, выдумали без хлопот, она у нас наподобие виселицы, читай, потому что на виселице эту букву и выговоришь одну: гэ да гэ. Дэ — как дом, бэ — как вэ почти, вэ же почти как бэ, а вот жэ — та загадочна. В эту пору, траченный седыми невзгодами и хлёткими обложными ливнями, в кубарэ задвигаюсь я, собственной своею персоной, пророк, час один светлый спроворивший в июле-месяце у христиан, — захожу, чтоб отпраздновать завершение напрочь и вдрызг неудачного промысла моего. Встретился в слепой местности некоторый слепец, и он вызвался проводить на роздых к воде. И поплёлся за ним, ему доверяя во всём, но темнота нас объяла, и он не заметил поэтому ямы ловчей и ухнул. Сверзился вслед за вожатым и я, так как мой подпоясок связан был с подпояском его крепкой вервой, чтобы не растеряться нам. Вот и не растерялись, стенали с башками побитыми и с вывихами, вот и не растерялись, дурили мы, путь наш продолжая с трудом. Но не в добрый час веселились, товарищи по беде. Ведь когда развиднелось, тогда обнаруживаю, что завод мой точильный при падении пострадал пуще нас. Лопнуло генеральное колесо по всем линиям, и найти понимающего колесника или бондаря, чтоб дал настоящий ремонт, в той округе не представлялось возможностью. Отчего, настрадавшись точить на ущербной конструкции, изнеможен, возвращался на зимние я фатеры до срока. Брёл с пустыми карманами, и в них ничегошеньки не побрякивало. И пока я так брёл, кумекая, чем намерен платить в ресторации, колесо это главное портилось всё ужаснее; стоял сеногной. Вне себя захожу во внутрь и приветствую присутствующих забулдыг. Обод мой при этом тогда окончательно репнулся и распался на обе части; я посмотрел: они лежали у ног моих. Проклинаю незавидную свою участь, яростно я аппарат раскурочил, дабы

вынуть из обращения крестовину со втулкой, которые смотрелись без обода сиротливо чудно. Вынул, бросил, и плюнул. И легла крестовина в аккурат промеж них, двух обломков, а те лежали в подражание как бы тонким двум месяцам, один к другому спинами, а лицами — туда и сюда: один — молод, другой — Крылобыл, на ущербе. Тогда Крылобыл, егерь мудрый, о ком уже куплеты слагали в те дни, когда нас, Пожилых Вы мой, и близко тут не присутствовало, он, который значился здесь с самого начала начал, носил всегда наряды на рыбьем меху и варивал с покону веков сиволдай и гнильё, он восстал, месяцеликий, и обратился к Петру. Полно горе тебе горевать, Лукич: брошенное оземь нищим одним — не сокровище ль для иного. Присмотришь повнимательней, разве не искомое тобою легло во прахе тошниловки сей, кинутое Илией в небрежении. Пётр егеря упрекает, стыдя: игры ты над моим скудоумием изволишь играть, чёрта ли нам с Павелом в механизма точильного бросовом колесе, да и неизвестно ещё, разрешит ли хозяин его забрать, может оно ему самому надобно. Крылобыл учёного учит в кубарэ на горе: я чужое имущество не хочу тебя учить подбирать, это ты сам умеешь, я тебя иному учу. Загадками ты говоришь, Пётр Крылобылу сказал, загадками учишь, сказал Крылобылу Пётр, ох, загадками. Выпили они затем. И прочие, за исключением Вашенского корреспондента, тоже приняли; последний же лишь облизнулся. Вот, сказал Крылобыл, рукавом занюхивая, что это за звук раздаётся у нас над Волчьей, когда кто-либо из наших точильщиков заработает на точильном станке, не же-же-же ли? Ну. Оттого я и спрашиваю, продолжал Крылобыл Петру: колесо от станка точильного, лежащее во прахе тошниловки сей и вывернутое шиворот-наоборот, не есть ли вид буквы искомой. Публика посмотрела и ахнула — ха, вылитое оно.

(Саша Соколов. Между собакой и волком)

Марфа, виновница, имя, в которое вставлена Ф —
 буква-мужчина,
 медленно входит в хоромы и останавливается
 смущённо.

Что-то сказал ей Мазепа и смазал её кулаком по уху.
 Марфа
 прыгнула прямо на гетмана, ступни её словно ленточки
 в небе. Мазепа
 вправо успел уклониться, а левой рукой отбросил
 противницу. Марфа
 села на корточки у стены и отдыхала, волосы — лимонного
 цвета. Мазепа
 к ней подошёл и ударил её острым носком по колену.

Марфа
 вскочила, и оба, потеряв равновесье, упали и покатались.
 Мазепа
 бедро её оседлал и взвыл, задирая искусанное лицо,
 и покатались: снизу
 смерть вторую гетман увидел — горящее чучело Чечеля
 и своё; сверху —
 крест на ключице у Марфы, который сам подарил ей;
 снизу

Марфа увидела росписи на потолке и гетманский
 подбородок; сверху —
 чучело гетмана над Киевом в светлый день... у Марфы
 затекает рука...
 чучело, словно кит, плывущий хвостом вперёд — усы
 торчат из мешка,
 это — Иван Степанович, гетман Мазепа, мммаа! — толпа
 выдыхает — паа!..
 Тополя пузыряются перед несбывшимся королём Украины,
 толпа
 имеет голову серной спички, и вот поочерёдно сгорают
 усы на скобе,

и мешок оживляется битвой с оранжевым шаром, нашарив
его в себе.
Катится пара дворцом, наконец, расцепились, дрожат,
разошлись по углам,
она спиной повернулась и кровь стирает с лица перед
оконным стеклом.
Мазепа ей говорит: я не ищу себе места в тебе, уходи!
Крестница кровь стирает с лица, платье разорвано сзади
и на груди,
лопатки её сближаются так, что мог бы Мазепа их
вишенкой соединить, —
несмь доволен Владыко Господи, да внидеши... — но
точас теряет нить, —
несмь доволен Владыко Господи, да внидеши под кров
души моя,
всякий кусок золота в невесомости принимает форму
тела ея.

(Алексей Парщиков. Я жил на поле Полтавской битвы)

МОЛНИЯ проста, одноцветна, мгновенна, энергична. Она предпочитает упрощение сложности и являет собой, с одной стороны, направленную волю, а с другой — эмоциональный импульс. Обрушиваясь на окружающий мир испепеляющим огнём, выжигая всё неподлинное, она снова и снова выбрасывает себя на простор странничества и одиночества. Молния — небесная бродяга, лишённая корней и устоев, она предпочитает естественные формы, пренебрегает этикетом, жаждет искренности. Любое ограничение воспринимается молнией как насилие и вызывает с её стороны ответное насилие. Молния возносится высоко над миром, она — первооткрыватель, оживляющий мир огнём и озоном. Вольная, свободная, непривязанная, она презирует законы, предписания и описания, отвергает разум и память ради интуиции, вдохновения, внезапного озарения, «вертикального взлёта». Молния — свет во тьме, гений,

пророк, герой с краткой светоносной жизнью. Вместе с тем мерцающий блеск молнии — в отличие от ровного эпического сияния солнца — трагичен и даже абсурден. Есть в нём что-то большое и безжизненное: в проблесках молнии мир застывает в пугающей неподвижности. Основные формы проявления молнии: уединение, скандал, бунт, творчество. Пространство для неё не существует, зато время утверждается двояко: векторной направленностью удара и его звуковым аналогом — громом. Молния нацелена на будущее, она утопична и эсхатологична. Молния — символ войны, раздора, гнева.

РАДУГА сложна, многоцветна, упорядочена. Это гармонический организм, вбирающий в себя зримый состав всего мира, коллективное, соборное создание. Эманация солнца, радуга неотделима от дневного света, она — солнце, вторичным светом отражённое в зеркале дождевых капель. Неподвижная арка радуги энергетически неагрессивна, эстетически соразмерна, логически законопослушна. Как Церковь — верующих, соединяет радуга все цвета, снимая в их соположении раздоры, укрепляя надежду, утверждая полноту. Радуга — небесная палитра, исполненный меры порядок, подчиняясь которому личность не теряет, а обретает в общении сотрудничества и, не умаляя других, способствует их расцвету. Радуга — дружеская беседа умиротворённых сердец, радостное соучастие в устройении надёжного миропорядка. Радуга красочна, аналитична, эклектична. Она — Ноев ковчег в небе, залог любви и бессмертия, символ примирения с Богом.

(Борис Останин, Александр Кобак. Молния и радуга // Часы, № 61, 1986)

Работа над книгой <<Золотой век художественных объединений в России и СССР>> началась незамедлительно. Борис Останин занялся редактурой, попутно отмечая в нашем тексте много «ляпов» и забавных несообразностей. У нас всё ещё не было компьютера, а без него работа требовала исключительной внимательности и изрядных трудоза-

трат. Пару раз Борис проводил у меня за работой всю ночь, составляя обширный именной указатель. Как выяснилось много позже, он и тут не смог удержать своего пристрастия к числовой символике: в указателе — с *вымышленной* отсылкой к странице с магическим, по его представлению, номером 37 — появилось имя симпатичной секретарши из Фонда культуры Кати Павликовой, в которую тогда были мимолётно влюблены многие посетители этого учреждения.

(Дмитрий Северюхин. *Ветер в Летнем саду*, 2-е изд.)

→ 14 февраля: Донжуановский список

It has been my primary intention here to identify some of the key thematic strands that have defined the Petersburg text from its inception and to assess contemporary works in the light of the preceding texts. In order to get some conception of the contemporary understanding of the Petersburg text I talked with some writers, critics and significant figures in the literary life of the city. As one would expect, each individual has their own view but for our purposes here most of what I learnt I found can be subsumed under a theoretical framework suggested to me by Boris Ostanin, a *kochegar* and organizer of the Andrei Bely Prize. He reduces Petersburg as a city, a cultural nexus, a literary phenomenon, and as a living experience to the interplay of five non-reducible factors. These are *эксцентр*, *блокада*, *фантом*, *плац* and *манья*. Each element interacts with the others and this gives Petersburg its particular atmosphere and accounts for its historical and mythological constitution. Firstly it is significant to note that all these words are of foreign origin, Ostanin notes the significance of this attraction to Petersburg of the foreign: the city generates *sui generis* a description of itself which is alien to Russianness, which underlines its cosmopolitan nature and consequent «otherness». <...>

The first term *эксцентр* like many of the others contains many meanings, puns and plays on words. This has the perhaps defining meaning of the city as being a *pogranichnii gorod* as well as a displaced capital, an ex-centre. Petersburg is eccentric, as was discussed earlier, in that the traditional, historical and religious capital of Russia had been Moscow. The creation of Petersburg was something akin to a Copernican revolution in the mindset of the Russian. Petersburg ruptured the stability of the old ways, in this lies its heretic origin, its demonic and accursed character. Positioned in the frozen north and *glush'*, in the *Finskoe boloto*, it is not only inhospitable and cold and unfit for human inhabitation, but morally and spiritually distanced from the fundamental character of the Russian people. <...>

The third attribute *фантом* is perhaps the quintessential attribute of the city. The grand façades of the centre in their classicism and architectural diversity reference a non-existent past. <...>

Блокада is not simply a reference to the siege of Leningrad by the forces of Nazi Germany, although that also constitutes an important chapter in the Petersburg text. <...> Ostanin's primary meaning though is in the broader notion that St Petersburg has always been surrounded and besieged, by an alien force or culture, namely: Orthodox Russia, the Russia of the Steppes, of Kievan and Veliky Rus, of an Asiatic Tsar. St Petersburg, the model creation of new European Tsar/Emperor, built as a window to the West, is an outpost — *а блокпост* even. Ostanin also likes the terms evocation of the poet Blok, who is crucial to the Petersburg text and also to the term as a compound phrase. *А блок* of *ада* or a component part of hell, an infernal element, which alludes to the demonic quality referred to earlier.

Плац (Ostanin told me he preferred this term over the French *carré*) as it encapsulates two quintessences of the city, one its regimentation and order as represented by the square or

its lexical relative *площадь* and secondly its flatness. *Platz* evokes the imposition of order over nature, the inhuman regimentation, the hierarchical grading of the civilian and military ranks, the love of parades, uniforms and the exacting geometry of the architectural façades. <...>

We can trace the origins of *мания* to the original act of will which has stamped its mark on St Petersburg, to that initial impulse of Peter I to create the city in the face of advice not to, given the hostility of the landscape and the climate.

(Simon Knapper. О «петербургском тексте», отрывок)

→ 10 ноября: Формула Петербурга

Дневник писателя

Весной я посадил в горшок маки. Осторожно наблюдал, как они росли. Недавно мать выщипала их маникюрными ножницами — как сорняк.

Некто Р. Ж. — сама молодая худосочность, точнее — отсутствие всяких сочностей, кроме сока наглости, — Р. Ж. шлялся по Невскому, культивировал гнид, ел только кофе, собирал локоны знакомых «мочалок», презирал Толстого, писал рассказы про мёртвых старух и варёную репу. Был большим спецом в вопросах литературной амбициозности, ночи напролёт копался в литературных энциклопедиях. Всерьёз считал себя (и пересчитывал) звездой свободной критики, что не помешало ему поступить на курсы аккордеонистов, жениться и купить новые вилки. Он близорук, подолгу рассматривает небо у беспризорных кошек. По ночам, днями, по вечерам курит на чердаке, расхаживая по песку с томиком Блока и с термосом на лямке;

утром сонно разглядывает профиль гвоздильного завода; проза у него по-прежнему вялая, пищеварение плохое, но всё впереди.

У Н. К. день ангела. Все не то чтобы пьяны, но таковыми искусно притворяются. Хозяин качается на люстре. В ванной тайком пьют аперитив. Кто-то крадёт книгу. Ура! Звон стекла. Свет гаснет. На кухне ленивая драка.

Наутро сизый, израненный сидит в качалке. Звучит органное. Рассматривает альбом с видами Стамбула. Обязанности закончены, пора окунаться в будни.

Лёжа в жару на опушке леса, наблюдал, как на летяще-предоблачной, пронзительно синей, безрассудно-манящей высоте висел орёл (или коршун). Он видел и меня, и поезд, и лодки в озере, и медные шляпки гвоздей на шпангоутах, и поплавки удильщика, и косу косца, и косу дочери косца, видел лягушек в болоте, костёр как дымок сигареты, чёрный гриб, меня, смотрящего на него, смотрящего на меня, наблюдающего за ним, летающим в глубине небес, иногда просто... уснувшим. Какие сны бывают на подобной высоте?

Вид жёлтых газет страшен; из-под старых обоев торчат сплюснутые дни.

Сидел на подмосковной даче, ждал друзей день, второй; питался одними яблоками, рассматривал соринки в глазу у бездомной собаки; никто не приходил, ни единого звука, кроме личных шагов, книг не было дождей, и смотрел сквозь теплоту заката, лихо склеенного печалью, смотрел сквозь теплынь, как осыпались краснорубчатые яблоки; без

копейки, без шляпы с рублём, вдали от Невы забылся я в чужом доме; забытьё почему редко так, вот и всё опало, свалилось; дом тёплый, тишина оставалась, пришёл бодрый морозец, я по-прежнему смотрел на немеркнувшее море света, будучи далеко без друзей; когда они пришли, я был вне тишины и русского ландшафта, в чужом доме я вспоминал чужое: о себе вспоминал лишь в пути...

(Новгородская область)

По деревне с утра до вечера ходит человек с пустым ведром. Оно дерзко гремит, и все спрашивают человека: Что ты всё ходишь, ходишь, а воды в дом не несёшь? На что он говорил рассудительно: Дело в том, что мне нужна хорошая вода... Он ночевал в стогах, носил чёрный халат и тапочки. На голове его была, однако, старая шикарная шляпа. Говорили, что сумасшедший не расстается с ведром лет десять. У него правильные черты альбиноса, сильная фигура, он шаркает, любит лошадей и баню, и всегда несёт крест впереди похоронной процессии.

(Борис Кудряков)

Наш отец продал дачу, когда вышел на пенсию, хотя пенсия оказалась такая большая, что дачный почтальон Михеев, который всю жизнь мечтает о хорошем новом велосипеде, но всё не может накопить достаточно денег, потому что человек он не то чтобы щедрый, а просто небережливый, значит, Михеев, когда узнал от одного нашего соседа, товарища прокурора, какую пенсию станет получать наш отец, то едва не упал с велосипеда. Почтальон спокойно проезжал вдоль забора, за которым находилась дача соседа, — кстати, ты не помнишь его фамилию? Нет, так сразу не вспомнишь: плохая память на имена, да и что толку по-

мнить все эти имена, фамилии — правда? Конечно, но если бы мы знали фамилию, то было бы удобнее рассказывать. Но можно придумать условную фамилию, они — как ни крути — все условные, даже если настоящие. Но с другой стороны, если назвать его условной фамилией, подумают, будто мы что-то тут сочиняем, пытаемся кого-то обмануть, ввести в заблуждение, а нам скрывать совершенно нечего, речь идёт о человеке-соседе, о соседе, которого все в посёлке знают, и знают, что он работает товарищем прокурора, и дача у него обычная, не очень-то шикарная, и зря, пожалуй, болтали, будто дом у него из ворованного кирпича — как ты считаешь? А? о чём ты? Ты что — не слушаешь меня? Нет, слушаю, просто я сейчас подумал, что в тех склянках было наверное пиво. В каких склянках? В тех больших, у соседа в сарае, в них было обыкновенное пиво — как думаешь? Я не знаю, не помню, я давно не думал о том времени. И в тот момент, когда мимо соседского дома проезжал Михеев, хозяин стоял на пороге сарая и рассматривал на свет склянку с пивом. Велосипед Михеева сильно дребезжал, подпрыгивая на выступающих из-под земли сосновых корнях, и сосед не мог не услышать и не узнать михеевского велосипеда. А услышав и узнав, быстро подошёл к забору, чтобы спросить, нету ли писем, а вместо этого — неожиданно для самого себя — сообщил почтальону: прокурора-то, — сказал товарищ прокурора, — слышал? на пенсию ушли. Улыбаясь. Сколько дали? — отозвался Михеев, не останавливаясь, но лишь слегка тормозя, — сколько денег? Он оглянулся в движении своём, и сосед увидел, что загорелое лицо почтальона ничего не выражает. Почтальон, как всегда, выглядел спокойным, только борода его с прилипшими к ней хвойными иглами развевалась по ветру: по ветру, рождённому скоростью, по скоростному велосипедному ветру, и соседу — будь он хоть немного поэтом, непременно показалось бы, что лицо Михеева, овеванное всеми дачными сквозняками, как бы само излучает ветер, и что Ми-

хеев и есть тот самый, кого в посёлке знали под именем Насылающий Ветер. Точнее сказать, *не знали*. Никто даже не видел этого человека, его, возможно, и не существовало вообще. Но вечерами, после купания в пруду, дачники сходились на застеклённых верандах, рассаживались в плетёных креслах и рассказывали друг другу разные истории, и одной из них была легенда о Насылающем. Одни утверждали, будто он молод и мудр, другие — будто стар и глуп, третьи настаивали на том, что он средних лет, но неразвит и необразован, четвёртые — что стар и умён. Находились и пятые, заявлявшие, что Насылающий молод и дряхл, дурак — но гениален. Говорили, будто он появляется в один из самых солнечных и тёплых дней лета, едет на велосипеде, свистит в ореховый свисток и только и делает что насылает ветер на ту местность, по которой едет. Имелось в виду, что Насылающий насылает ветер только на ту местность, где слишком уж много дач и дачников. Да-да, а там и была как раз такая местность. Если не ошибаюсь, в районе станции три или четыре дачных посёлка. А как называлась станция? — я никак не могу рассмотреть издали. Станция называлась. Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идёт час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветёт белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения, вечером на цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов, вздрагивает от шорохов, потом цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой птицы по имени Найтингейл; ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспалённо бегут в темноте цепочками, окликают по имени каждый цветок, обрекая бессоннице желчных станционных старух, безногих и ослеплённых войной вагонных гармонистов, сизых путевых обходчиков в оранжевых безрукавках, умных профессоров и безумных поэтов, дачных изгоев и неудачников — удильщиков ранней и поздней рыбы, пу-

тающихся в пружинистых сплетениях прозрачной леси, а также пожилых бакенщиков-островитян, чьи лица, качающиеся над медно-гудящими чёрными водами фарватера, попеременно бледны или алы, и наконец служащих лодочных пристаней, кому мерещится звон отвязанной лодочной цепи, плеск вёсел, шорох паруса, и они, набросив на плечи гоголевские шинели без пуговиц, выходят из сторожек и шагают по береговым фарфоровым пескам, по дюнам, по травянистым откосам; тихие слабые тени служащих ложатся на камыши, на вереск, а самодельные трубки их светятся подобно кленовым гнилушкам, приманивая удивлённых ночных бабочек...

(Саша Соколов. Школа для дураков)

МАЙ
30
вторник

Подобно тому как латынь, не употребляемая в обыденной жизни, обязывала меня к известным ограничениям в области средств выражения, так и музыкальный язык требовал некоей условной формы, которая сдерживала бы музыку в строгих границах, не давая ей растекаться в авторских импровизациях, часто губительных для произведения. Я добровольно поставил себя в известные рамки тем, что выбрал язык, проверенный временем и, так сказать, утверждённый им.

Необходимость ограничения, добровольно принятой выдержки берёт свое начало в глубинах самой нашей природы и относится не только к области искусства, но и ко всем сознательным проявлениям человеческой деятельности. Это потребность порядка, без которого ничего не может быть создано и с исчезновением которого всё распадается на части.

А всякий порядок требует принуждения. Только напрасно было бы видеть в этом помеху свободе. Напротив, сдержанность, ограничение способствуют расцвету этой свободы и только не дают ей переродиться в откровенную рас-

пущенность. Точно так же, заимствуя уже готовую, освящённую форму, художник-творец нисколько этим не стеснён в проявлении своей индивидуальности. Скажу больше: индивидуальность ярче выделяется и приобретает большую рельефность, когда ей приходится творить в условных и резко очерченных границах.

(Игорь Стравинский. Хроника моей жизни)

Беседа часов

Первый час говорит второму:
я пустынный.

Второй час говорит третьему:
я пучина.

Третий час говорит четвёртому:
одень утро.

Четвёртый час говорит пятому:
сбегают звёзды.

Пятый час говорит шестому:
мы опоздали.

Шестой час говорит седьмому:
и звери те же часы.

Седьмой час говорит восьмому:
ты приятель рощи.

Восьмой час говорит девятому:
перебежка начинается.

Девятый час говорит десятому:
мы кости времени.

Десятый час говорит одиннадцатому:
быть может мы гонцы.

Одиннадцатый час говорит двенадцатому:
подумаем о дорогах.

Двенадцатый час говорит: первый час,
я догоню тебя вечно мчась.

Первый час говорит второму:
выпей друг человеческого брому.

Второй час говорит: час третий,
на какой точке тебя можно встретить.

Третий час говорит четвёртому:
я кланяюсь тебе как мёртвому.

Четвёртый час говорит: час пятый,
и мы сокровища земли тьмою объять.

Пятый час говорит шестому:
я молюсь миру пустому.

Шестой час говорит: час седьмой,
время обеденное идти домой.

Седьмой час говорит восьмому:
мне бы хотелось считать по-другому.

Восьмой час говорит: час девятый,
ты как Енох на небо взятый.

Девятый час говорит десятому:
ты подобен ангелу пожаром объятому.

Десятый час говорит: час одиннадцатый,
разучился вдруг что-то двигаться ты.

Одиннадцатый час говорит двенадцатому:
И всё же до нас не добраться уму.

(Александр Введенский. Священный полёт цветов // Часы, № 5, 1977)

ИЮНЬ

Пожалуй, кратчайшее определение детских игр (по крайней мере, во многих отношениях самой интересной их части) таково: «*Максимальный результат при минимальном действии*», что, собственно, и доставляет ребёнку удовольствие и восторг. Детских игр, подпадающих под это определение, несусветно много: мяч (чуть толкнул, а как далеко катится), мыльные пузыри, воздушные шары, катание с гор на санях и лыжах, коньки, городки (один удар сбивает все городки, и они далеко разлетаются), карточные домики (рушатся от одного неловкого движения), шеренги из костей домино, фейерверк, всевозможные взрывы, костёр (и брошенные в костёр патроны), хлопушки, гигантские шаги, ходули, велосипед, «блинчики», волчок, прятки, безмерно любимый детьми цирк и пр., и пр.

Практически не подпадают под эту классификацию фольклорные игры и игрушки (в том числе куклы) и взрослые игры (логические, азартные, игра слов). С другой стороны, под минимаксное определение подпадает чудо — действие, отбрасывающее за пределы привычного нам мира *линейного* развития событий (добавил немного энергии — получил немного приращения движения); в чуде действует «закон» разрыва, даже взрыва, неожиданности, внезапности, нелинейного прибавления: добавил немного энергии — и *вдруг* возникло колоссальное приращение движения, обрыв гладкости. Если угодно, можно назвать чудо — катастрофой, смысл обоих примерно одинаков: *выпадение*, различается только «психологический окрас».

ИЮНЬ

1

четверг

Детская игра — это своеобразное чудо, праздник, взрыв, который ломает привычное *линейное* функционирование мира $y = ax$ (немного поработаешь — немного заработаешь, много поработаешь — много заработаешь). Отсюда, кстати, восприятие взрослыми как жуткого чуда лавины, финансовой пирамиды, процента с процента и прочих катастрофических (обвальных) явлений. (Возможно, потому дети любят взрывать и ломать игрушки, особенно с пружинами, хотя психологи относят это к врожденной агрессивности и деструктивности.)

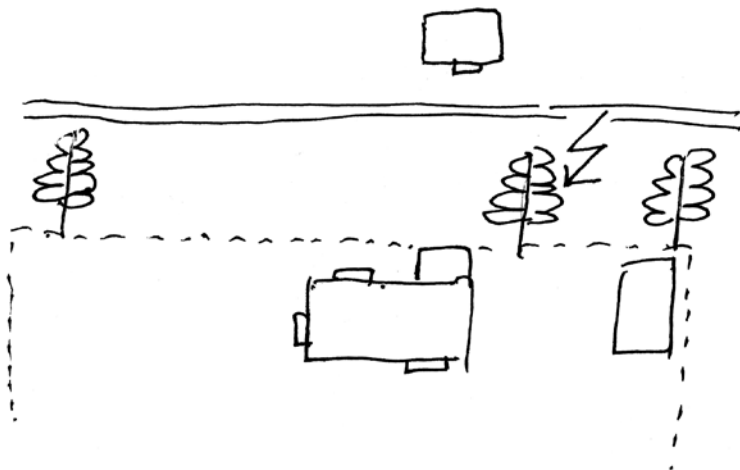
Итак, чудо — то, что выпадает за пределы действия привычных линейных законов — то ли в «иной мир», то ли в нелинейную физику-геометрию: хождение по водам, прохождение сквозь стену, нечувствительность к боли, болезни и смерти, раздвоение тела, изменение его масштабов, скорости и состава, превращение веществ, полёт без специальных приспособлений и многое другое, известное из столь любимых детьми волшебных сказок. Детские игры — это в некотором роде внедрение волшебной сказки в жизнь — то же, что сон, наркотические путешествия, страсть и тому подобное.

Не значит ли особая привязанность детей к играм и сказкам, которые выстроены не по законам нашего мира, то, что их сознание какое-то время продолжает пребывать в *ином мире*, из которого они были выброшены в наш — в мире чудес, а не законов (скажу корректнее: в мире иных, не известных нам законов).

Детская душа *медленно* привыкает к этому миру и нуждается в постоянном обучении и подталкивании; медленно привыкает — и не желает привыкнуть. Ребёнок с большим трудом и нежеланием овладевает законами линейного мира и не хочет им подчиняться. Он то и дело поворачивает своё лицо в сторону мира, из которого пришёл и который не совсем забыл, но отучить от которого его жаждут взрослые («Иначе не преуспеешь!»). Память ребёнка об ином мире постепенно стирается посредством его длительного, трудного и строгого обучения. Впрочем, известны и другие слова: «Будьте как дети».

Летом втроём с маленькими Никифором и Полиной в Быково, июнь, мы только что, спасаясь от приближающейся грозы, вернулись из леса: небо потемнело, тучи припали к земле, взвился ветер, мы в обнимку сидим на крыльце, упершись ногами в мельничный жёрнов, брошенный на землю, гром громыхает всё чаще, всё ближе, я педагогическим тоном принимаюсь учить детей, как правильно вести себя во время грозы. Вдруг сильный порыв ветра сдувает со столика у летней кухни забытые игральные карты, и я — вопреки только что сказанному — бросаюсь их собирать. И тут же прямо над головой вспыхивает молния и мгновенно раздаётся пушечный удар грома, я поворачиваюсь: на крыльце сидят испуганные Никифор и Полина, которые немедленно начинают плакать, а слева от дома, словно в замедленной киносъёмке, падает, поверженная молнией, наша любимая рябина. Затащил плачущих детей в дом, уложил в кровать, сам лёг к ним, закрыл с головой одеялом, понемногу успокаиваю: «Вот же я, живой». Никифор с дрожью в голосе: «Это рябина тебя спасла». Так, вероятно, и было: притянула к себе молнию.

(1993?)



ИЮНЬ

3

суббота

В 70-е годы (я прочитал «Мастера и Маргариту» поздно: лет 7–8 после публикации почему-то запрещал себе читать модную книгу) было немало мыслей о книге и находок в связи с ней, сейчас, уверен, все они, как анекдоты с бородой, устарели, всем известны и надоели.

Напомню всё-таки о двух склонностях Булгакова: к цифре 5 и к слову «чёрт». В первом случае то ли его масонские увлечения (масоны особо выделяли пентакль), то ли антибольшевистские выпады (красная советская звезда, возможно, от тех же масонов), во втором — скорее всего от Гоголя и «манихейского» признания сатаны истинным князем мира. То и другое связаны крепким узлом в адресе «нехорошей квартиры»: Садовая ул. 302bis кв. 50. $3 + 0 + 2 = 5$, 5×2 (bis значит удвоение) = 10, что совпадает с реальным адресом дома, в котором Булгаков жил в 1920-е годы: Садовая ул. 10, кв. 50. По-украински bis это чёрт, а место его обитания (ад) удачным образом вмонтировано в Садовую.

ИЮНЬ

4

воскресенье

Маленький Никифор спросил про Троицу, я в разъяснение ипостасей сочинил такую картинку.

— Представь себе, что ты в лесу, замёрз и тебе надо развести костёр. Что ты для этого сделаешь?

— Ну, соберу дрова.

— Да, соберешь ветки и хворост. Это, так сказать, материя для будущего костра, его бытие. Назовём эту стадию костра Отцом/Матерью. А дальше?

— Дальше разожгу костёр.

— Не спеши! Сначала надо сложить дрова кучкой (домиком, колодцем), ведь так?

— Да.

— Это собранное расположение материи-бытия, а не просто её разбросанность назовём стадией Сына/Логоса. Это смысл, порядок. А теперь?

— Теперь разожгу.

— Правильно. Берёшь спички и разжигаешь костёр: третье лицо — Дух Святой, огонь. Как видишь, все три пригодились — костёр и есть малая Троица, иди грейся!

(Отчасти похожее «толкование» ипостасей Троицы — черз проекции трёхмерного вектора — есть у Б. В. Раушенбаха. Св. Патрик объяснял Троицу листком клевера.)

Долгое время ломали мы головы над вопросом о героическом, об универсальном, о спасении. Но однажды, перестав их ломать, подумали легко и одновременно: о вере. А вместе с верой — о смирении, о молитве, о цельности души.

И тогда один из нас задумчиво произнёс:

— Лягушка захотела спастись во всех стихиях сразу — и потому стала амфибией. Но по рассеянности она забыла про огонь.

— Да, — согласился другой, — и к тому же во всех стихиях её подстерегал голод. Мы захотели универсальности и стали амфибиями — лишь для того, чтобы сгореть в огне или умереть с голоду. Не лучше ли вместо универсальности — цельность? Пусть каждый бежит по своему камню, ведь всё равно охотник знает, где сидит фазан.

— Да, — вмешался неожиданный третий, — каждый — лишь слово в Божественной книге, но даже тот, кому суждено оказаться пробелом между словами, способен понять, что именно здесь, на своём месте, он достигает цельности. Он не универсален, зато органичен. И если обдумать обе возможности спокойным сердцем и прочувствовать пылким умом, последняя из них предпочтительнее.

Вот тогда и вспыхнула для нас яркой молнией многоцветная радуга Божьего примирения.

(Борис Останин, Александр Кобак. Молния и радуга)

Мёд из одуванчиков

365 цветков одуванчика вымочить одни сутки в холодной воде. Воду слить, цветки прополоскать, добавить один лимон, нарезанный вместе

ИЮНЬ

5

понедельник

ИЮНЬ

6

вторник

с кожурой, залить стаканом кипятка, варить 15 минут. Остудить, процедить, добавить 500 г сахара и варить до консистенции мёда.

ИЮНЬ

7

среда

Чем занимают нас сумасшедшие? Откуда тот пристальный, обострённый интерес, который мы питаем к ним? Почему неотвязно следим за ними на улицах, замолкаем, притихаем и смотрим, смотрим, а после рассказываем друг другу, какие они, что говорили? Чуть ли не с любовным пылом описываем их внешность, передаём слова, поступки...

Не та ли это исконно русская страсть к юродам, придуркам, блаженным? Или же общечеловеческая тяга к тайне, притом к тёмной тайне (а бывают ли светлые?), к свободе, к той свободе, истоки которой нам не доступны, к свободе страшной и желанной.

Знаем приблизительно, для чего предназначена наша жизнь: утолять голод, избегать по мере возможности боли, тяготиться или наслаждаться телом, спать и видеть во сне что-то удивительно напоминающее жизнь земную, знать о любви небесной, но иной раз не изведать любви земной... Но для чего они? Те, за которыми столь пристально наблюдаем, неотступно следим, тщетно стараясь узнать — что побудило их «отказаться» от жизни, которой живём мы. Зачем они так?

Ведь неспроста всё это. Должен же быть им дан взамен разума некий высший и бесценный дар, перед которым всё остальное тускнеет, — потеряны человеком привычный облик, качества, которые ставятся столь высоко: красота, лёгкость, сообразность, обыкновенность.

Выходит, что не нуждаются они в защите в прибежище *общего*. Выпали раз и навсегда из рода... Так можно думать, взирая вслед сумасшедшим, придуркам, идиотам, слушая их мычание, рёв, боль. Но можно и не думать, а только ощу-

щать, как теснит сердце, как спазма сводит горло, ибо чувствуем смутную тревогу и ощущаем скорбь, словно встречаем наяву то, что было так прекрасно во снах.

(Аркадий Драгомощенко. Тень черепахи)

Меж собакою

Меж собакою и волком
У плакучих ив
Потерял мужик иголку,
Дырку не зашив.

Он в траве руками шарил,
В молодой траве,
И нашёл какой-то шарик
В этой мураве.

И тогда зовет он: братцы,
Чего я нашёл!
Те пришли — и ну играть.
Было хорошо.

Шарик то они подбросят,
То поймают, а
Между тем уж пали росы
Прямо на луга.

И туманы выползали
Из реки Итиль,
В избах люди зажигали
Ламп своих фитиль.

А туманы выползали
И лизали кил,
В лампах было мало сала,
И фитиль коптил.

ИЮНЬ

8

четверг

Проходили пароходы,
Баржи волокли,
Волокли и удоды
Сватались вдали.

Пароходы проплывали
С баржами и без,
И неясно волки али
Псы промчались в лес.

Неожиданно от шара
Свет пошёл — да-да,
Пригляделись — то Стожаров
Главная звезда.

И на той звезде туманной,
Взорами горя,
Много правды необманной
Знают егеря.

Там туманы выползают
Из реки Итиль,
В избах люди зажигают
Ламп своих фитиль.

Там собакою и волком
У плакучих ив
Потерял мужик иголку,
Дырку не зашив.

(Саша Соколов.

Между собакой и волком)

— Я не верю в теорию заговора!

— Я верю в теорию заговора!

Только так, отбросив «знаю» и «можно доказать» в пользу «верю — не верю», и удаётся говорить на криптологические темы: из самого понятия *заговора* следует, что криптодеятели,

особенно криптоэлита, тщательно скрывают свои следы, искажают поступки и их мотивы и переадресуют их другим. В теории заговора можно, как в Бога/богов (не исключаю, что они близки), верить или не верить — это всё.

Я не конкретизирую понятие «заговор», не уточняю заговорщиков (мои ближние, политики, «мировая закулиса», духи, инопланетяне) и говорю о нём и о них слишком общо, но, повторяюсь, само это понятие не позволяет его конкретизировать: Шерлок Холмс ломает об идеальный заговор зубы.

Давнее моё подозрение (хотя прекрасно знаю, что Реформация возникла в Германии, Голландии и Швейцарии, что немцы десятилетиями вели религиозные войны с католиками, что англиканская церковь — середина-половина от католической и протестантской, что там ещё): *настоящие протестанты* — это англичане. Англичане и, естественно, их дочь Америка.

Что-то вроде старой догадки о трёх родных сёстрах (о чьём сестринчестве не все догадываются) — о России, Испании и Ирландии: догадка есть, а доводов нет.

КТО-НИБУДЬ. Так. Играем *Городок в табакерке*.

ДРУГОЙ КТО-НИБУДЬ. Это что, вот так вот целый вечер? ТОТ, КТО ПРЕДЛОЖИЛ. Да, вот так вот целый вечер.

ВСЕ. О-о-о... Что же там играть-то целый вечер? Там от силы всей игры на 15 минут. Если уж честно. Если не растягивать.

КТО-НИБУДЬ. Да вообще за пять минут можно разыграть.

ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ. Да уж если на то пошло, можно вообще за две минуты. Ну, мальчик; ну, колокольчик-проводник; ну, другие колокольчики; молотки; валик. Пружинка. Допустим, вы — мальчик.

ТОТ, КОМУ ПРЕДЛОЖИЛИ. Так, ну вот, я мальчик. Отец показал мне музыкальную шкатулку или табакерку — там

ИЮНЬ

10

суббота

ИЮНЬ

11

воскресенье

колокольчики вызванивают какую-то мелодию, — сказал в ней не разбираться, в этой шкатулке там, табакерке, не стронуть какую-то главную пружинку. Вот я, этот ребенок, заснул. Мне снится, что я попадаю в эту табакерку. Такого я росточка. И мне навстречу колокольчик. Такой же ребенок, как я, только колокольчик.

КТО-НИБУДЬ. И, например, этот колокольчик — я. «Пойдём, — говорит, — покажу тебе нашу жизнь. Дзынь».

«МАЛЬЧИК». «А почему ты говоришь „дзынь“?» — то есть этот ребенок, я, ещё не понял, что передо мною колокольчик.

«КОЛОКОЛЬЧИК» (*на других*). «И это тоже все колокольчики». Их должно быть много, целый хор. И ко всем этим детям-колокольчикам будто бы приставлены воспитатели или надзиратели, Молоточки, которые их время от времени колотят. Почему колокольчики и звенят.

«МОЛОТОЧЕК». Молоточек подходит к колокольчику — «бум!».

«КОЛОКОЛЬЧИК». А колокольчик — «дзынь». И в результате — музыка.

ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ. И дети-колокольчики ненавидят этих своих колотунчиков-надзирателей. Но это как раз не важно. Тут не важно, кто там что чувствует. Важно, как у них всё устроено, вся эта механика.

ДРУГОЙ КТО-НИБУДЬ. Но и воспитатели-надзиратели колотят не по своей воле. Над ними начальник Валик. Вот он лежит на кушетке, крутится, если представить его человеком, и весь в таких зацепках, в крючках в особом наборе. Эти крючки подцепляют и отцепляют молоточки... в смысле Молоточков. А молоточки колотят по колокольчикам.

ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ. Вообще это лучше в кино, в мультипликации показать. Это больше научно-популярная сказка, людского в ней мало. Различных чувств. Почти и нет. Есть, конечно, но особого значения они не имеют. Это больше учебное пособие в форме сказки.

ДРУГОЙ КТО-НИБУДЬ. Ну, хорошо, вот Валик, он лежит, крутится, хватает тот или иной молоточек за ноги, а тот рукой колотит по колокольчику; или, лучше сказать, колотит колокольчик; или даже колотит Колокольчика, поскольку тот всё же изображён человеком.

Показывают. Представленное людьми, это всё поневоле выглядит довольно забавно, и зрители, уж конечно, смеются.

ВСЕ. А что, даже и забавно, когда люди играют.

ДРУГОЙ КТО-НИБУДЬ. Да, и последнее действующее лицо в этой истории — Пружинка. Валик ещё не самый последний начальник. Над ним ещё Пружинка. Это она его крутит. Чтобы посмешнее смотрелось, пусть она его щиплет или щекочет.

Разыгрывают. Пружинка щиплет Валика, Валик хватается за ноги Молоточков, те руками колотят Колокольчиков, те говорят слово «дзынь».

Ну конечно, в пределах этого ящичка-государства всё зависит от пружины. А понятно, что пружину снаружи заводят люди. Теперь пусть как её человек заводит.

Один, изображающий человека, крутит за руку женщину, изображающую Пружинку, та щекочет Валика и т. д.

Ну, можно ещё, что пружина работает от электросети, можно смешно трястись.

Пружинка, трясясь, щекочет Валика, тот, трясясь, крутится и хватается за ноги Молоточков, те, трясясь, бьют по голове Колокольчиков, те, трясясь, говорят слово «дзынь».

«КОЛОКОЛЬЧИК». Как синтезатор: «дзыннннннн». Как «Машина времени».

ВЕДУЩИЙ. Ну уж теперь — всё.

КТО-НИБУДЬ. А смотрите, минут 15 прошло. (*Повеселев.*) Так, если в первом действии минут 45 и во втором

45, всего полтора часа, 15 минут сыграли, осталось час пятнадцать. То есть сыграли одну шестую пьесы! Ничего! Час пятнадцать ещё накрутим!

ДРУГОЙ КТО-НИБУДЬ. Как накрутим-то?

ЕЩЁ КТО-НИБУДЬ. Ну, тут мораль в этой пьеске, что мальчик всё-таки тронул пружину, а папа ему не разрешил. Пружинка сломалась, и механизм остановился. Что мальчик не послушал отца, что ли. Надо слушать тех, кто умнее нас. Хотя и любопытным надо быть. То есть отец всё правильно предсказал, но и молодой человек на своём опыте должен убедиться в отцовских словах. И тот прав, с одной стороны, и другой прав, что ошибся и узнал высшую правоту взрослого человека. Но получается отчасти и в защиту молодого ума. Он же сам не пружина и не колокольчик.

ЕЩЁ КТО-ТО. Минута прошла.

ДРУГОЙ. Отлично, 74 осталось до конца.

ВСЕ. 73 и 59 секунд.

— 73 минуты и 55 секунд.

— Слова «73 минуты и 55 секунд» заняли 3 секунды плюс вот эти. А слова, что «слова 73 минуты и 55 секунд заняли 3 секунды плюс вот эти» — заняли 7 секунд. Итого прошло 7 плюс 3–10 секунд, и осталось 73 минуты 45 секунд.

— Осталось бы. Слова «Итого прошло 7 плюс 3–10 секунд, и осталось 73 минуты 45 секунд. Осталось бы» — это ещё 7 секунд, плюс слова о том, сколько эти слова заняли, заняли тоже 7 секунд. И вот эти слова 3 секунды, итого 14 плюс 3–17 секунд, и вот это «итого» 2 секунды; 19 секунд.

ВСЕ (*счастливо*). Как идёт время!

— 73 минуты 26 секунд; 5 секунд на слова «73 минуты 26 секунд» плюс 6 секунд на слова, что «5 секунд на слова «73 минуты 26 секунд»».

— 73 минуты 15 секунд.

— 73 минуты 13 секунд.

— 73 минуты 11 секунд.

ВСЕ (одновременно). Как идёт время! как идёт время!
как идёт время!

(Евгений Харитонов. Дзынь // Часы, № 33, 1981)

Игра в водное поло, тренер бежит вдоль бортика: — Важа, Важа, кинь мяч Гиви!

Важа, увлечённый атакой, приближается с мячом к воротам противника.

Тренер: — Важа, каму говорят, кинь мяч Гиви!

Важа по-прежнему не слушает, доплывает до ворот, бросает — и забивает гол.

Тренер: — Важа, я каму говорил: кинь мяч Гиви.

Важа: — Ну какая разница — гол-то я забил.

Тренер (со вздохом): — Ты гол забил, а Гиви утонул.

ИЮНЬ

12

ПОНЕДЕЛЬНИК

Королевский флеш

Летом 1993 года Игорь Чернышёв обратился ко мне с неожиданным предложением выпустить книгу «Художники русской эмиграции», которая всё ещё числилась в издательских планах Владимира Аллоя. Несомненно, Игорь руководствовался при этом рекомендациями Бориса Останина, и теперь только я уразумел затею Бориса с серией «Справочники по русскому искусству», которая пока включала только наш «Золотой век...»

Соблюдая правила приличия, мы с Борисом отправились к Володе Аллою в издательство «Atheneum», располагавшееся в одном из флигелей бывшего Смольного собора, с тем чтобы официально попросить у него разрешения на издание книги. Как я и предполагал, никаких препятствий в этом вопросе с его стороны не возникло. <...>

ИЮНЬ

13

ВТОРНИК

Получив разрешение Аллоя, мы с Борисом впали в состояние жизнерадостного оживления, которое почему-то привело нас в зал игровых автоматов. Мы сели играть в американский покер, и я очень быстро расстался с той небольшой суммой, которую решил пожертвовать на это дело. Каково же было моё удивление, когда, подойдя к Борису, я увидел (впервые в жизни) на экране его автомата высшую в покере комбинацию «королевский флеш», означавшую выигрыш один к тысяче! Видимо, здесь опять проявилась его мистическая связь со всякого рода цифрами и математическими комбинациями. Сидя перед экраном, Борис всерьёз размышлял о том, взять ли выигрыш или идти на его удвоение с риском потерять всё. Помню, что мне с большим трудом удалось уговорить его немедленно забрать деньги и прекратить игру. Праздник был продолжен в другом месте.

(Дмитрий Северюхин. Везер в Летнем саду, 2-е изд.)

июнь

14

среда

Поэтов и писателей прошлого (особенно тех, о ком мы мало знаем) можно изучать по современным литераторам — и наоборот: на современников взирать сквозь классиков, надо только *точно* подобрать пары, непростое занятие.

Вот несколько таких пар без комментариев; общее и тонкое в каждой из них я вряд ли сумею определить: не совсем творчество, но и не совсем психология, и уж совсем не быт, какая-то середина-половина — иногда сходный блеск в глазах, одинаковые залысины, чрезмерная разговорчивость, статный облик или любовь к велосипеду...

Виктор Кривулин: Александр Пушкин

Елена Шварц: Мария Башкирцева + Михаил Кузмин

Ольга Седакова: Анна Ахматова

Аркадий Драгомощенко: Владимир Набоков + Владимир Маяковский

Сергей Петров: Гавриил Державин + Алексей Ремизов
Александр Горнон: протопоп Аввакум
Владимир Эрль: Алексей Кручёных

(1980-е)

Объединённая Европа сочинила себе флаг: на голубом полотнице 12 звёзд по кругу, долженствующие, вероятно, напомнить и счёт по дюжинам, и 12 знаков зодиака, и рыцарей Круглого стола, и Христовых апостолов. Прокол (в самом прямом смысле) этого флага и одновременно его постмодернистская модность — пустой центр (ни короля Артура, ни Христа), из-за чего взгляд не столько фокусируется на центре, сколько блуждает по окружности-периферии.

ИЮНЬ

15

четверг

Когда мы покинули Лос-Видриос, уже совсем стемнело; зубчатые силуэты гор растворились в темноте. Больше часа мы ехали молча. Я устал, да и говорить было не о чем. Дорога была пустынной: встречные машины попадались редко, и нас никто не обгонял, словно мы ехали на юг одни. Это показалось мне странным, и я стал поглядывать в зеркало: не появится ли кто-нибудь сзади. Никого.

ИЮНЬ

16

пятница

Соскучившись смотреть, я стал размышлять о цели нашей поездки, как вдруг заметил, что дорога освещена ярче обычного. Я глянул в зеркало и сначала увидел сноп света, а затем два огня, возникших словно из-под земли. Вероятно, нас догоняла машина, въехавшая сейчас на вершину холма. Некоторое время огни были видны, затем исчезли, словно погасли. Опять вспыхнули и снова пропали. Я следил в зеркале, как огни вспыхивают и исчезают; в какой-то момент мне показалось, что машина нас догоняет: огни становились всё ярче. Я нажал педаль газа. Дон Хуан, заметив то ли моё беспокойство, то ли увеличение скорости, взглянул на меня, а потом, обернувшись, стал смотреть назад.

Он спросил, что случилось. Я объяснил, что уже несколько часов сзади никого не было, а тут появилась какая-то машина и догоняет нас.

Старик усмехнулся и спросил, неужто я в самом деле думаю, что это машина.

— Конечно, — ответил я.

Он возразил, что, будь я в этом уверен, я бы так не нервничал.

— Если это не машина, то что же тогда? — спросил я раздражённо. Его непонятные слова взвинтили меня.

Дон Хуан посмотрел на меня, словно взвешивая то, что собирался сказать.

— Огни на голове смерти, — почти прошептал он. — Смерть надевает их и пускается вскачь. Смотри, она догоняет нас, приближается...

У меня по спине поползли мурашки. Немного спустя я снова глянул в зеркало. Никаких огней не было.

Я сказал, что машина сзади, должно быть, остановилась или свернула. Дон Хуан, не оглядываясь, потянулся и зевнул.

— Нет, — сказал он. — Смерть никогда не останавливается. Просто иногда гасит огни.

(Карлос Кастанеда. Особая реальность)

Распространение музыки механическими способами с помощью хотя бы, например, пластинок и радиопередач, этих гигантских достижений науки, имеет все данные для того, чтобы развиваться и впредь. Значение этих изобретений для музыки настолько велико, что заслуживает, чтобы их внимательно рассмотрели. Совершенно очевидным преимуществом этих средств является возможность для авторов и исполнителей доходить до широких масс, а для слушателей легко знакомиться с музыкальными произведе-

ниями. Но не следует закрывать глаза на то, что в этом преимуществе таится в то же время и большая опасность. В давние времена Иоганну Себастьяну Баху надо было пройти пешком десять лье до соседнего города, чтобы послушать исполнение Букстехуде. Сегодня жителю любой страны достаточно нажать кнопку или поставить пластинку, чтобы иметь возможность прослушать всё, что он хочет. И вот именно в этой-то неслыханной лёгкости, в этом отсутствии всякого усилия и заключается порочность так называемого прогресса. Ибо в музыке, более чем в какой-либо другой области искусства, понимание даётся лишь тем, кто совершает какое-то действенное усилие. Одного пассивного восприятия недостаточно, слышать известные комбинации звуков и бессознательно привыкнуть к ним вовсе не то же самое, что воспринять и понять их, ибо можно слушать и не слышать, смотреть и не видеть. Отсутствие действенного усилия и привычка к тому, что даётся легко, развивает в людях лень. Им нет нужды идти для этого пешком, как Баху: радио их от этого освобождает. Чтобы ознакомиться с музыкальной литературой, им нет никакой необходимости заниматься музыкой и тратить время на изучение инструмента, всё это берут на себя то же радио и пластинки. Тем самым активность слушателя, без которой невозможно воспринять музыку, не находит себе никакого применения и постепенно атрофируется.

Этот недуг, этот прогрессивный паралич чреват исключительно серьёзными последствиями. Перенасыщенные звуками, комбинации которых, как бы разнообразны они ни были, перестают восприниматься, люди впадают в какое-то оупение и, теряя способность отличать одно от другого, становятся равнодушными ко всему, даже к качеству произведений, которые им преподносятся.

Более чем вероятно, что такая беспорядочность и такой избыток в питании вскоре отобьют у них всякий аппетит и вкус к музыке. Конечно, всегда будут исключения, и най-

дутся люди, которые сумеют выбрать из общей груды то, что им действительно нравится. Но что касается масс, то тут есть все основания опасаться, что, вместо того чтобы развить в них любовь и понимание музыки, современные способы её распространения приведут к результатам прямо противоположным, то есть к равнодушию и неспособности разбираться, ориентироваться и испытывать сколько-нибудь сильные впечатления.

(Игорь Стравинский. Хроника моей жизни)

ИЮНЬ
18
воскресенье

В разговоре с Геннадием Алексеевым, приноравливаясь к поэту-архитектору, сказал, что несчастная Россия, как ни стараются доброхоты-западники навязать ей что-то культурное, гуманное и соразмерное, вроде античного храма, сводится к *огромной мусорной куче*. В этой куче — огромное преимущество России перед Западом: мусорная куча устойчива, её не надо охранять и культивировать, она образуется и поддерживается сама собой, чем напоминает природное явление, и если западная культура страдает по поводу слегка покосившейся колонны и немедленно принимается её поднимать, обтирать и укреплять, то не только покосившаяся, но и просто валяющаяся на Великой русской свалке античная колонна, сапёрная лопатка, отживший свой век телевизор, разбросанные карандаши, дневник извращенца, драная кукла, чемодан с гнилыми яблоками и даже чулок с золотыми червонцами — вполне подходящие ей объекты созерцания и обитания. Прибавь к мусорной куче что-то или убавь от неё — всё равно останется кучей: в этом её величие и неодолимость.

(1970-е)

ИЮНЬ
19
понедельник

Хозяюшка уже ничем
не удержать моей кончины —
такая тяжесть на ручей
и хрипота неизлечима

здесь камень вымощен луной
и башен сомкнуты запястья
пока заёмной стороной
служили зависти и страсти

а жемчуг слаб и молчалив
и в моде слава гулевая
когда колышется вдали
Фанагория золотая

и умоляют погребца
сырую проповедь вершины
ромашкой вытереть со лба
и полотенцами жасмина

такую истину хранить
листать нечитанные книги
и полночь к сердцу прислонить
ведёрком мокрой ежевики

такую родину беречь
и уносить с собою в споре
прибоя медленную речь
и бормотанье Черноморья.

(Владимир Алейников)

Я покопался немного в своём имуществе, рассортировал его, подтащил поближе, чтобы ещё раз оглядеть. Я не слишком ошибался, полагая, что всегда отличу его по памяти от чужого и в любую минуту смогу поговорить о нём, в него не заглядывая. Но хотел в этом в очередной раз убедиться. И правильно сделал. Ибо теперь вижу, что хорошо известные мне предметы, которые непрестанно тешили моё воображение, выглядят на самом деле несколько иначе, хотя в основном именно так, как я и предполагал. Но мне было бы крайне неприятно упустить такую исключительную

возможность, кажется предлагающую наконец мне произнести что-то подозрительно похожее на правду. Иначе я провалю всё дело, так мне кажется! Я хочу, чтобы сказанное мной было абсолютно свободно от какой бы то ни было приблизительности. Я хочу, когда наступит великий день, объявить громко и ясно, без всяких добавлений и опущений, что принесла мне его бесконечная прелюдия, о тех пожитках, с которыми она меня оставила. Я осмеливаюсь предположить, что одержим этой идеей.

Итак, я вижу, что приписывал себе обладание некоторыми предметами, которые, насколько я понимаю, уже не являются частью моей собственности. Но разве не могли они закатиться за мебель? Мне бы это показалось странным. Ботинок, например, может ли он закатиться за мебель? И всё же перед моими глазами находится всего-навсего один ботинок. И за какую именно мебель?

(Сэмюэл Беккет. *Мэлон умирает*)

июнь

21

среда

На современных европейских картах север расположен вверху, восток справа и т. д., к чему мы привыкли, а ведь подобное расположение сторон света — не единственное и не очевидное, хотя и кажется естественным. Естественного здесь не больше, чем в любом *культурном* предприятии, даже привязанном к природным событиям: возможны и другие привязки, другие расположения сторон света на карте, не менее «естественные», чем новоевропейское.

Главных соперников у европейского расположения — два (юг вверху и восток вверху), оба связаны с торжеством солнца в зените или выходящего утром из «своего дома».

Север вверху карты связан, скорее всего, с постоянным наблюдением *ночного* звёздного неба в Северном полушарии. Есть полюс, обозначенный Полярной звездой, вокруг которой «по часовой стрелке» вращаются звёзды, задавая тем самым второе после верха главное направление — правое, восточное.

Жук, возносимый призрачными волнами,
 Желудки растений на коленях валунов,
 Тундра, не тронутая тропами,
 Возникают по ту сторону крыльца.
 Плавают неживые окуни и караси
 В аквариумных постройках икон.
 Красивый отрок, словно лампу керосиновую,
 В ладонях вносит в дом окно.

(Михаил Ерёмин, 1960)

ИЮНЬ

22

четверг

По мере усвоения «совиной» жизни в противоход жизни «жаворонка» я сочинил немало *солутствий* тому и другому, так что, услышав о наблюдении Ахматовой, согласно которому люди делятся на тех, кто любит чай, собак и Пастернака, и тех, кто любит кофе, кошек и Мандельштама, обрадовался сходной, в меру расхожей мысли. Мой список, впрочем, побогаче:

ИЮНЬ

23

пятница

День — ночь,
 солнце — луна,
 труд — воображение,
 действие — созерцание,
 имманентное — трансцендентное,
 дальнее — горнее,
 временное — вечное,
 условное — безусловное,
 тленное — нетленное,
 бодрствование — сон/грёза,
 радость — боль,
 богословие — мистика,
 соборность — аутизм,
 закон — благодать,
 дело — вера,
 гипербола — литота,
 Штольц — Обломов,
 Толстой — Достоевский,

«жаворонок» — «сова»,
собака — кошка,
орёл — ворон,
холод — тепло,
душ — ванна,
шёлк — мех,
актёр — зритель,
Пастернак — Мандельштам,
Бродский — Аронзон,
чай — кофе,
водка — коньяк,
верхний свет — настольная лампа,
открытая форточка — закрытая форточка,
занятия спортом — безразличие к спорту,
жёлтое — лиловое.

Метафизик

Жил философ о двух головах
Он работал простым кочегаром
На паровозах, и недаром
Оказался о двух головах
Он раньше думал, что в огне
Начало всех начал
И пламя бьётся в глубине
Как жаркий интеграл
Событий, жизней и вещей
Хозяйства доброго природы
Ему причастны дни и годы
И разумение речей
Но тот огонь — отец отцов
Старел и меркнул год от года
И вся летящая в лицо
По рельсам ясная природа
Вдруг стала скопищем слепцов:

Трава, деревья — все безглазы
Всё — богадельня, дом калек
(Вот рока страшные проказы
Ты их добыча — человек)

Ушёл на пенсию.

Покинул паровозы
Стал подрабатывать в артели для слепых
И бесполезны были слёзы
Для глаз бездомных и пустых
И причастились вдруг сомнению
Деревья, рельсы и поля
И словно страшная земля
Небытие отверзлось зрению
Второй, духовной головы
Очам ущербного сознания

О, инвентарь существования:
Феномен страждущей травы
Феномен листьев, паровозы
Огонь всемирный и живой
Всё стало ночью и землёй

(Сергей Стратановский, 1970)

Рассуждения о чести и славе близки к таковым о чести и достоинстве (→ 13 марта): честь — это *часть*; слава — *слово* и *свет*. Дружине достаётся честь (часть добычи, включая женщин), князю — слава (слово о его военных подвигах); если чести-части можно лишить, отобрав добычу или охраняемую дочь и жену, то слава (словесный и световой поток; «Христос во славе» — источник предвечного Света/Логоса) не отбирается, но разве что может *погаситься* своим собственным бесславным/тёмным поступком.

ИЮНЬ

26

понедельник

Ещё лето впереди, осень далека.
Среди тысячи цветов
Лишь один завял.

(1960-е)

ИЮНЬ

27

вторник

Этически и ортобиотически точка знаменует целостность, неповреждённость физического, а в особенности духовного существа, то есть его целомудренность, согласно этимологии и древнему пониманию слова $\sigma\phi\rho\omicron\upsilon\beta\acute{\omicron}\nu\eta$ из $\delta\acute{\alpha}\omicron\varsigma$ и $\phi\rho\omicron\nu\acute{\epsilon}\omega$, духовное здоровье, полноту и нерастраченность внутренних сил. Таково именно применение астериска — звёздочки. В частности, таково иконографическое пользование звёздочками, что на челе и на персях Богоматери. Отчасти сюда же относятся священные помазания в различных религиях — в индуизме, во многих христианских исповеданиях, когда близкий к точности обрядово-начертываемый знак знаменует целостность соответственного органа. Близко сюда же значение точки эстетическое, когда точка служит живым объединением и средоточным органом художественного целого. Такова точка золотого сечения, расчленяющая и вместе связывающая во единое целое человеческую фигуру, тело животного, растительный организм, колонну, художественное здание того или другого стиля, пейзаж, наконец, целую композицию. Такова же вообще — центральная точка композиции живописной, а отчасти — и поэтической, драматической или музыкальной. В частности, таково же средоточие розы в портале готического собора: с этого средоточия начинается и к нему возвращается художественное обозрение всего целого, в нём имеет сдержку и начало единства. А к точке в эстетическом смысле примыкает родственное ей, но противоположное по смысловому акценту употребление точки психологическое. Тут точка служит опорой внимания

и конденсатором апперцепции: душевные силы сводятся «в точку», внимание приводится «в фокус». Блестящий шарик гипнотизёра с отражающейся в нём световой точкой; всевозможные приспособления, имеющие задачей воспитать самопроизвольную концентрацию внимания: большие и малые точки, ставимые на афишах, рекламах, публикациях; мушка, как предмет косметики, зерно чётков и бусы счётов и т. д. имеют психологической функцией сосредоточить и удержать собой сосредоточенным внимание. При этом в одних случаях оно остаётся на притянувшей его точке (шарик гипнотизера — крайний пример тому), вследствие чего сознание, выметенное ото всего прочего и получающее взамен почти что ничто, оказывается пустым; в других же случаях точка переводит сознание на некоторую реальность, и, свободное от случайных жизненных впечатлений, от шума жизни, оно заполняется этим избранным объектом и воспринимает его с безраздельностью (например, таково значение точки в рекламе).

(Павел Флоренский. Точка)

→ 8 декабря: Точка, 4

Внук Чуковского Женя написал в отроческом возрасте письмо с адресом на конверте: «На деревню дедушке Корнею Ивановичу», и оно — настолько велика была известность Чуковского — дошло к нему в Переделкино. Адрес моего письма, отправленного из Ленинграда в псковскую деревню Быково, был ещё лаконичнее: «189003 Борису», и оно, как ни трудно в это поверить, меня разыскало.

Объяснение фокуса: индекс 189003 — номер почтового отделения в посёлке Большое Захонье Плюсского района, которое обслуживало пять-шесть вымирающих деревень, с Володей-глухим в почтальонах, неутомимо расхаживавшим ежедневно с газетами и редкими письмами между За-

хоньем, Обрядихой, Быково, Зеленско и Вязкой, я оказался *единственным Борисом* в окрестностях... Получив это письмо с соответствующим штемпелем, я долго хранил его «для Книги рекордов Гиннеса» как драгоценное свидетельство *безупрежной работы советской почты*, по цифровому индексу и имени сумевшей отыскать адресата.

→ 5 мая: Забытый чайник

Теория относительности

июнь

29

четверг

Вот Германн ожидает хода в третьем коне,
Он ставит в третий раз — как хладнокровен он,
Смыкая цепь удач решающим звеном.
А если — проиграл? Но эту мысль он гонит.

Он гонит эту мысль, не зная, как другой
И тот же самый Германн мается от жажды,
Что к дельте отнесён таинственной рекой,
В которую, считалось, входят лишь однажды,

И потому так помнит роковой исход
Игры, где если бы в тот раз не ставить больше!
Двух Германнов по руслу разделяет год.
Не пропускает опыт временная толща.

Таинственной рекой, цепляясь и звеня,
Разорваны, плывут логические звенья.
И цепь его удач уже не цепь — змея,
В чей жёлтый глаз глядят, свой отвести не смея.

И вот сама старуха, знавшая секрет,
Лежащая в чепце прозрачна и плешива,
Из спальни в Царство Мёртвых прибывший скелет,
Остерегает ту, которая спешила,

Что за полночь, когда к подушкам подвели,
Взглянуть бы в зеркала — могла прожить подольше.

Нечаянный убийца смотрит из двери.
Не пропускает опыт временная толща.

А вот и я плыву и набираю ход —
Пока несёт река и страсть пока не вышла.
Другой и тот же я, но знающий исход,
Кричит, что не туда. Мне ничего не слышно.

(Евгений Харитонов, 1960-е)

Сiju вечером в сторожке и слушаю «буддиста». Впрочем, никакой он не буддист, а пьяница, добрый малый, поднаторевший в «текстах» и исполненный чистого желания достичь покоя. Сторож, как и я.

— Для достижения Сатори, — говорит он громко, — существует единственный путь... Однако у каждой школы есть своя практика, и недавно я пришёл к тому, что практика секты Сото самая верная, поскольку она — самая традиционная. С самого начала, помните? — положите левую ступню на правое бедро, правую на левое и...

— А как же, — говорю я, — как быть моему знакомому? У него ног нет. А? Хорошо ещё, что он занят разными увлекательными делами, а если вздумалось бы ему вдруг вступить на Стезю?

Буддист обижается и замолкает. Молчит, курит и смотрит в окно. Окно тёмное, глухое. Спустя время пытаемся завести беседу, но настроение пропало.

(Аркадий Драгомощенко. Тень черепахи)

ИЮЛЬ

Классики

ИЮЛЬ

1

суббота

Наши классики.

Их лица превратились в школах в свастику.

Вот выползает из подворотни провинциал-Чехов,
Он слишком прикреплён к своей эпохе,
В которой нет воздуха.
Толчея в его рассказах людей,
Забывших названья зверей.

Вот наша гордость — Достоевский,
Писатель, вышедший из детской
В промозглый мрак советский.
Это писатель городской, а не деревенский.

Как надоели их имена!
Их знает наша с широкими бёдрами страна,
Что рождает много зерна.

А сейчас жизнь чем-то другим полна,
И клоунада Андрея Белого прошла.

Ушли в прошлое все писатели,
Их в книгах запечатали,
Их в типографиях столько раз отпечатали
Без опечаток для читателя-падали.

Но жизнь оборачивается прекрасным лицом
И Кировским мостом,
И дышит влагой стёкол каждый дом.

Нет, не они здесь любили.
Они только говорили
О будущем России.
Но расцвели на окраинах георгины,
И все их творения смыло.

Литературой с глубокими проблемами, но без смысла
Кажутся они в 80-х годах,
Когда остановилась поэзия
Перед пропастью-временем.

Здравствуй, новое поколение в детских садах.
Пятилетние дети читают Толстого
И рисуют цветы и атомные бомбы.
В детских садах их питают синильной кислотой
И ведут в дом-музей дедушки Ленина.

Завтра в танках уедут в Афганистан,
Положивши миссионерскую Библию в карман.

Завтра они прочитают Коран
В английском переводе
И окажутся под пулями на свободе.

(Василий Филиппов, 1985)

Мы познакомились с Борисом Останиным в 72-м году. На углу Литейного и Жуковского в помещении магазина «Техническая книга» находилась булочная: штрицель за 28 копеек + стакан горячего молока. Сандалии на босу ногу и политые поутру улицы слагались в дополнительные условия существования. Место проживания — Эртелев переулок. Кое-какие детали в счёт не идут.

Он — на одной стороне, я — на противоположной. Ближе к полудню мы, случалось, орали в открытые окна друг другу что-то вроде приветствия. Город на лето пустел, как

эхо. Расстояния таяли. Любопытство к миру укреплялось надеждой, что его фрагменты все до единого в один прекрасный день сойдутся в одно целое. Сегодня я сомневаюсь, насколько верно я понимал слово «целое».

Если случалось зайти к нему на утреннюю чашку кофе, наши немногословные беседы под сенью томов готического Ницше (непременно добавить о царственном пурпуре переплётов) сопровождалась неизменным шарканьем по коридорам весьма странного персонажа. Бывшего доктора. Неустанно и бессонно бродившего в застиранном сиреневом исподнем, — мокрого от пота и непонимания причин несовпадения со временем. Он напоминал жалобу, которую никто не слышит. Обречённость маятника, с какой жил этот человек, вносила нужную строгость в умственные построения.

В ту пору можно было есть один раз в день, по слогам читать Анри Мишо и не задумываться о будущем, залежавшем (мнилось) только в неких формах искусства. Что вызывает теперь недоумение и даже печаль. <...>

История нашего знакомства проста в той же мере, в какой сами воспоминания о ней. Как-то ранним утром он постучал удочкой о подоконник моего окна в бельэтаже Суворинского дома, где я бивуакировался в качестве дворника прилегающих территорий, и, справившись о качестве моего Rheinmetall'a, предложил немедленно присоединиться. Он отправлялся удить рыбу, если не ошибаюсь, в Шувалово. В ответ я пригласил его влезть в окно на чашку чая. Часов в шесть вечера стало понятно, что ни о какой рыбной ловле уже речи быть не может.

(Аркадий Драгомощенко. Прыжок короля)

→ 13 июля: Институт гриппа

Словно яблоко пронесли и с моста опустили
рассеянно.

Ринулась к солнцу тень рыбакова...
 И сам он запел, выпуская плотву из соломенных дыр,
 А в мешковине трепещет бескровная рыба
твоего поцелуя.

Кто же бредёт вдоль божьих свечей?
 Кто поит мух солнцеглазых бледной сукровицей рек?

Много свечей в час посева,
 Много огня в день жатвы и хмеля,
 Много молчания в день первых побегов.
 Века пролегли меж зерном и свечой —
 Руку подставь! Пусть неприкаянная птица,
 крылатое семя
 обожжённого клёна, твой ангел —
 опустится на ладонь.

Пусть недоступней всё разум.
 И только пустые тела, как сухие колосья,
 тянутся по ветру.
 И только свобода беспризорных шелковиц,
 затянутая в ледяное кольцо детских волос,
 Свобода холмов, налитых зноем,
 И нищего слова, и облака без конца и начала —
 забавы птиц и детей, отрады бездомных и рыб...

И голову запрокинув, как идиоты, выплеснув ртов
серебро,

Уходим к убежищу Водолея,
 Грому сентябрьской звезды внимая рассеянно,
 Да шагам едва слышным того, кто бредёт вдоль
божьих свечей,

Да нищему слову —
 Что, словно яблоко, пронесли и с моста опустили
рассеянно.

(Аркадий Драгомощенко, 1970-е)

ИЮЛЬ

4

вторник

В обстановке реальной жестокой войны, где в плен не берут, победитель — это тот, кто убил противника, и потому тот, убитый, а значит, бездействующий, *лишён голоса* (да и откуда у него голос, если он убит?). И наоборот: тот, кто лишён голоса, кто молчит, тот мёртв: одна из возможных причин, по которой простой народ боится долго молчать: «Да не мёртв ли я?» — и предпочитает болтовню или звуковой радиодиффуз и пр. Сохраняют за собой право последнего слова и при скандале: громкое слово или хотя бы сильный хлопок двери свидетельствует о том, что жив ты, крикнувший/хлопнувший, а не твой противник, что ты его *намертво победил*. Победитель, как известно, получает всё — и голос, и *единственную* награду (лавровый венок, золотую медаль). Дополнительные поощрения возникли гораздо позже, в «гуманном обществе», в котором проигравших не только не убивают, но и вручают им утешительные награды — серебро и бронзу.

ИЮЛЬ

5

среда

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

(Басё)

ИЮЛЬ

6

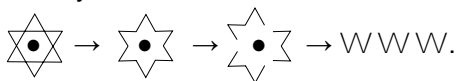
четверг

О благороднорождённый, для тебя наступило то, что называют смертью. Ты покидаешь этот мир, но ты не одинок: смерть приходит ко всем. Не привязывайся к этой жизни — ни из любви к ней, ни по слабости. Даже если слабость вынуждает тебя цепляться за жизнь, у тебя не останется сил, чтобы остаться здесь, и ты не обретёшь ничего, кроме блужданий в Сансаре. Не привязывайся к этому миру; не поддавайся слабости.

(Тибетская книга мёртвых)

Я не знаком с историей изобретения аббревиатуры www., но очевидно, что для устного произношения (дабълуи, дабълуи, дабълуи, дот) w не годится, любая другая буква короче и удобнее. Ходячая «расшифровка» сокращения (World Wide Web) кажется притянутой; для комбинаций nnn., sss., ddd., ttt., ccc., iii. нетрудно найти опорные слова (net, seine, drag, tissue, cobweb, information) и уместное объяснение, зато они в два-три раза короче: названия всех букв в английском языке — односложные и полуторасложные, w — единственная в три с половиной слога, и к тому же зачем-то три буквы подряд, и это при несомненной склонности западной культуры (особенно её англо-американского извода) к сокращениям и экономии!

Возможная разгадка проста: если разложить плоский могоендовид с точкой в центре на составляющие его семь элементов, как раз и получится www.



Мой знакомый М., которому я поведал свою выдумку об www., признался, что сходная мысль приходила ему в голову, но друзья-евреи посоветовали ему воздержаться от её обнародования, дабы не причинить этим вреда еврейскому народу.

Неискоренимое любопытство и соревновательная палка-погонялка «plus ultra» не останавливает, как известно, исследователей *ни перед какими* открытиями, даже чреватými опасными реализациями («Зато какая прекрасная физика!» — реакция Ферми на первый атомный взрыв), тем более что, в отличие от осторожного М., я не вижу в этом открытии/перераскрытии ничего жуткого ни для могоендовида, ни для еврейского народа («Зато какая забавная герменевтика!», или даже так: «Как забавно устроен мир!»).

У могоендовида шесть лучей-концов; в нём принято видеть движение двух треугольников: ниспадающего сверху Божественного и устремляющегося к нему снизу человеческого. Сначала они далеки, затем постепенно сближаются, вот коснулись друг друга вершинами, вот начинается их *взаимовхождение* (Божественного в человека, но и человеческого в Бога,

возможность чего не вполне очевидна), момент могоендовидного пароксизма, стоп-кадр! — после чего происходит проваливание треугольников друг сквозь друга и их постепенное удаление...

Но я сейчас не об этом, а о том, что лучше в могоендовиде больше, чем принято считать: не шесть, а *семь*. Середина могоендовида отмечена точкой: это и есть *седьмой луч*, направленный на глядящего и как бы жаждущий покинуть плоскость изображения.

Простейшее толкование могоендовида — его отнесение к семи планетам (или посвящённым им дням недели). В этом случае его центральная часть соответствует главному еврейскому дню субботе (и планете Сатурн), шесть треугольников — прочим дням недели и планетам, обращающимся вокруг Сатурна-субботы.

Сходную с могоендовидом (и www.) схему имеет число 1 000 000 (миллион), которое естественным образом изображается в плоскости как 1, окружённая шестью 0 (цветок, гарем, недельный календарь?).

ИЮЛЬ

8

суббота

Всё расскажет на допросе
Левинтон о Леви-Стросе.

Или:

Хорошо быть Даром —
Каждый год задаром
Получать по новой
Повести Пановой.

Авторство многих эпиграмм, ходивших по Ленинграду, литературная публика приписывала злomu остро слову Виктору Топорову. Трудно сказать, так это или нет, тем более что эпиграмма, даже авторская (и этим она напоминает анекдот), тяготеет к анонимности. Иногда топоровские эпиграммы обростали историческими подробностями их сочинения. Так, оказавшись впервые в Коктебеле, он обнаружил там настоя-

щий культ Волошина, распространявшийся даже на местный ландшафт (в одной из гор — Кок-Кая — старожилы призывали новичков разглядеть очертания головы Волошина). Очертания Топоров ещё стерпел, но когда узрел в местном сортире волошинскую акварель, терпение его лопнуло и он украсил стену сортира надписью:

Из зада выпала горошина —
Ни дать ни взять лицо Волошина.

Возможно, кто-то из любителей творчества Топорова уже собрал его эпиграммы, а то и издал их, не знаю; знаю только, что один из его многочисленных врагов выдавил-таки из себя «лицо Топорова» — грубо, неполиткорректно, с намёком на сексуальные и политические обстоятельства, то есть выходящее за пределы искусства эпиграммы. Зато смачно отомстил за себя и не единожды поруганную Топоровым братию:

Наши топоры лежали до поры,
А у Топорова топор не стоит до сих пор.

Крылья бездомности. Свист. Леденящий брезент.
Как ненасытна продольная флейта заката!
Гонит сквозняк — и колена его козловаты, —
гонит по улицам чёрную ноту легенд.

Кто-то хоть вишенкой... Я же значком, запятой
в горле чирикнул, по жерлу прошёл першпективы.
Все не гонимы — блаженны и режущей музыкой живы,
хлопаньем рваным, палаточных дел суетой.

Племя, должно, бедуинов! Двуструнный трамвай
сопровождает порыв духовой и духовный.
То-то и вспомнят нас, что суетливо-греховны
были. Но всё-таки были. И значит — играй!


Перед финальной каденцией века вздохнёт
глубже флейтист, собирая остатки дыханья
для заключительной фразы, для краткого чуда звучанья
после эпохи молчания или длиннот.

Не пропадёт ни одна, не умрёт ни один
голос живой, и любая звучавшая нота
птичьей оденется рванью, в лохмотьях воскреснув
полёта
для завершения божественных длин.


(Виктор Кривулин)


О трёх родах поэзии

1.0. Прелести квалификации. Таксономия Борхеса («Китайская энциклопедия») со взаимопересекающимися классами и классификация Калошина («Введение в тасентоведение») с неординарными критериями подобия и различия потрясают отзывчивые души (мою и М. Фуко среди прочих). Продолжу прерывистую линию за край писчего листа: поэзия (и литература) бывает 1.1) героическая, 1.2) мелодическая, 1.3) грамматическая.

1.1. Равенство с точкой (героика):  Нижняя черта эмблемы — текст, верхняя — внетекстовая реальность (трансцендентные эйдосы, эмпирический мир, психология, бессознательное), точка — принцип соответствия между ними. Поэзия как мимезис, удвоение, отражение, мимикрия. Утверждение смысла через отсылку к внетекстовой реальности. Авторский идеал: абсолютное отражение, обретение истинного слова, возвращение в рай. Эта эмблема неустойчива, все три её части деформируются и дрейфуют: деформация нижней — умаление текста, отказ от него, капитуляция *Dichtung* перед *Wahrheit*, верхней — развал трансцендентного мира, присвоение поэзией религиозной функции, средней — утрата достоверности, проблематичность смысла и истины, расщепление на форму и содер-

жание. Образцы: эпос, волшебная сказка, роман, хроника, газета. Архетип: сказка о выпытывании имени лесного духа (Аарне-Томпсон, № такой-то). В поисках духа герой проходит через многочисленные испытания, наконец находит его и подслушивает (или выигрывает) его истинное имя, наделённое магической силой. Поэтический текст возникает как сюжетное описание путешествия за именем. Дополнительный архетип: героя посещает небесная дева (муза), которая в обмен на любовные ласки дарит ему магические знания. Текст: описание любовных и сопутствующих приключений, героико-эротическая поэзия.

1.2. Зигзаг (мелодика):  Поэзия как голосовое явление (давление), энергетический импульс. Эмблема относительно устойчива, может трансформироваться из зигзага в синусоиду, что соответствует двум разновидностям мелодической поэзии — жёсткой (экспрессивный речевой взрыв) и мягкой (колыбельная). Архетип: туземцы Меланезии специфически интонированным криком убивают дерево*. Магия крика, песни, интонации. Камлание, заумь. Трубы иерихонские (разрушительный музыкальный ряд), экспрессия как оружие, женский визг. Смысл отступает перед звуко-энергетической формой: «всё прочее литература». Фет, Бальмонт, Цветаева. Жёсткая мелодическая поэзия тщится убить слушателя (потрясти, лишить сознания), мягкая — та же цель, но в более прикровенном виде (усыпить, растворить).

1.3. Трилистник (грамматика):  Поэзия как пространственный узор и способ его прочтения. Эмблема устойчива. Основной архетип: каббалистическое вычитывание имён ангелов в сакральной книге особым образом организованным чтением (вертикальный бустрофедон, нумерология). В отличие от героической поэзии чтение и составление грамматических текстов не нуждается в реальном опыте, телесном перемещении, поступке. Текст как таковой. Дополнительный архетип: магия вязания узлов. «Узел жизни», повышающий размерность нити

* Сообщил А. Драгомощенко. При уточнении источника информации обнаружилось, что она известна ему от меня. Нередкий случай заикливания фольклорно-архетипических сообщений.

в узор, зародыша в плод, генетико-грамматический код, аминокислоты как буквы (А. Волохонский, В. Кушев). Поэтический текст: формальное самоконструирование (волновые, круговые, симметричные движения в эмблеме), допускающее разные варианты прочтения (прохождение лабиринта). Вязь, витийство, само-витое слово (В. Хлебников). Узлы, свёртки, сверхплотные структуры (пример в § 3). *Dichtung* от *Dichte* (плотность), а не от *dicere* (говорить).

(О трёх родах поэзии // Часы, № 74, 1988)

июль

11

вторник

Просыпаются глаза,
чья-то птица пролетела.
Если и спасает тело
эта тонкая звезда,
для неё сие — не дело.

Пылкой попытке тополей
и томительной собаке
чем обязан? Гаснут маки
между прочерком жердей.
Гаснут и слезятся маки.

Для тебя и для себя
выясняю день вчерашний:
почва цвета муравья
и соломенная жажда —
для меня и для тебя.

(Пётр Чейгин, 1980)

июль

12

среда

Fly_E — это муха и вообще летающее существо, летатель, летун; dragon-fly — муха-дракон (досл.), стрекоза; butterfly — прекрасная муха (от beauty-fly), откуда здесь взялось «масло», которым объясняют бабочку, ума не приложу, что в бабочке масляного — крылья, что ли?

Вскоре после знакомства с Аркадием (→ 2 июля) отправились заработка ради *на прививки* в Институт гриппа, что на Петроградской, — ну совсем как Донахью и Белфаундер из романа «Под сетью» Айрис Мёрдок, вслед за которым мы читали «A Severed Head», а ещё один роман, «The Unicorn», с отражённым в зеркале женским лицом на обложке я умудрился купить в «Старой книге» на Литейном за 4 рубля и долго его хранил, пока кому-то не подарил. Нам, что и говорить, повезло: мы попали не в экспериментальную группу, как большинство, а в *контрольную*, то есть гриппом нас не заражали, а всего-навсего мерили температуру и давление и прилично кормили, причём, в отличие от соплицев из экспериментальной группы, которым возвращение в институт было заказано на полгода, мы по завершении первой серии опытов немедленно подрядились на следующую. Не знаю, велика ли была от нас польза медицинской науке; через несколько лет прошёл слух, что на наших соплях разработали сыворотку «антигриппин-А», но я её в глаза не видел.

После чего меня потянуло на дальнейшие эксперименты: чуть не ввязался было в куда как более экзотическую и опасную аферу: 40 дней лежать *абсолютно неподвижно* (за огромные деньги!) на спине, покуда врачи изучают на твоём теле *образование пролежней*. Было известно и ещё об одном, совсем уж мифическом времяпрепровождении: несколько месяцев пребывать под пристальным наблюдением врачей в сурдокамере, ничего там не делая, *совсем ничего*, даже читать запрещалось. Оба эти эксперимента, не помню, то ли запретили высшие власти, то ли меня от них оттеснили (желающих было слишком много, все, как на подбор, здоровяки), но двойного Института гриппа оказалось достаточно: вскоре после него я устроился работать сторожем, затем — кочегаром.

→ 16 июля: Под сетью

Известная триада «Свобода, равенство, братство» довольно прозрачна (или так кажется?) в первых двух членах и совершенно невнятна в третьем.

Ну, хорошо: свобода от того или сего (от христианской религии, от служения «старшим», от моральных норм) — это понятно; равенство, кажется, тоже (защита достоинства отдельной личности, демократическая революция), а вот братство — что братство, какое братство, почему братство?

Два главных хода к его пониманию: 1) братство — параллель и замещение монашества; 2) братья — сыновья *одного* отца, хотя и не очень понятно, кто он и где он.

Уваровская формула «Православие, самодержавие, народность» — впечатляющая попытка восстановить в лозунге то, что было разрушено Французской революцией: вернуться от либертинажа и неприкаянности к религиозной верности, от уравниловки — к иерархии монархического устройства, от сиротства (союза сыновей убитого отца/монарха/Бога — об этом у Фрейда) к народу (кровной связи сыновей живого Бога-Отца или его «иконы» монарха). Важно то, что, когда отец жив, его сыновья называют себя *сыновьями*, а когда мёртв — *братьями*: сын предполагает наличие отца, брат акцентирует оставшихся без отца сирот; синонимом братства оказывается *сиротство*, а революционный лозунг перетолковывается как «Свобода, равенство, сиротство», заметно утрачивая в оптимизме, зато прибавляя в реализме (а реализм без оптимизма — это, считай, цинизм).

Ich sterbe

Дональд Рейфилд в книге «Жизнь Антона Чехова», ссылаясь на М. Шейнину, сообщает, что, согласно профессиональному этикету, немецкий врач, пользующий своего коллегу и обнаруживший, что на спасение надежды нет, подносит тому бутылку шампанского. Что и сделал в Баденвейлере врач Швёерер (муж москвички Живаго, знакомой Ольги Книппер), на что Чехов в два слова согласился

с приговором: «Ich sterbe». Никакой патетики, никакой романтики, никаких «брызг шампанского», *обычная трагедия смерти*, вполне в духе чеховской драматургии.

Своим знакомством с Хьюго я обязан насморку. У меня это был период острого безденежья, и мне приходилось очень и очень туго, пока я не обнаружил некое до смешного великодушное учреждение, где я мог получить бесплатную квартиру и стол в обмен на то, что предоставлял себя в качестве морской свинки для опыта по лечению насморка. Опыт проводился в прелестном загородном доме, где можно было оставаться сколько угодно времени, подвергаясь различным видам заражения и лечения. Насморк я не люблю, а из способов лечения, которые на мне пробовали, ни один как будто не дал хороших результатов; но, с другой стороны, я жил на всём готовом и работать с насморком вполне можно привыкнуть. Это даже неплохая тренировка для жизни в более нормальных условиях. В общем, я там писал довольно много, во всяком случае, до того, как появился Хьюго.

Руководители этого благотворительного учреждения рекомендовали своим жертвам селиться парами, поскольку, как было указано в проспекте, лишь немногие люди способны переносить полное одиночество. Я и сам, как вы знаете, не люблю одиночества, но после нескольких попыток пришёл к выводу, что общество болтливых дураков ещё хуже, и, возвратившись под эту отрадную сень на второй срок, попросил дать мне отдельную комнату. В самом деле, такая изоляция, комфортабельная и не слишком строгая, как нельзя лучше меня устраивала. Мне пошли навстречу; но только что я втянулся в работу, а заодно и в борьбу с особенно жестоким насморком, как мне объявили, что в доме не хватает мест и придётся мне всё-таки принять к себе сожителя. Выбора не было, я со-

гласился и, надо сказать, очень неласково посмотрел на огромного лохматого субъекта, который ввалился в комнату, положил вещи на кровать и уселся за второй стол. Я что-то сердито промычал в знак приветствия, ясно давая понять, что с болтунами не знаюсь. Ещё больше меня обозлило то обстоятельство, что меня только заразили, а сосед получил и насморк, и лечение, так что, пока я чихал, задыхался и дюжинами изводил бумажные носовые платки, он полностью сохранял человеческое достоинство и казался воплощением здоровья. Я так и не уяснил себе, по какому принципу проводился опыт, но насморков мне, сколько помнится, всегда доставалось больше нормы.

Я боялся, что мой сосед окажется болтуном, но вскоре выяснилось, что опасения мои напрасны. В первые два дня мы не обменялись ни единым словом. Казалось, он вообще не замечает моего присутствия. Он не писал и не читал, а проводил почти всё время, сидя у стола и глядя на зелёные кусты и лужайки за окном. Иногда он что-то бормотал про себя или вполголоса произносил какую-нибудь фразу. У него была привычка кусать ногти, а однажды он достал перочинный нож и до тех пор ковырял им мебель, пока один из служителей не отобрал у него это орудие. Сперва я заподозрил, что он слегка помешан. На второй день я даже стал его побаиваться. Он был рослый и толстый, с широченными плечами и огромными ручищами. Массивная голова была обычно втянута в плечи, а задумчивый взгляд всё прослеживал в комнате или за окном воображаемую линию, не соединявшую, казалось, никаких предметов, попадавших в его поле зрения. У него были тёмные спутанные волосы. Большой бесформенный рот время от времени раскрывался, чтобы выпустить какие-то нечленораздельные звуки. Изредка он начинал что-то напевать себе под нос, но тотчас умолкал — это

был единственный признак того, что он ощущает моё присутствие.

К концу второго дня я почувствовал, что работать больше не в силах. Снедаемый одновременно раздражением и любопытством, я тоже стал смотреть в окно, сморкаясь и придумывая, как бы установить человеческое общение, без которого просто невозможно было жить дальше. В конце концов я без всяких дипломатических уловок спросил, как его зовут. Когда он прибыл, нас представили друг другу, но я не слушал и не запомнил. Он обратил на меня взгляд очень добрых тёмных глаз и назвалса: «Хьюго Белфаундер». Потом добавил: «Я думал, вам не хочется разговаривать». Я сказал, что, напротив, люблю поговорить, но в день его приезда был поглощен одним вопросом и прошу извинить меня, если вёл себя грубо. Когда он заговорил, у меня создалось впечатление, что он не только вполне нормален, но и очень умён; и я почти машинально стал складывать свои бумаги. Мне уже было ясно, что работать я больше не буду, я оказался один на один с интереснейшим человеком.

С этой минуты у нас с Хьюго начался разговор, подобного которому я не мог себе и представить. Мы быстро рассказали друг другу свои биографии, причём я, во всяком случае, проявил несвойственную мне правдивость. А потом мы стали обмениваться мнениями об искусстве, политике, литературе, истории, религии, науке, обществе и вопросах пола. Мы говорили не смолкая весь день, часто до поздней ночи. Иногда мы так орали и смеялись, что получали замечания от начальства, а один раз нас пригрозили расселить. В разгар нашей беседы очередной курс эксперимента закончился, но мы тут же завербовались на следующий.

(Айрис Мёрдок. Под сетью)

ИЮЛЬ

17

понедельник

Свидетелю («Апокалипсис нашего времени») и оплакивателю последних дней царской России В. Розанову отчасти довелось повторить судьбу Николая II: фамилии у них почти совпадают, детей у Розанова было столько же, сколько у императора (четыре дочери и сын), родились они в мае (с разницей в 12 лет) в год Дракона по восточному календарю, заботами о судьбе и процветании России не уступали друг другу, умерли с полугодовой разницей: Романов в 1918 году, Розанов — в 1919-м, словно бы философ расхотел — после развала России и смерти монарха — *заставлять себя жить*.

→ 15 ноября: Розанов-мл. и Набоков-мл.

ИЮЛЬ

18

вторник

На проникновенные и по-своему загадочные слова Михаила Светлова «Откуда у хлопца испанская грусть?» с последующим «Ответь, Александровск, и Харьков, ответь: давно ль по-испански вы начали петь?» и про «гренадскую волость в Испании» ответ довольно прост: автобиографический хлопец — сефард (потомок евреев, изгнанных из Испании/Сфарада в 1492 году), и грусть у него, следовательно, еврейская, а живёт он в предчувствии *обнуления клятвы* раввинов, в которой они после принятия Фердинандом и Изабеллой Гранадского эдикта об изгнании обещали, что 500 лет нога евреев не ступит на испанскую землю. Срок подходил к концу («Гренада» написана в 1926 году), романтик, комсомолец, троцкист Светлов-Шейнкман готов был, постигая «грамматику боя — язык батарей», его подогнать, чтобы (с заменой крестьян-христиан на евреев) «землю в Гренаде сефардам отдать». Такая вот программа и её этапы: в 1936 году началась гражданская война в Испании, 1 апреля 1992 года (спустя упомянутые 500 лет) Хуан Карлос I объявил Гранадский эдикт утратившим силу. Говорят, многие сефарды до сих пор хранят железные ключи от домов своих предков, надеются на скорое возвращение.

(Слышал от Сергея Стратановского, с добавлениями)

Привыкшие читать и писать слева направо, мы ожидаем движение активной/дающей фигуры слева, а пребывание пассивной/принимающей фигуры справа. Так в традиции, вплоть до Джотто, например «Благовещение»: слева благовествующий ангел и оплодотворяющий луч Божественного света, справа Мария; или «Поцелуй Иуды»: Иуда слева, Христос справа; или «Бегство в Египет»: ослик движется слева направо.

С другой стороны, наносить удар правой рукой, справа налево *для правой* сподручнее и надёжнее, чем наоборот. Военный, ведущий даму под руку, согласно уставу идёт справа от неё, чтобы иметь возможность свободной правой рукой отдавать честь или защитить честь дамы от возможных посягательств.

В 1986 году случился местный бэби-бум: молодым отцом стал не только я, но и несколько моих приятелей и знакомых, в том числе Влад и Коля Герасимов. Оба — личности продвинутые, их жёны Рита и Света — ничуть не меньше: жёны рожали в ванну, мужья принимали роды и дарили младенцам плюшевых тигрят, как подобает родившимся в год Тигра, детей же называли Мариной — в честь любимой Владом Цветаевой, и Бояном — по имени богомильского епископа, которым Коля когда-то увлекался.

Влада фортуна слегка окоротила: он самонадеянно обещал: «Рита родит мне мальчика в знаке Льва!» — Рита родила 20 июля, трёх дней не дотянув до Льва, и к тому же девочку.

Созвонились с Колей, поведал ему, что не отстал от обоих — родил Никифора. Коля вскоре появился со значительным лицом: «А ты святцы, когда сына называл, смотрел?» «Откуда в деревне святцы?» Оказывается, в Четьях mineяx день памяти святого Никифора (2 мая) в аккурат приходится на день рождения моего Никифора. Я рассказал Коле про водителя Николая, который помог назвать сына, потом посмеялся над *зарифмованностью* четвёрки имён: у Николая

ИЮЛЬ

19

среда

ИЮЛЬ

20

четверг

Боян, у Бориса Никифор... Коля в ответ надоумил (впрочем, я об этом уже подумал), не родился ли Никифор раньше срока по причине Чернобыля и радиоактивного облака, которое двигалось через Псковскую область. Позже об этом же говорил Борис Дверницкий и показывал карты распределения радиактивности (он занимается этим профессионально). Сомневаюсь, хотя кто знает.

ИЮЛЬ

21

пятница

О Гродно! О Гродно! О Вильно Вильно!
О какой-нибудь город ещё!

Обширные поля и равномерные деревни
поставляли России парней-солдат
и там под звук барабана и иностранную
организацию
марширует в долину русский полк

Захватывали и Нахичевань углублялись в горы
офицеры из высшего сословия
отглаженный морской флот

белые бороды — хрустальные квартиры
всезвозникающая чепуха — мировые сны

если задаться почему Россия?
потому что... а не другая страна.

Обширные деревни. полей скаты склоны
голубоглазые неграмотные берут в войска

набравши полную фуражку земляники
пускается к Польше русский солдат

(Эдуард Лимонов. Из «Шестого сборника» // Часы, № 23, 1980)

Местоимение -ся

У Сергея Спирихина есть «философия Сё» и «театр Сё»; каким-то непонятным для меня образом (через Алексея Черныкова, семинар которого Спирихин посещал?) они связаны с моим давним переводом слова Dasein как сё-бытие, се-бытие и даже себьтие (акцент на событийно-темпоральном характере Dasein'a). У Спирихина в Сё присутствует дыхание Востока (японское имя, музыкальный инструмент), у меня «се» — скорее «указательный палец», «вот оно», а также тень совместности («сё/се/со»: себьтие как событие).

Одно время, наскучив личным местоимением 1-го лица ед. числа, я пытался вытеснить его указательным «се», потом спрятал в возвратную частицу «ся»: смеркается, живётся, любуется, кончается...

(1990-е)

Пошёл я как-то посидеть к себе на могилку. Съесть яичко за своё здоровье. И вижу. И что же я вижу. А ничего не вижу. И видеть не могу. Только слышать. И нюхать. И нюхаю я: летит ко мне цветочек, лапками машет. Здравствуй, мой маленький цветочек. Чего ты от меня хочешь? А хочу, говорит, от тебя всей твоей жизни. На, возьми мою жизнь и отдай мне всю мою смерть. Тут я и умер, и он на мне вырос.

Для жизни не хватало ритма и сил. Хотелось неподвижности и оцепенения. Только и искал угла, где бы присесть, медленно посидеть, покурить и не двигаться, вытянув ноги. А то и протянув. Конечно, всегда была иллюзия, что, стоит по-настоящему влюбиться и в этой любви будет надежда, — и я загорюсь, заживу, вспыхнет мой настоящий необыкновенный темперамент, он, дескать, только тогда разыгрывается, когда что-то настоящее ему подворачивается. Конечно, настоящее особенно не подворачивалось, а чтобы его заполучить, надо было бы за него сражаться, уметь, чем

ИЮЛЬ

22

суббота

ИЮЛЬ

23

воскресенье

его заинтересовать, но я этого не умел, потому что тратил всё время на сосредоточение в письме. Но и в писание ушёл, потому что жизни на ногах, физкультуры не получилось бы.

(Евгений Харитонов. Слёзы на цветах // ВНЛ, № 5, 1993)

→ 5 августа: Слёзы на цветах, 2

ИЮЛЬ
24
понедельник

У испанцев красное вино — *vino tinto*, хотя для красного цвета есть и другое слово — *rojo*; *tinto* предназначено именно для вина, а *tinta* означает «чернила» и «(красную) краску». Отсюда, вероятно, итальянский художник Тинторетто («красильщик»).

Советские алкаши несомненно обладали лингвистическим чутьём (или же периодически заходили на кораблях торгового флота в порты Испании, Португалии и Южной Америки), что и позволило им окрестить портвейн — чернилами. «Чернила» — куда как более уместное слово для описания жуткой суррогатной бормотухи, почему-то называвшейся портвейном и хранившейся в бутылках с нумерологическими ярлыками «777», «72» и «13». Дурное дешёвое вино в большой литровой бутылке именовалось огнетушителем.

Возвращаясь к испано-русской параллели, напомним, что краска (*tinta*) происходит от «красного», а чернила — от «чёрного», немаловажная духовно-цветовая разница (в паре «красный — чёрный» первый цвет полагается мифологами добрым, второй — злым).

Стихи с пением

Первый голос

просто облако есть просто дерево
просто поля и дома
(и все они тут как и ты)
и все они тут же как я

ИЮЛЬ
25
вторник

Второй голос

отъехал от дерева и навсегда удалился от леса
что-то взлетело в нём от реки
(птицы исчезли прозрачнее травы)
его уж всё меньше —

и:

Хор

(Пение без слов, возрастающее постепенно.)

(Геннадий Айги, 1964)

Вася познакомил меня с Сашей Соколовым — не Всеволодовичем, а Георгиевичем, известным публике под своеобразным, в меру неблагозвучным псевдонимом Александр Горнон. Как ни убеждал я его придумать что-нибудь другое, ни в какую — и по натуре упрямец, и с псевдонимом у него, как видно, связана какая-то личная история. Пытался разузнать, он молчит, но всем своим видом даёт понять: да, личная история. Не зная, что и думать, я забраковал очевидные Гор-нон и Горн-он и каким-то непонятным крючком соотнёс сей псевдоним с Татьяной Гнедич, чьё ЛИТО Саша посещал, через её переводы — с Байроном («Чайльд-Гарольд» и пр.), а то и просто с каким-нибудь задушевым разговором, в котором выплыл громогласный и мощный *Орган-Горнон*.

Редкий случай, когда русский писатель взял себе псевдонимом «еврейскую» фамилию, обычно наоборот. Из известных случаев приходит в голову разве что Абрам Терц-Синявский, но у того были свои причины. Саша Соколов-Горнон, как я ни допытывался, так и не раскололся, сохранил интригу.

→ 14 декабря: Премия Саше Соколову

Вдоль Тракта мы встречали иногда женщин. Они двигались по двое, по трое — почти никогда в одиночку — почти всегда верхом, — только однажды мы перегнали двоих, шедших пешком: два хрупких чёрных силуэта на Дороге далеко перед нами, тяжёлые походные сапоги заставляли их чуть подпрыгивать на манер хромых птах: они держались за руки и ничего не говорили — вспоминаю, что дело было к Пасхе, — они покусывали цветущие веточки: леса в дымке желтоватой зелени были наполнены призывами кукушек, но лишь эти рты, столь внезапные на пути, полным рытвин с вешней водой, объяснили нам, что земля цвела. Дорога, где они жили в водовороте долгого путешествия, понемногу придала им что-то вроде униформы: почти все носили толстые, гармошкой на лодыжке сапоги, зашнурованные галльские штаны, маленький кинжал и кожаный корсаж, сурово, как латы, стягивавший их от талии до запястий; но ходили они с непокрытой головой и распущенными волосами — пышными, жаркими, ниспадавшими до пояса, полными колючек и диких запахов. В этих встречах не было ничего пошлого или ничтожного. Иногда они приходили и вовсе издалека, услышав рассказы об идущих по Дороге, приходили не для того, чтобы у них кормиться, — ибо они ничего не просили, и даже дар если и принимался, то лишь по причудливому капризу или же по скрытому правилу, сквозь которое смутно провиделась неподкупность, — но для того, чтобы жить с ними или, скорее, у них под рукой или на их лад в том подобии оживлённой кильватерной струи, которым была Дорога, и где дышалось, как нигде: подчас думалось о тех морских птицах, которые качаются мгновение-другое с подветренного борта корабля, но покидают — одна за другой — его, как будто свежий, пенистый бурун путешественника манит их больше, чем сам путешествующий. Почти все были красивы, сильной и немного тяжеловесной красотой они походили на крестьянских дочерей с дерзки-

ми в ночи глазами, что скачут без седла, пригоняя лошадей с водопоя, — но Дорога их облагородила, или, быть может, её зов затрагивал в лоне этих землистых равнин бег только самой лёгкой крови. Их презрение к крепостному племени подданных земли, смыкавшемуся каждый вечер в своей пропитанной духом пахотной скотины постели, было бездонно: здесь было и презрение почти духовного ордена к вывалянной в распаханной грязи несортице, и отчасти спесь избравшего свой удел прислужника знати, пронизываемого весь день эманацией избранных. Они говорили мало — не боялись — были мудрыми и изощрёнными советчиками, знатоками опасностей Дороги — и можно было при желании относиться по-товарищески, как к хозяевам однодневного путешествия, к этим бдительным и неразговорчивым спутницам, которые были обуты в кожу, умели обуздать лошадь и ругаться сквозь зубы, как мужчины, — но иногда, на привале, когда ночь сгущалась вокруг ложа красных углей, — единственное кокетство, что у них было, — всегда *выбрать*: рот искал во тьме ваш рот с упрямым доверием нежного животного, которое пытается читать по лицу своего хозяина, и вдруг это была вся женщина, жаркая, развязанная, как дождь, тяжёлая, как распущенная ночь, скользнувшая у вас между рук. Когда мы шли, целомудрие не было для нас правилом, и мы принимали их так, как они к нам приходили, эти внезапные дорожные удачи. С тех пор я не раз — так как в этих встречах было что-то одновременно незавершённое, несуразное и нежное, неотделимое от никогда не сохранявших от них ничего нечистого воспоминаний, — думал, что эти странницы с нежными внезапно рассыпающимися волосами отдавались, может быть, — как странно это звучит — *за именем лучшего*, — обременённые этим подносимым во тьме с какой-то смиренной покорностью женским телом, обречённые всегда знать лишь сквозь его жаркую толщу. Что они искали, с чем хотели нескладно соединиться, что

держало их без сна в долготерпении ночи напролёт? — не шедшие по Дороге; может быть, страстно сфокусированное на них отражение чего-то более далёкого, — может быть, всего лишь того, куда их вела Дорога. Женщина скорее, чем мужчина, содрогается от того, что уносится походя, в неясном дуновении, поднятом над землёй, но жаркий мрак её тела отягчает её, и случается, что из нетерпимости к тому, что мешает в ней абсолютной ясности, она отдаёт его, как срезают дорогу. Мне кажется, что полностью никто никогда в этом не ошибался и что даже самые грубые опралялись от случайных ночных объятий, тронутые на мгновения чем-то вроде неуклюжей деликатности: обращаясь с ними в момент утреннего прощания не как с женщинами, а как с попутчиками на очередном этапе и верными товарищами. А те никогда не пытались задерживать или удерживать, когда утром снаряжался их ночной друг, они служили ему с изысканными жестами и сноровкой пажа, чтобы не позволить себе никакой тусклой фамиллярности, зная, что относится к постели, а что для мужчин совсем из другой оперы, и умея мужественно следовать за самцом в его отвращении смешиваться с ними.

Подчас я мечтаю о них — это неповторимо: в какие-то мгновения столь близкие нам, столь братственные — со своеобразной тяжёлой нежностью. Наверное, они всё ещё скитаются около перерезанной Дороги, где никто больше не проходит, неуголённые вакханки, желание которых пыталось лопотать на ином языке — наполовину куртизанок, наполовину сивилл, — навсегда неспособные войти в сделку с банальностью жизни; провал их огромных глаз, надменный и грустный, как иссякший колодец у пустынной Дороги, — обременённый сожалением и вдовством этого маленького сообщества женщин, — хрупкий — вдруг замирает подчас на мгновение и по приказу самца низводится туда, где он живёт, и как нельзя более сурово замыкается в себе; около Дороги, которая по-своему тоже цветёт, как

ни странно, — ведь она совсем стерильна, — распространяющее стойкое и сильное благоухание. Лишённые возможности коснуться, вполне достигнуть, они смиренно давали. Они были послушницами долгого путешествия, покорными самым жалким заданиям, но неспособными замарать свои руки и рты ничем, что плотски не касалось какого-то приказа, который они предчувствовали сердцем. Я вспоминаю их серьёзные глаза и странно возвышенные к поцелую лица — будто к чему-то, что их озарило, — и ещё ко мне приходит жест, как он приходил к нам, когда мы их покидали, исполненный отчаянной и жалкой нежности: поцеловать их в лоб.

(Жюльен Грак. Дорога)

Портрет отца

И зеркало вспашут. И раннее детство
вернётся к отцу, не заметив его,
по скошенным травмам прямого наследства,
по жёлтому полю пути своего.

И запах сгорающих крыльев. И слава
над жёлтой равниной зажжённых свечей.
и будет даровано каждому право
себя выбирать, и не будет ночей.

Но стоит ступить на пустую равнину,
как рамкой резной обовьётся она,
и поле увидит отцовскую спину
и небо с прямыми углами окна.

А там, за окном, комнатёнка худая,
и маковым громом на тронном полу
играет младенец, и бездна седая
сухими кустами томится в углу.

И мак погремушкой ударит по раме
и камешком чиркнет, и вспыхнет она
и гладь фотоснимка сырыми пластами,
как жёлтое поле, развалит до дна.

(Иван Жданов)

ИЮЛЬ

29

суббота

Когда его, например, нанимали прополоть делянку молодой моркови за три пенса в час, а то и за шесть, часто случилось, что он выдёргивал всю морковь вместе с сорняками, по рассеянности или под воздействием не знаю какого неодолимого порыва убрать всё как можно чище, охватывающего его при виде овощей и даже цветов, буквально ослепляющего, во вред собственным интересам, порыва убрать всё как можно чище, не видеть ничего перед глазами, ничего, кроме чистой земли, без всяких паразитов, и устоять перед этим порывом он зачастую не мог. Или же, когда до такого не доходило, внезапно всё начинало плыть перед его глазами, и он не способен уже был отличить растения, предназначенные для украшения домов или идущие на корм людям и зверям, от сорняков, которые, как говорят, ни на что не пригодны, но которые тоже по-своему полезны, иначе земля не была бы к ним так благосклонна, как, например, любимый собаками пупырьник, из которого люди, в свою очередь, научились гнать бражку, и тяпка выпадала из его рук. И даже такое простое занятие, как уборка улиц, за которое он иногда, с надеждой, брался, полагая, что может, чисто случайно, оказаться прирождённым дворником, удавалось ему не лучше. Он сам не мог не признать, что подметённое им место становилось под конец работы грязнее, чем в начале, словно какой-то демон заставил его, используя для этого метлу, совок и ручную тележку, бесплатно предоставленные фирмой, собрать весь мусор, ускользавший до того от ока налогоплательщика, и доба-

вить его, извлечённый на свет, к уже видимому, для уборки которого его и наняли. И получалось так, что на закате дня на отведённом ему участке появлялись корки от апельсинов и бананов, окурки, клочья бумаги, собачьи и лошадиные экскременты, а также всякое прочее дерьмо, аккуратно сложенное вдоль тротуара или выметенное на самую середину улицы, словно бы для того, чтобы прохожим стало как можно более противно и участились дорожные происшествия, в том числе со смертельным исходом, если кто поскользнётся. При всем при этом Макман старался выполнить свою работу как можно лучше, беря в пример более опытных коллег и подражая им. Однако создавалось впечатление, что он не хозяин своих движений и плохо понимает, что делает, когда что-то делал, и что сделал, когда что-то сделал. Так что кому-то приходилось говорить: Посмотри, что ты наделал, — тыкая его, как говорится, носом в совершённое, иначе бы он ничего не заметил — так и думал бы, что справился с делом не хуже любого другого, несмотря на отсутствие опыта.

(Сэмюэл Беккет. Мэлон умирает)

Чёрный диск пластинки является кругом. В него вписаны окружности бороздок. Сам он вписан в квадрат конверта. Вписать в прямоугольник платы.

Нарисовать на бумаге план города, пометить крестиком его дом, на следующем листе изобразить план квартиры (план этажа — не стоит?), передвинем мебель, мне так не нравится, кресло с курульной пурпурной обивкой выдвинем из угла, надеюсь, у тебя хватит сил? Стол пододвинуть поближе, отодвинуть от окна (окно — потом), чтобы не дуло, повесим шторы (цвет? — крамуази, кармин), камин? — убрать, не нужен. Книжные полки — ставить на пол или повесить? Вешать трудно (а ты пробовал?). Повесим. При-

дется изобразить в трёх проекциях. Теперь самая сложная стадия — установим телевизор.

Камера на холме, видно, как он месит грязь на убогой просёлочной дороге, обсаженной с обеих сторон какой-то зеленью, тёмной после дождя. Она пуста, и ничего не видно... Ему ничего не видно — вокруг. Лишь только, может быть, что повыше, кладбищенская, например, колокольня. Вороны? Что клубятся над хлебами, зависли, парят в лазури послегрозовой, в розовых лучах, что золотят их оперенье, все в белых пятнах, плохая цветопередача, кустарник жёлт и зелен.

Нарисовав план квартиры, перевернуть лист и описать на обороте то, что геометрии не подвластно, что меркаторству не по зубам. Обработать поверхности, рельефы. Дифференцировать материю. Рустика, полировка. Использовать палитру, политуру. Проработать буравчиком. Усложнить структуру. Обогащать. Обожить.

Сложный рисунок линий на ладони — схема.

Крупный план: рука, выкарабкивающаяся из кармана. Обкусанные ногти с трауром под ними.

Большая чёрная бабочка: крупный план: жёлтая кайма. <...>

Когда ни посмотришь — чёрный диск пластинки, лоснящийся от накопленных годами бороздок, жирный масляный блеск, подрагивающий под жадными пальцами настольной лампы, и отблеск телеэкрана, телефлуоресценции — пластинка Пендерецкого (идёт алап) крутится на своём треножном ложе, стреноженные звуки рассыпаются гроздьями кластеров, стрекочет, как сверчок, пишущая машинка, по деке, за подставкой (запад, запад!), милое тремоло сонетной формы, четырнадцать стенобатных строк, и ещё бурдонные, флуоресцирующие, как надкрылья, в тишине, тяжёлые, как из бронзы, солёные на вкус (пот, можно), поблёскивающий край, ребро, то подлетающее горе, то безоглядно рушащееся долу, пытаюсь сбросить с себя нагло-

го ненасытного любовника, седока в широкополой шляпе со шпорами на необъезженной полиморфной равнине дикой на голове с алмазною иглою не выкинуть никак не может рифмующихся струнных — и шёлка лоскутков для снатья пыли и изъятья.

Выкус.

На ногах натёр мозоли. На пятках. Кожаные наросты, кожа толстая, как в паху у пахидерма. Кажется, что это уже не живая плоть. Роговой нарост, крепкая корка, черепаховый панцирь. Живое мясо, траченное червями нервов и сухожилий, пропитанное тёмной липкой жидкостью, скрывается где-то внутри, недоступное ни для кого.

Хорошенько размочить, лучше в кипятке, а потом сдирать, сцарапывать, соскребать. Кусками, полосками. Дранка.

Ещё, говорит, любое зрелище безмерно.

Начну ещё раз. <...>

Сидя на полу, поджав под себя ноги, сгорбившись и ссутулясь, прижав подбородок к груди, раскорячась по-обезьяньи, что ли, выхватывает одну за другой пластинки из груды чёрных лоснящихся дисков, выпростанных перед тем из своих нарядных конвертов, квадраты которых валяются где-то сбоку, прижимает её (их) к себе, к груди, слюнит, плюёт на этикетку и начинает свой нелёгкий труд: вцепляется в неё ногтями, царапает, соскабливает разноцветный кругляшок бумаги, лоскутьями, пластами, обрывками отдирает от бороздчатого негритянского тела фиговый лист наименования (имени), со старательностью, переходящей в ярость, обнажает центроважное отверстие, вылизывает его, вроде бы, языком, вытирает полой халата насухо-досуха.

Чем, говорил он, передать несвязанность пространства? Диалогом?

Такое ощущение, что он хочет чего-то, такое ощущение, что он смертельно устал, такое ощущение, что он никогда не устает, такое ощущение, что это он.

Но я на этот счёт не обольщался. <...>
Чёрный диск пластинки лежит на белой скатерти
белый квадрат скатерти лежит на чёрном столе
Чёрный круг стола накрыт белой скатертью
белый круг скатерти увенчан цветным конвертом
в котором спрятан белый квадрат конверта
в котором спрятан прозрачный круг конверта
с круглой дырой посреди
в котором лежит чёрный диск пластинки
который с двух сторон защищён от дыры
в полиэтиленовом круглом конверте
цветными кругами наклеек
украшенных в центре круглыми дырками
между которыми находится круглая
дыра в чёрной пластинке
украшенной окружностями бороздок
Сплёвывает кровь. <...>

Крупный план: порезанный палец, по которому стекает ручеек крови. Плохая цветопередача: кровь почти бордовая, палец грязный, у ногтя — заусеница.

Шлифует мелкой шкуркой сплошь испещрённый бороздками и царапинами чёрный диск. Цель — полная анонимность. Чтобы не отличить друг от друга.

(Виктор Лапицкий. Пришед на пустошь, 1983–86)

Второй Храм был разрушен в 70 году Титом и до сих пор не восстановлен — что это значит? Прежде всего и самое главное: что евреи без малого 2000 лет лишены *общения* с Яхве, заменив его *изучением* в училище-синагоге тех времён, когда богообщение через пророков и жертвоприношение в Храме имело место. Боюсь ошибиться и потому не столько утверждаю, сколько вопрошаю, обращаясь к более сведущим: достаточно ли этого изучения для заявления о существовании иудаизма как *веры*, а не как *богословия*? Вправе ли народ,

утративший общение со своим Богом («Бог отвернулся»), учить чему-то *серьёзному* (религиозному) другие народы и способен ли он их чему-то научить за вычетом таких нерелигиозных дисциплин, как наука, материализм, атеизм, нигилизм и т. п.? Есть ли в иудаизме какое-то существенное возмещение утраты контакта с Яхве (вроде каббалы и хасидизма) или правоверные евреи относятся к ним как к временному занятию в надежде на то, что придёт время и Яхве всё-таки *повернёт своё лицо*?

АВГУСТ

АВГУСТ

1

вторник

Русский казаху: — Знаешь пословицу: Не имей сто рублей, а имей сто друзей?

Казах: — Знаю, у нас есть такая: Не имей сто тенге, а имей сто менге.

— Тенге — значит рубль?

— Рубль.

— А менге — друг?

— Нет, менге — тысяча рублей.

АВГУСТ

2

среда

Маленький Олаф много читал. Невозможно было оттащить его от книжки с картинками, а чтобы оттащить от книжки без картинок, нужно было в течение получаса бить его чем-нибудь металлическим по лицу и груди. Но, слава Богу, никто не препятствовал развитию мальчика. Олафу книжки всё более заменяли сверстников, и неизвестно, чем бы это всё кончилось, если бы не произошёл характерный казус.

Как-то, с лицом печальным, как у молодого енота, маленький Олаф сидел на скамеечке и держал на коленях «Справочник таксидермиста» за 1881 год. Случилось так, что на справочник села муха и начала свой торопливый бег от верхнего края страницы к левому нижнему углу той же страницы, где помещалось изображение сушилки-распялки со вставленной туда шкуркой секача-голована. Как зачарованный следил маленький Олаф за ползущим насекомым,

что-то такое почудилось ему в изумрудно-фиолетовом брюшке, в деликатно сложенных крылышках, в точёных лапках-хоботках, от чего сердце забилося гулко и радостно, готовое выпрыгнуть и упорхнуть прочь прекрасной изумрудно-фиолетовой мухой.

«Что есть муха? — думал маленький Олаф в то время, как насекомое замерло на регулирующем винте сушилки-распялки и начало лихорадочно сучить задними лапками. — Муха есть, — отвечал он себе, — маленький кусочек жизни с изумрудно-фиолетовым брюшком и лапками-хоботками. Я сейчас ребёнок и поэтому не могу ответить на вопрос глубже. Надеюсь, когда вырасту, смогу сказать что-либо более путное по этому поводу. Сейчас же нужно решить, зачем эта муха сюда села, переползла страницу и стала сучить лапками на чертеже-схеме распялки».

Однако удовлетворительно ответить на эти вопросы представлялось не более возможным, чем на первый. Поломав голову, Олаф решил, что, пролетая, муха, должно быть, захотела отдохнуть, а поскольку сразу начать дышать, только сева, ей стало неудобно, то она и переползла страницу и начала сучить лапками уже над распялкой. И также другое, более замечательное объяснение нашёл этому случаю маленький Олаф. «Муха — это маленький кусочек жизни, — говорил он себе, — а я есть кусочек той же самой жизни, только побольше. Мать же часто говорит мне, что хоть я немного не в себе, но жизнь меня научит. Значит, муха меня учит. Она меня учит, что надо построить сушилку-распялку, потом найти дохлую кошку и сделать чучело. А если не найду кошку, то поймаю Рыжуху и усыплю, а если не достану снотворного, то просто убью».

С этой мысли в жизни маленького Олафа произошёл перелом. Он с треском захлопнул «Справочник», чуть не прибавив напуганную муху, вскочил на свои молодые ножки и побежал в сарай искать дощечки для распялки. Целую

неделю тайком на чердаке сарая мастерил он сушилку-распялку, со скрупулёзностью старого педанта соблюдая данные на чертеже-схеме размеры в дюймах. Наконец страшная машинка была готова. Поскольку поиски дохлой кошки успеха не имели, а достать снотворное не представлялось возможным, надо было убивать. Напоив Рыжуху в последний раз молоком, Олаф взял её на руки и понёс в сарай. Там он умертвил животное посредством длинного, заранее заточенного и очищенного от ржавчины гвоздя, неумело освежевал тушку, мясо и внутренности закопал в огороде, а шкурку поместил в сушилку-распялку в соответствии с рекомендациями «Справочника».

Так начался Навернов как таксидермист.

*(Илья Беляев. Игра в жмурки,
или Охота на серебристоухого енота)*

АВГУСТ

3

четверг

Дерево — уязвимо. Оно или хрупко, или трещиновато, или ограничено по сечению, или имеет сучки. Подвержено гниению, изъязвлено шашелем. Надо уметь приспособляться к этим слабостям и в приспособлении таком находить радость. Самая богатая стратегия такого приспособления — составной и залатанный характер изделия: оно изначально мыслится как вышедшее из ремонта, восстановленное и дополненное, чиненое-перечиненое. Если хотите, деревянная вещь всегда б/у, всегда бывшая в употреблении. Она всегда на границе завершенности и незавершенности. Ей присуща продлеваемость: роман с деревом — это всегда роман с продолжением. Деревянная вещь как ребёнок: мало родить, надо ещё и кормить.

Есть к дереву кроме стекла еще одна антиномичная пара — золото. Золото — сам по себе материал светоносный, а потому оно символично. Сверх того, оно неистре-

бимо, оно — претендент на вечность. Дерево же весьма уязвимо, это — бранный материал, превосходящий по стойкости только кожу да войлок. Но этим деревоечно. Оно, если хотите, репрезентант конечности, непретенциозности, несимволичности. Дерево — материал падший.

Золото как бы перешагивает через отдельного человека, будь оно украшением, будь оно золотом короны или оклада иконостаса или компонентом хрисозлефантинной техники в облике Зевса — золото в любом случае социально. Лишь поэтому оно может быть ещё и монетарным материалом. И как материал накопления и сбережения, как сокровище — золото тоже социально. Вот такая его социальность через голову человека, на мой ремесленный взгляд, фальшь. Золото, как это ни странно, всегда фальшиво. Лишь поскольку оно фальшиво само в себе и фальшиво изначально — оно может быть объектом подделки и материалом фальшивомонетчиков, лишь поскольку оно раздуто в своём символизме — оно может быть дутым. Никто и никогда не делал из золота ничего путного. Китайцы и японцы не работали в нём. Американское же золото состоятельно как раз потому, что ему не было цены. Это был материал будничный. Материал должен быть достаточно банален. Он не должен ставить нас на цыпочки. Все дорогие материалы — агрессивны. Но только скромность материала может быть продлена в укромность вещи.

(Константин Мамаев. Деревянный рай)

Тот день, небритый будто, на морозе
Я медленно по городу бежал,
И солнце расцветало в сердце розой
И разгоралось, как удар ножа.

И было странно мне идти обратно,
Где в запылённых окнах крутятся станки,
И слушать в собственных словах слепые пятна,
Которые не подадут руки.

И дальше брёл со сбитыми мозгами,
Как будто ожидая от мира тумака.
Прям засыхающий по подворотням Гамлет,
Который так и не нашёл врага.

Короче, всё. Пойду поговорю с евреем,
Пока друг друга мы ещё не съели.
Как он похож на сморщенное время,
Где сморщенные ангелы запели!

(Владимир Кучерявкин)

АВГУСТ

5

суббота

Мой пониженный жизненный тонус заметил ещё С. в 1961 г. Так что же говорить о теперь. И это складывалось и в школе на физкультуре и в координации. Почему у меня никогда не выйдет свинг. В людях свинга упругость, они чувствуют пульс и ещё через него и вокруг него пропускают различные ритмические фигуры. Дай Бог ещё ровные-то доли удержать. Аритмичному мне.

А в композициях я стремлюсь по капле собрать побольше, чтобы получилось зрелище тугой насыщенной скрученной в комок концентрированной уплотнённой жизни в утешение себе, и показать людям, как я круто туго напряжённо упруго как будто живу.

Бывает художество дробное, нарезное, много-много кусочков, все подклеены один к другому и во что-то соединены; набрать разрозненных кусочков и туда ещё что-то наставлять. А то выдох! песня! как-то так — ах! и всё как-то

так одним махом — и вот это талант; а то, первое, тонкость, пусть; да, это можно одев очки рассматривать или внимательно-внимательно прослушивать, что здесь прослушивается. Но талант это ах. Талант подхватывает вас и несёт на крыльях.

Там — о! там оно вас срывает с места и зовёт с собой в бой или в любовь. Там вас подмывает подпеть. А тут подпеть нельзя и не придёт в голову; но заморозиться, тонко заслушаться. Тут надо чтобы прислушиваться к тихой и отдалённой-отдалённой музыке, а там почти что зажимать уши подъ ея напором, или сказать — а, бери меня! Тут надо взять и бережно рассматривать листок со словами, а там — о! там со слуха запоминать и хлопать по себе кулаком, ай, как ты всё так сказал! и присоединиться.

Тут что-то такое, диковинка, должно завораживать, как жизнь рыбок в аквариуме. Вот, мол, какая разновидность. На это смотрят или слушают как на что-то от себя отдельное. А там что-то тебя захватившее в круг, заражающее, исторгающее слёзы, заставляющее танцевать и петь вместе. То обращено и взывает к людям, а это отделено от людей, само погружено в свой дивный потаённый узор и должно заколдовать людей, глядящих на него сквозь стекло. А то срывает людей с места, заставляет биться сильнее сердце. В это надо проникать, и удовольствие сам процесс чтения и проникновения. А там оно само в вас проникает, хватает, пронзает и тащит с собой; а потом, может, и кажется пустым.

(Евгений Харитонов. Слёзы на цветах // ВНЛ, № 5, 1993)

АВГУСТ

6

воскресенье

Сердце сжалось —
Слышу ночью
Шаги колокола.

(1966)

АВГУСТ

7

понедельник

Сказавший последнее слово в магическом словесном поединке торжествует над тем, кто умолк: он победил, он жив, он говорит, а умолкший погиб, в лучшем случае обессилел. Жажда оставить *последнее слово за собой* особенно приметна в бытовых скандалах, нередко завершающихся громким хлопаньем дверью (замена голоса), даже так: закрыть дверь, потом вернуться, просунуть в неё голову, прокричать оскорбление — и быстро захлопнуть её за собой, не допуская ответа.

АВГУСТ

8

вторник

Душа учёного после смерти сообщает Великому Контролёру о своих успехах: «Издаю 15 монографий, написал 256 статей, подготовил 12 аспирантов, изобрёл новую разновидность электромотора...» Контролёр морщится: «Промахнулись, батенька. Мы в этом году в рай берём тех, кто каждый день с собакой по 2 часа гулял, детские игрушки сам делал, песни пел и с девушками на коньках зимой катался. А ты давай вниз по коридору, к чертям, к чертям!»

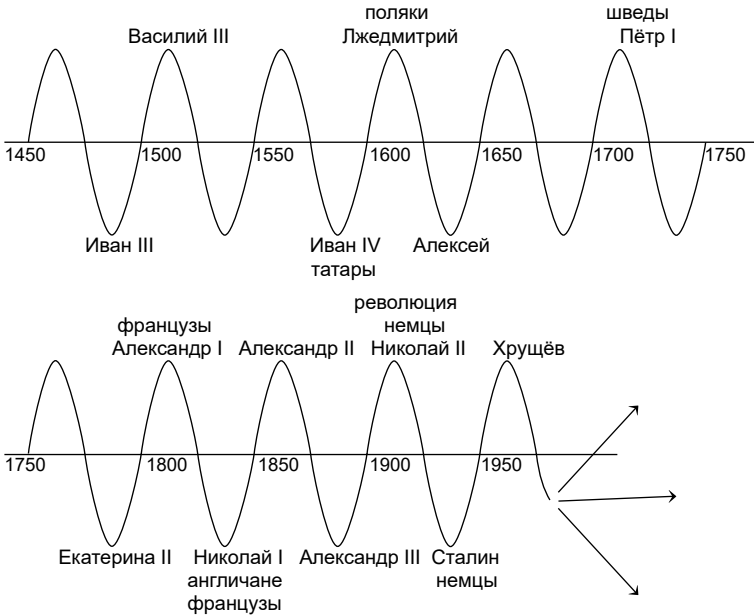
Четвертушки синусоиды

АВГУСТ

9

среда

На протяжении трёх-четырёх последних веков социально-политическая *синусоида России* имеет примерно такой вид (даты приблизительные): с 01 по 25 год — либерализм снизу, революция (декабристы, революции 1905 и 1917 годов, нэп), с 25 по 50 — консерватизм сверху, тирания (Николай I, Сталин), с 50 по 75 — либерализм сверху, оттепель (освобождение крестьян, хрущёвские реформы), с 75 по 99 — консерватизм снизу, застой.



SS, сексуальные солдаты

У архаической войны, костяк которой проглядывает и в современной, три главных задачи: 1) убить чужака, 2) съесть убитого, 3) изнасиловать дочь (сестру, жену, мать) убитого. Со временем, особенно в связи с табу на людоедство, война видоизменилась и превратилась в охоту за чужеземками (похищение сабинянок, Троянская война) с уничтожением охранявших их воинов, затем (в точном описании эволюции войны не уверен, тем более что она многослойна) последовал захват трофеев помимо женщин, захват территории, невоенный обмен женщинами (начало торговли?) и пр.

Древние слои войны приметны в самых неожиданных привычках и ритуалах нового времени: свадебный генерал, право первой ночи, свадебное путешествие, публичные дома, секс-туризм и мн. др.

→ 15 августа: Свадебный генерал

Поток Персеид

АВГУСТ

11

пятница

Ночь плачет в августе, как Бог, темным-темна.
Горячая звезда скатилась в скорбном мраке.
От дома моего до самого гумна
земная тишина и мёртвые собаки.

Крыльцо плывёт, как плот, и тень шестом торчит,
И двор, как малый мир, стоит не продолжаясь.
А вечность в августе и плачет и молчит,
звездами горькими печально обливаясь.

К тебе, о полночи глубокий окоём,
всю суть туманную хочу возвесть я,
но мысли медленно в глухом уме моём
перемещаются, как бы в веках созвездья.

(Сергей Петров, 1945)

АВГУСТ

12

суббота

В июле отец мой уезжал на воды, оставляя нас с матерью и старшим братом на произвол белых от солнца, ошеломительных летних дней. Одурманенные светом, листали мы огромную книгу каникул, все страницы которой горели от блеска и заканчивались сладкой до тошноты золотой мякотью груш.

Адель возвращалась сияющим утром, как Помона из пламени раскалённого света, высыпала из корзины яркую красоту солнца — блестящие черешни, полные влаги под прозрачной кожицей, таинственные чёрные вишни, ароматом своим превосходящие вкус; абрикосы, в золотой мякоти которых таилась сердцевина нескончаемого полдня. Среди чистой поэзии фруктов выпирали налитые силой и сыростью куски мяса с клавиатурой телячьих рёбер, корнеплоды, похожие на убитых головоногих и медуз — бесформенное, ещё лишённое вкуса сырьё, растительные компоненты обеда с диким полевым запахом.

Тёмную квартиру на первом этаже дома, выходящего на рынок, ежедневно пересекало всё огромное лето: тишина дрожащих слоёв воздуха, сияющие на полу и грезящие в жарком сне квадраты, мелодия шарманки, возникающая из самой глубины золотой жилы дня, два-три такта припева, снова и снова повторяемые где-то на фортепиано, тающие на белых залитых солнцем тротуарах, исчезающие в огне дня бесконечного полдня. После уборки Адель затемняла комнаты, опуская полотняные шторы. И тогда краски звучали на октаву ниже, комната наполнялась тенью, как бы погружаясь в мглу морской глубины, смутно отсвечивающей в зеркалах, и весь зной дня дышал на шторы, слегка колеблющиеся от грёз полуденного часа.

По субботам после полудня я выходил с матерью на прогулку. Из полумрака коридора мы мгновенно погружались в солнечную купель дня. Прохожие бродили в золоте, жмуря от света глаза, словно залепленные мёдом, обнажая приподнятой верхней губой зубы и десны. Все они носили гримасу зноя среди золота дня, как будто солнце надело на своих посвящённых одну и ту же маску — золотую маску солнечного братства; и все идущие по улице, старики и молодёжь, дети и женщины приветствовали друг друга, встречаясь и расходясь, этой маской, разукрашенной сверкающей краской солнца, оскалившейся вакхической гримасой — варварской маской язычников.

Рынок был пуст, жёлт от зноя, выметен горячими ветрами, как библейская пустыня. Колочие акации, выросшие в пустоте жёлтой площади, кипели над ней светлой листвой, филигранными букетами изящной зелени, словно деревья на старых гобеленах. Казалось, это они вызывают ветер, театрально вздымая кроны, чтобы в патетических изгибах продемонстрировать изысканность лиственных вееров с серебристой изнанкой, напоминающей мех благородных лис. Старые дома, отполированные многолетни-

ми ветрами, окрашивались оттенками огромного дня, эхом, отблесками красок, рассыпанных в его безмятежных разноцветных глубинах. Наверное, целые поколения летних дней (словно терпеливые штукатурки, очищающие старые фасады от плесени) снимали обманчивый налёт, извлекая самые выразительные, самые истинные облики домов, лица судьбы и жизни, формировавшие их изнутри. Сейчас окна, ослеплённые блеском пустой площади, дремали; балконы распахивали небу свою пустоту; из открытых дверей тянуло прохладой и вином.

Несколько оборванцев, уцелевших в углу рынка от огненной метлы солнца, стояли возле стены, испытывая её непрерывными бросками монет и пуговиц, по гороскопу медных кружков которых можно было прочесть истинную тайну стены, испещрённой иероглифами линий и трещин. Рынок был почти пуст. Казалось, к дверям лавки с бочками виноторговца подойдёт сейчас в тени колеблющихся акаций ведомый за узду ослик самаритянина, и два мальчика заботливо снимут с раскалённого седла больного мужа, чтобы осторожно внести его по прохладным ступеням на пахнущий шабасом второй этаж.

Так прошли мы с матерью обе солнечные стороны рынка, ведя свои изломанные тени по всем домам, как по клавишам. Плиты мостовой неторопливо отступали под нашими вялыми расслабленными шагами: то бледно-розовые, как человеческая кожа, то золотисто-лазурные, все ровные, тёплые, бархатные на свету, как солнечные лица, затоптанные шагами до неузнаваемости, до блаженного небытия.

(Бруно Шульц. Август)

→ 19 августа: Шульц. Август, 2

Русские поэты

Унылый день.

Лишь Ася Львовна жива, но голова у неё набекрень.

Вьюсовой деревенский плетень —

Пастернака унылого тень.

По издательствам ходит Лена Игнатова,

Расщепившись на атомы.

Всех поэтов собрать в кучу и сжечь,

Как надоела их речь:

Пастернака провинциализм,

Марины Цветаевой каприз.

Русские поэтессы нарисованы на игральных картах,

Их тасуют поэты-алкоголики в азарте.

А в Америке проигрался в пух и прах Картер.

Русские поэты прижались к издательствам,

Привыкли к ежедневным предательствам.

А в Союзе писателей рай,

Попасть бы в этот сарай,

Там хлещет православная мощь через край.

Пиотровский пишет доносы

(Хоть делов у него непечатый край)

На художников-альбатросов.

Копятся пухлые девушки-книги,

И танцуют рок-н-ролл ребята в Риге.

Сжечь бы все советские книги

И поворошить кочергой в издательствах,

Заворожить умы современников,

Собрать всех в кучу интеллигентных лениных

И сжечь.

О русская речь!

Тебя надо в комнатах своих беречь.

Со времен Кузмина нет в России поэтов,
Только мелькают изредка по небу кометы,
Теплом Божьего Логоса согреты.

Обнимает меня девушка Лета.
Всех поэтов песенка спета,
Как только начинают их в официальных органах
печатать.

Печатная страница — хрущёвской кукурузы початок.

(Василий Филиппов)

АВГУСТ

14

понедельник

...прав старый мой вопрос Соловьёву («О свободе и вере»): «Да зачем вам свобода?» Свобода нужна *содержанию* (чтобы ему *развиваться*), но какая же и зачем свобода бессодержательному? А ведь русское *общество* бессодержательно.

Русский человек не бессодержателен, — но русское общество бессодержательно.

(Василий Розанов)

АВГУСТ

15

вторник

Не очень внятное выражение «свадебный генерал» (почему генерал, а, скажем, не священник или не городской голова?) становится более понятным в рамках «геосексополитики»: генерал (полководец, вождь племени) — это тот, кто организует военно-сексуальную экспедицию за чужими женщинами, обычно для своего собственного гарема (срв. *jus primae noctis*), его присутствие на свадьбе молодого воина/сексуального солдата объясняется тем, что невеста принадлежит, собственно говоря, генералу, а воину достаётся разве что по генеральской доброте. Право первой брачной ночи (нескольких ночей) наводит на мысль о том, что забеременеет невеста не от солдата, а от генерала (отсюда особое положение первенца — майорат).

Фаллос и омфалос

Дельфийский омфалос (omphalos) — это «пуп земли», торчащий из земли яйцевидный священный камень.

Принято считать, что обелиск и одинокая колонна — это своеобразное изображение *мужчины*, его производительной мощи, возносящееся вместе с эрегирующим дроном/фаллосом к небесам. Женщинам обидно: почему в культуре так много следов мужской активности и так мало женской? Чтобы восстановить равновесие хотя бы здесь, предлагаю забыть про обелиск-фаллос и волевым усилием усмотреть в нём пуп/омфалос, солнечный луч/пуповину, питающий *любого из нас*, независимо от его/её гендерной принадлежности, небесной энергией. Понятное дело, по своей форме обелиск не совсем вяжется с пуповиной, но культурные усилия (в данном случае направленные на *восстановление справедливости*: дрон имеется только у мужчин, да и не всеми из них ценится, а пуп — за вычетом Адама, есть у всех) что-то ведь да значат?

Пуповина теснейшим образом связывает человека/младенца с его *солнечной матерью*; она трансцендентна по отношению к младенцу, то есть не вполне ему принадлежит, что и доказывается её утратой после рождения. Фантомная пуповина — своеобразное мировое древо, связывающее человека с иносолнцем. Не говорю уже о возможности модернизировать форму обелиска: вместо луча-дрона ваять пуповинные спиральи и улиток.

Где степь без роздыха и дерево простыло
а воздух выгорел как роща золотая
ты проще полудня и лето заплетая
меж двух имен — ты степень различила

мне руки некому на простынь положить
высоких стекол отзвуки разбиты
куда ни шло не устают служить
обуза времени и памяти обида

ещё на озере Плещеевом толпа
ещё навязчива идея соглашений
и только с мысли спросу не берут

лежит в бору лосиная тропа
и древесина кораблекрушенья
с рожденья ждёт и сносится на сруб.

(Владимир Алейников)

АВГУСТ

18

пятница

В очередной раз наступает ночь.

Я слышу отзвук шагов безумного царя, бродящего взад и вперёд по коридору верхнего этажа. Он что-то отыскивает в своих воспоминаниях, что-то такое, на что можно было бы опереться, но и сам точно не знает, что именно. Исчез велосипед, не стало вырезанного из дерева тигра, нет больше пса, тёмных очков, тяжёлых штор. Нет сада, исчезли жалюзи, нет тяжёлых штор, легко скользящих по металлическим карнизам. Остался разбросанный в беспорядке мусор: обрывки пожелтевших газет, которые нагромодил возле стены ветер, гниющие недоеденные овощи, испорченные фрукты, обглоданная рыба голова, куски дерева (обломки тонкого навеса или разбитого ящика), сброшенные в грязную сточную канаву, по которой, медленно кружась, плывёт обложка китайского иллюстрированного журнала.

Улицы Гонконга, как известно, очень грязны; под витринами лавочек, торгующих подержанным товаром, где на вертикальных вывесках видны несколько красных или зелёных иероглифов, с раннего утра начинает расти гора мелких тошнотворно пахнущих отходов. Толстым слоем покрывают они тротуар, а затем мостовую, расплзаясь во все стороны на подошвах прохожих в чёрных халатах, и намокают после полудня в потоках внезапных дождей, пока наконец не размесят их в широкие, почти лишённые толщи-

ны, лепёшки коляски рикш с потертыми подушками или не соберут в бесформенные кучи уличные подметальщики. Прерывая свои замедленные, какие-то неопределённые и словно бы бесполезные движения, подметальщики поглядывают прищуренными раскосыми глазами на евроазиатских девушек, служанок с царственной осанкой, которые прогуливают по вечерам огромных молчаливых собак леди Авы, неторопливо вышагивающих, не обращая внимания на духоту и смрад сточных канав.

Зверь с блестящей шерстью, напрягшись на выпрямленных лапах, идёт быстро и уверенно, высоко подняв голову на неподвижной шее и наставив уши, как полицейская собака, которая взяла след, не рыская ни влево, ни вправо и даже не принохиваясь к земле, где слабый запах быстро теряется среди зловонных отбросов. Изящные туфельки на тонких каблуках троекратно перекрещены на маленьких ножках позолоченными ремешками. С каждым шагом плотно облегающее платье слегка морщится, и паутинка складок на бёдрах и животе оживает, в отблесках фонарей над витринами причудливо переливается шёлк и сверкает чёрная шерсть зверя, шествующего — с силой натягивая поводок — в двух метрах впереди. Кожаный поводок натягивается в руке, но молодая женщина не убыстряет шага и не меняет направления движения, она, как по пустыне, идёт сквозь толпу чёрных халатов вся застывшая и словно вознесённая, несмотря на мерное движение колен и бёдер, обтянутых узкой, с разрезом сбоку юбкой. В обрамлении иссиня-чёрных волос, пронзённых над левым ухом алой китайской розой, её лицо кажется таким же застывшим, как и у воскового манекена в витрине. Молодая женщина не смотрит на лотки, заваленные каракатицами, позеленевшей рыбой и тухлыми яйцами, не поворачивает головы ни направо, ни налево, не глядит на тускло освещённые вывески, огромные иероглифы которых заполнили все свободные места на стенах и четырёхгранных столбах, поддержи-

вающих арки. Она не замечает ни продавцов газет и иллюстрированных журналов, ни таинственных реклам, ни разноцветных лампочек. Идёт и ничего не видит, как лунатичка. Ей не нужно смотреть под ноги, чтобы обходить возникающие на её пути препятствия — они как-то сами собой исчезают, освобождая ей проход: голый ребёнок на куче мусора, перевернутый пустой сундучок, в последнюю минуту убранный чьей-то невидимой рукой, старая метла, вслепую трущая мостовую там, куда устремлён взгляд рассеянного уличного подметальщика в тёмно-синем комбинезоне. Сонные глаза с трудом отрываются от ног, равномерно мелькающих в разрезе платья, и подметальщик вновь возвращается к прерванной работе: сметает в сточную канаву цветную картинку — обложку китайского иллюстрированного журнала.

Под большими квадратными иероглифами надписи, занимающей верхнюю часть обложки, размещен небрежно выполненный рисунок. На нём просторный, по-европейски обставленный салон, стены которого украшены зеркалами и алебастром под мрамор, что, вероятно, должно свидетельствовать о роскоши; несколько мужчин в тёмных костюмах и кремовых или цвета слоновой кости смокингах стоят небольшими группами и разговаривают. На втором плане, в левой части рисунка, за буфетной стойкой, прикрытой ниспадающей до самого пола скатертью и заставленной тарелками с бутербродами и пирожными, лакей в белой куртке подаёт на серебряном подносе бокал шампанского толстяку с исполненным важности выражением лица. Протянув руку к бокалу, толстяк что-то говорит своему приятелю, устремив при этом взгляд вверх, ибо собеседник значительно выше его. В глубине салона, но на открытом пространстве и потому сразу же бросаясь в глаза — тем более, что это центр рисунка, — трое военных в камуфляжных костюмах (парашютные комбинезоны с се-

ро-зелёными пятнами) стоят в распахнутых настежь дверях неподвижно, но готовые немедленно выпустить очередь из автоматов, которые они сжимают на уровне бедра, направив их в разные стороны. В суматохе светского приёма лишь несколько человек заметило их вторжение: женщина в длинном вечернем платье — на неё нацелен один из автоматов — и трое-четверо находящихся рядом с ней мужчин. Их плечи и головы резко откинуты, руки застыли в инстинктивном жесте обороны, удивления или страха...

В других частях салона всё продолжается так, словно ничего не произошло. На первом плане справа, например, две женщины, почти склонившись друг к другу — хотя, кажется, и не особо поглощённые разговором, — ровно ничего не заметили и не прерывают начатой сцены, не обращая внимания на то, что происходит в каких-то десяти шагах от них. Та, что постарше, сидит на диване, обтянутом красным — нет, жёлтым — бархатом, и с улыбкой наблюдает за молодой, которая стоит прямо перед ней, но смотрит в сторону: на высокого мужчину, того самого, что минуту назад вполуха слушал у буфетной стойки толстого любителя шампанского, а сейчас в полном одиночестве стоит вдали от гостей перед окном с задвинутыми шторами. Через мгновение молодая женщина снова поворачивается к даме, сидящей на диване. На её лице появляется выражение серьёзности, сдерживаемого возбуждения и принятого решения. Молодая женщина делает шаг к красному дивану и — очень медленно — мягким и грациозным движением левой руки приподнимая подол платья, опускается на одно колено перед леди Авой, а леди Ава, совершенно естественно, без малейшего смущения и не переставая улыбаться, царским или, возможно, снисходительным жестом подаёт ей руку. Едва касаясь кончиков пальцев с покрытыми ярким лаком ногтями, молодая женщина наклоняется, чтобы поцеловать их. Светлые локоны, склонённая головка...

Но тут же выпрямившись, молодая женщина поворачивается и уверенной походкой направляется к Джонсону. Дальнейшее происходит невероятно быстро: они обмениваются несколькими условными фразами, мужчина застывает в церемонном поклоне перед дамой, которая продолжает стоять со скромно опущенной головой; раздвинув бархатную портьеру, входит служанка-евроазиатка, останавливается в нескольких шагах и молча наблюдает за ними; черты её лица неподвижны, как у восковых манекенов, и не выдают никаких чувств; хрустальный бокал падает на мраморный пол, разлетаясь на тысячи ослепительно сверкающих осколков; молодая женщина со светлыми волосами роняет на них отсутствующий взгляд; девушка-евроазиатка проходит, как лунатичка, по осколкам, по-прежнему удерживая перед собой на натянутом поводке чёрного пса; изящные золотые туфельки быстро удаляются, оставляя позади подозрительные лавочки и старую метлу, которая, очертив дугу, сметает в водосточную канаву обложку иллюстрированного журнала; грязная вода тотчас подхватывает разноцветную картинку и вращает её в солнечном блеске.

(Роб-Гриёе. Дом свиданий)

Густая чаща трав, сорняков и чертополоха бушует в огне полдня. Сад дремлет и гудит роем мух. Золотое жнивье стрекочет на солнце, как рыжая саранча, в густом дожде огня трещат кузнечики, стручки с семенами лопаются и прыгают, словно кузнечики.

А ближе к забору шуба трав вздымается горбом, будто сад повернулся во сне на бок и вдыхает своей крепкой мужицкой грудью тишину земли. На этой груди неряшливая бабья буйность августа разрослась в глухих провалах ог-

ромными лопухами, распоясалась космами лиственных толщ, буйными языками мясистой зелени. Там идолоподобные развёрнутые лопухи таращатся, как широко рассевшиеся толстые бабы, утонувшие в своих юбках; там сад распродаёт по дешёвке крупу сирени, густую кашу подорожника, отдающую мылом, дикую сивуху мяты и прочее барахло августа. А по другую сторону забора, за дебрями лета, где безумно разрослись глупые сорняки, была мусорная куча, густо заросшая чертополохом. И никто не знал, что именно здесь справляет август этого лета свою великую языческую оргию. На куче стояла прислонённая к забору и скрытая сиренью кровать девушки Тлуу. Дурочки Тлуу, как все её называли. Среди сора и отбросов, битых горшков, старой обуви и щебня возвышалась зелёного цвета кровать, подпёртая взамен отломанной ножки парой потемневших кирпичей.

Воздух над свалкой, одичавший от зноя, пронизываемый молниями блестящих мух, взбесившихся от солнца, стрекотал невидимыми трещотками, доводил до безумия.

Посреди жёлтой постели прикорнула укрытая лохмотьями Тлуя. На её крупной голове топорщится ёжик чёрных волос. Лицо подвижно, словно меха гармошки; скорбная гримаса ежеминутно собирает его в тысячу складок, а изумление растягивает, разглаживает складки, обнажает щёлки крохотных глазок и влажные дёсны с жёлтыми зубами под мясистой губой. Проходят часы, исполненные зноя и скуки, а Тлуя по-прежнему тихо бормочет, дремлет, ворчит, стонет. В минуты неподвижности мухи облепляют её густым роем. И вдруг вся эта куча грязного тряпья приходит в движение, будто там завелись мыши. Разбуженные мухи вздымаются огромным звенящим роем, бешено гудят, сверкают, мелькают. Лохмотья соскальзывают на землю и разбегаются, как вспугнутые мыши, а из-под них медленно появляется, вышелушивается серд-

цевина мусорной кучи — полуобнажённая смуглая дурочка. Она медленно поднимается, похожая, на своих коротких детских ножках, на языческого божка, и вдруг из её набухшего волной злости горла, из побагровевшего от гнева лица, на котором варварскими рисунками расцветают узоры вздувшихся жил, вырывается дикий рык, хриплый вопль, исходящий из всех бронхов этой полувзвешенной, полубожественной груди. Кричит сожжённый солнцем чертополох, лопухи взбухают бесстыдным зелёным мясом, сорняки распускают блестящие ядовитые слюни, а охрипшая от крика дурочка судорожно и яростно бьёт своим животом о ствол сирени, которая тихо скрипит под настойчивостью разнузданной похоти, закливаемой всем этим нищенским хором вырожденческой, языческой плодovitости.

(Бруно Шульц. Август)

АВГУСТ

20

воскресенье

Большинство домашних животных в русском языке начинается на КО-: корова, коза, кошка, либо имеют синонимы, начинающиеся на ко- или ка-: кобель, конь, кобыла, кабан. Полностью выпадает за пределы КО-: овца.

Ближих (домашних) животных человек различает по полу, половой производительности и возрасту и описывает *разнокоренными* словами: бык/вол — корова — телёнок; конь/мерин — кобыла/лошадь — жеребёнок; кабан/боров — свинья — поросёнок; пёс/кобель — сука/собака — щенок; баран — овца — ягнёнок; петух — курица — цыплёнок; селезень — утка — утёнок.

То, что кошка описывается одним корнем (кот — кошка — котёнок), возможно, свидетельствует о сравнительно позднем её появлении в России. То же козёл — коза — козлёнок; гусь — гусыня — гусёнок и тем более дикие животные: волк — волчица — волчонок; медведь — медведица — медвежонок, которых человек видел редко.

Вершины берез — с детства
и до сих пор

будто
всё то же:
о
затихание — после
шёпота
взгляда
и слуха —

(и я забывал это было всю жизнь забывал колыбельную
голосом бывшую чтобы всю жизнь вспоминать колы-
бельную
будто безмолвно-первичную духом меня изначально
раскрывшую шириться мне обещая свободно без края) —

о
затиханье — (давно уже нет никого):
воздух — в вершинах:
берёз

(Геннадий Айги, 1983)

Летом 1963 года работал в районной библиотеке на Ма-
лой Охте, недалеко от дома. Часов в 11 утра над Охтой начал
кружить самолёт (как позже выяснилось, Ту-124 из Таллина,
у него заклинило шасси), и 27-летний лётчик Виктор Мосто-
вой задумал сначала выжечь весь керосин, а потом посадить
самолёт на брюхо в Пулково. До Пулково на очередном вит-
ке не дотянул, в полдень мастерски посадил «тушку» на Неву
между строящимся мостом Александра Невского и Фин-
ляндским железнодорожным. Я с прочим народом бегал на
плоты смотреть небывалое. Лет через 30 дошёл слух, что на

этом самолёте летел и спасся от смерти будущий патриарх Алексей II, тогда таллинский епископ Алексей, из семейства балтийских немцев фон Ридигеров.

АВГУСТ

23

среда

Рассказал Томе о том, как работал когда-то в геофизическом тресте помощником взрывника, искал на границе с Норвегией никель. В свободное время глушили сёмгу, охотились, собирали подосиновики, которых уродилось несметно — слепой мог бы набрать корзину на ощупь. Однажды поднялся на отдалённую сопку и увидел на вершине сброшенные оленем рога, но брать их не стал, остановился в нескольких шагах от вершины, потом повернул назад.

Тома (с вызовом): — Ты *всегда* такой! Остановишься в шаге, а дело до конца никогда не доведёшь!

Я не успел досказать, что, спустившись немного по сопке, вернулся-таки назад и суеверно потрогал рога, — не стал её разубеждать. Тем более что по большому счёту она права: во многих делах замираю на последнем шагу, не делаю его и не всегда нахожу для этого причины и отговорки.

АВГУСТ

24

четверг

Мироздание (которое иногда именуют Библиотекой) состоит из неопределённого, а быть может, и бесконечного числа шестиугольных балконов, снабжённых посередине большими вентиляционными люками и обрамлённых низкими балюстрадами. С каждого из этих шестиугольников, насколько достигает взгляд, видны верхние и нижние этажи Библиотеки. Устройство балконов неизменно: двадцать пять полок, по пять на каждой стороне шестиугольника, покрывают все стены, кроме одной; их общая высота, совпадающая с высотой самого этажа, не превышает высоты полок в обычной библиотеке. Свободной стороной балкон выходит в узкий коридор, который упирается в другой бал-

кон, похожий на первый и на все остальные. Направо и налево от коридора — два маленьких помещения. Первое из них позволяет спать стоя, второе — удовлетворять естественные потребности. Посреди между этими двумя помещениями проходит винтовая лестница, чей спуск и подъём теряются из вида. В коридоре имеется зеркало, добросовестно удваивающее все явления. Многие заключают, что Библиотека не бесконечна, ведь будь она поистине бесконечна, зачем понадобилось бы это иллюзорное удвоение? Я однако предпочитаю тешиться мыслью, что полированные поверхности находятся здесь, чтобы предвосхитить бесконечность и обещать её... Некая разновидность сферических прозрачных плодов, называемых «лампами», обеспечивает освещение. Числом по две на шестиугольник они расположены перпендикулярно коридору и испускают свет удовлетворительный, неизбывный.

Подобно всем служащим Библиотеки, в молодости я путешествовал: совершал паломничества в поисках книги, быть может, и в поисках каталога каталогов; теперь же, когда глаза мои едва могут разобрать мною написанное, я приготавливаю себя к смерти лишь в нескольких километрах от того шестиугольника, в котором родился. Когда я умру, найдутся благочестивые руки, которые сбросят меня с балюстрады; могилой мне станет бездонная воздушная пропасть; моё тело будет долго падать и разлагаться и наконец развеется ветром, вызванным его бесконечным падением. Ибо я утверждаю, что Библиотека нескончаема. Идеалисты доказывают, что шестиугольность помещений есть необходимая форма абсолютного пространства или, по меньшей мере, присущей нам интуиции пространства. Они полагают, что треугольное или пятиугольное помещение было бы непостижимо. (Мистики заявляют, что в экстазе им открывается круглая комната с огромной круглой книгой, чей вогнутый корешок непрерывно тянется вдоль

всей окружности стены, но их свидетельства сомнительны, а слова темны: эта циклическая книга есть Бог.) На данный момент, однако, я довольствуюсь повторением классического определения: «Библиотека есть сфера, центром которой является любой шестиугольник, а поверхность которой недостижима».

(Хорхе Луис Борхес. Вавилонская библиотека // Часы, № 9, 1977)

АВГУСТ

25

пятница

Здесь седины как пыли, и в пыли не разглядеть, сколько здесь людей, «красной пыли», терракотовой. Ясно только, что много. Характерное жужжание безумия, его звук в первой палате — зен дене.

Как долго нужно разрушаться похожему на комод старому зданию жёлтого дома, ремонтироваться и модернизироваться, пока оно не займёт своего места в природе окружающей, не сольётся, проще говоря, с этим местом...

Созвездие забора на белых столбах густых яблонь, буйных, полной луны, этой земли и яркой звезды выше и много правей в тёмном небе — здесь.

Чёрные хлопья выбоин на линолеуме под мрамор светло-сером, осыпающаяся побелка на окнах.

В одну из первых ночей мне приснились две сияющие золотые короны над красно-бело-синей эмалью или муаром фонов гербов. Одна императорская, а другая? Не знаю. Гатчина.

Кладбище сумасшедших называется Лобановские кусты...

Я забыл записать, что к тридцати годам у меня в полной мере развилось только чувство ответственности за то, что я делаю. Она одна продолжает накапливаться во мне ровно и полно.

(Леон Богданов. Шесть писем из больницы)

Предложил Игорю издать несколько книг ламы Чогьяма Трунгпы, которые перевёл фон Бок, получил согласие и зашел с одной из них («Преодоление духовного материализма», издательство «Шамбала») на Владимирском. Не успел перевернуть первую страницу — стук в окно: пришёл Валера Зеленский, привёл незнакомого американца по имени Байрон Браун. Тут же перебрались дружелюбно на кухню — с разговорами, вином и закуской; среди прочего упомянул о ламе, принёс книгу; Байрон не на шутку разволновался и немедленно достал из портфеля такую же, только на английском — оказалось, он связан с издательством «Шамбала», приехал как раз оттуда, и мы, не отходя от кухонного стола, взялись сочинять в издательство письмо с просьбой разрешить нам издать перевод. Неслабое совпадение.

АВГУСТ

26

суббота

Я на воле, вольным стал
Мысли словно волны в сталь
И от этого «на воле»
Только глубже море боли
Лиц мелькают острова
И слова, слова, слова...

(Валентин Соколов З/К, 1961)

АВГУСТ

27

воскресенье

Начиная читать новый курс, Гегель обратился к студентам:

— Господа студенты, из слушавших меня в прошлом семестре только один понял смысл моих лекций. Но и тот неправильно.

АВГУСТ

28

понедельник

АВГУСТ

29

вторник

Познать женщину, как видно из внутренней формы слова, значит оставить на/в ней свой знак, клеймо, тавро, обозначить — в данном случае посредством спермы-знака, то есть не столько прочесть её как знак и открыть его смысл, сколько впечатать свой знак в женщину, присвоить, сделать узнаваемой (через рождение похожего на отца ребёнка) собственностью.

Первое познание женщины мужчиной — в идеале — дефлорация, обозначенная кровью. Впрочем, этот знак (кровь) держится недолго, хотя именно его (ночную рубашку в крови) демонстрировали свадебным гостям после первой брачной ночи, доказывая/указывая тем самым о её «познанности». Иначе говоря, знака познанности оказывается два: кровь во-вне (для общества) и сперма внутри (для продолжения рода).

АВГУСТ

30

среда

Раз я видел новое жнитво: не мужик, а рабочий сидел в чём-то, ни — телега, ни — другое что, её тянула пара лошадей; колымага колыхалась, и мужик в ней колыхался. А справа и слева от колымаги, как клешни, вскидывались кверху не то косы, не то грабли. И делали дело, не спорю, — за двенадцать девушек. Только девушки-то эти теперь сидели с молодцами за леском и финтили. И сколько им ни работает рабочий с клешнями, они всё профинтят.

Выйдут замуж — и профинтят мужнее.

Муж, видя, что жена финтит, — завёл себе на стороне «заснобушку».

И повалилось хозяйство.

И повалилась деревня.

А когда деревни повалились — зачернел и город...

(Василий Розанов)

Мальчик гоняет пчёлку
пчёлка летит от него
В этом не видно толку
но и сквозит торжество

Дальше видна панорама
дом с голубым окном
и молодая мама
с белым мечтательным псом

Кто вспоминает собаку
тот обо мне вздохнёт
Но через всю аллею
белый женский живот

(Эдуард Лимонов)

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

1

пятница

В течение нескольких дней в долине Усть-Урта, избранной для жительства, работали только двое людей — Чагатаев и Айдым; остальные люди дремали в пещерках, которые они нарыли себе для ночлега в склонах долины, ловили черепах и готовили из них себе пищу, но ели мало, почти неохотно, и раз в сутки ходили на озеро пить воду. Три овцы и барана Чагатаев не велел трогать; он их оставил в запас, на крайнюю нужду. Назар пересчитал людей — кто жив, кто умер — и увидел, что не хватает одного ребенка — трехлетней девочки. Никто не мог ему сказать — ни отец её, ни мать, ни прочие, где исчезла, умерла одна незаметно эта маленькая девочка, небольшой человек. Никто не запомнил, когда она была задута ветром и песком в пустыне и отошла от рук...

Чагатаев и Айдым стали носить глину для постройки первой курганчи, но им никто не помогал в работе. Когда Чагатаев привёл работать Суфьяна и Старого Ваньку, как наиболее здоровых, то они отнесли два раза глину, а потом перестали. Они сели на землю и задумались, хотя по старости лет имели время уже всё передумать и прийти к истине.

Тогда Чагатаев собрал всех людей и спросил их: имеют ли они намеренье жить? Никто ему ничего не ответил...

Многие бледные глаза глядели на Чагатаева с напряжением, чтобы не закрыться от немощи и равнодушия. Чагатаев почувствовал боль своей печали, что его народу не ну-

жен коммунизм, — ему нужно забвение, пока ветер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве. Чагатаев отвернулся ото всех; его действия, его надежды оказались бессмысленными. Нужно взять Айдым на руки и уйти отсюда навсегда. Он ушел в сторону и лег там в землю лицом. Он понимал, что, куда бы он ни ушёл отсюда, он снова вернётся обратно. Ведь его народ — наибольший бедняк на свете: он растратил всё свое тело на хошарах и в нужде пустыни, он отучен от цели жизни и лишился сознания и своего интереса, потому что его желание никогда, ни в какой мере не осуществлялось, народ жил благодаря механическому действию своей скудной, ежедневной пищи — из черепах, черепаших яиц и мелкой рыбы, которую он начал ловить в том водоеме, из которого пил воду. Осталась ли в народе хоть небольшая душа, чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там давно всё отмучилось и даже воображение — ум бедняков — всё умерло?.. Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом. И насильное уродство души продолжается, усиливается всё более, пока разум в рабе не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа святого», заключенного в рабе; причем хула на то, во что верит сам господин — на его душу и Бога, — никогда не прощается, душа же раба подвергается истиранию во лжи и разрушающем труде. Чагатаев помнил рассказ Старого Ваньки, как он однажды в Хиве, на дворе мечети, хотел убить павлина, чтобы продать его потом на чучело русскому купцу. В поспешности Старый Ванька бросил камень в павлина — в священную птицу, но не попал. Вдалеке, среди растительности, показался сторож или посторонний человек. Старый Ванька схватил в руку что попало ему среди кустов и запустил в голову павлина этим предметом. Павлин сразу проглотил,

скормился тем куском, какой бросил в него Ванька, и потом закричал своим подлым прерывистым криком, а Старый Ванька кинулся к нему, чтобы задушить его вручную, но не управился, потому что явившиеся мусульмане схватили Старого Ваньку, вытащили на улицу и начали бить, пока не решили, что он уже мертв, и тогда его бросили в бездействующий арык. Пока его увечили, Старый Ванька, держа руки на лице, понял по запаху своих рук, что он второй раз ударил священного павлина куском засохшего кала. Старый Ванька выполз из канавы живым, но любил затем швырять во всех летящих и сидящих птиц чем-нибудь нечистым, особенно если это были голуби, — пока по истечении многих лет не потерял интереса к такому занятию.

Над головой Чагатаева засопело какое-то животное, он подумал — это овца. Но животное схватило пастью ухо Чагатаева и стало тереть его во рту между беззубыми деснами. Это была та же яростная и малосильная собака, которую Чагатаев видел в поселении своего народа на Амударье. Она не была с людьми в пустыне, она отбилась где-то или, может быть, осталась караулить одна покинутое становище, а потом, соскучившись, прибежала прямой дорогой в Сары-Камыш, где она тоже, очевидно, жила в прежние годы. Чагатаев взял собаку за голову и пригнул её к земле, чтоб она легла. Собака покорно легла; она дрожала от утомления — старая, дикая, не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь и всё ещё уверенная в блаженстве своего существования, потому что в самом терпении её, в худом дрожащем теле было добро.

Собака уснула рядом с Чагатаевым. Айдым одна месила голыми ногами глину, таская воду в бурдюке за два километра. Когда Чагатаев очнулся, кругом него сидело несколько человек людей, которые ожидали его пробуждения. Суфьян, самый старший человек, сказал Чагатаеву, что народ теперь нарочно не имеет души, не знает своего намерения, не льстится на лучшую пищу, он греется са-

мым слабым теплом своего сердца, а сердце получает это тепло из травы, из черепах, из рыбы, из костей самого человека, когда ему нечего есть.

(Андрей Платонов. *Джан*)

Так и не знаю до сих пор толком, какой у Сатурна металл — свинец, олово или какой-то третий, но *хочется*, чтобы свинец. Так для себя волевым усилием (обычный способ возместить незнание энергией) и постановил: свинец! Ну, а когда постановил, давнишняя мечта алхимиков-психологов о превращении свинца в золото обрела дополнительное мифо-астрологическое измерение: самая далёкая видимая планета свинцовый Сатурн ревностно жаждет возгореться золотой звездой, превратиться в новое Солнце, стать центром планетной системы, уже не Солнечной, а *Сатурновой*.

→ 25 сентября: Еврейский бог

Своё нередко хуже помнится, чем постороннее; Валера Савчук как-то упомянул (я *нагисто* это забыл) моё давнее приветствие: «Где был? Что видел? Что придумал?», которое когда-то привело его в восторг этим приставучим «Что придумал?», как будто бы требующим, чтобы за время расставания мы что-то непременно придумали, своеобразное *veni, vidi, vici* в вопросительной форме, где «придумал» заменяет интеллигенту-мыслителю-поэту «сделал» и отчасти «победил».

Валера жил на Малой Охте рядом со мной, я ходил к нему в гости едва ли не в тапочках, и в первую встречу разговор у нас зашёл о пророке, который произносит Божии пророчества, но записать не может, так как, занявшись записью, процедурой мира сего, утрачивает связь с высшим — и потому нуждается в секретаре-записчике. Я вспомнил и горячо по-

СЕНТЯБРЬ

2

суббота

СЕНТЯБРЬ

3

воскресенье

хвалил (автора забыл) читанную мной когда-то статью из «Беседы» как раз об этой паре (изрекающий Иоанн — записывающий Прохор); Валеру моя похвала почему-то смутила, а к концу разговора стало понятно почему: упомянутую статью *он и написал*. Отличная ситуация, обратная той, что представлена в басне «Кукушка и петух»: расхваливать имяреку некий труд, о котором не знаешь, что он принадлежит имяреку. Увы, чтобы эти похвалы не превратились в ложь и лесть, надо обладать воистину склеротической, или хотя бы выборочной, «дырявой» памятью.

Саша Скидан писал в 1996 году о нашей двухгодичной давности поездке в Ювяскюля: «Останин заметил, что слово „исчерпать“ <о задаче литературного критика> исчерпало себя и что настало время подыскать иную риторическую фигуру» и тут же добавляет: «Я убеждён, что Останин не помнит этого эпизода». Именно так, не помню, это он, как раньше Савчук, запомнил и удержал. Хотя остаётся непростой вопрос: а нужно ли это было делать?

Трудность в том, чтобы отыскать своё место и обрести сообщение с самим собой. Всё дело в том, что вещи некоторым образом выпадают хлопьями, в том, что все эти умственные самоцветы сосредоточиваются вокруг некоей точки, которую как раз таки и нужно найти.

И вот, вот что я думаю о мысли:

БЕЗУСЛОВНО ВДОХНОВЕНИЕ СУЩЕСТВУЕТ.

И имеется фосфоресцирующая точка, в которой обретается вся реальность, но изменённой, превращённой — чем же? — точка магического пользования вещами. И я верю в ментальность аэролиты, в личные космогонии.

Знаете ли вы, что означает приостановленная чувствительность, тот сорт ужасающей и разделившейся напополам жизненности, та точка необходимого сцепления, до

которой существо уже более не возвышается, то грозное место, то укреплённое место.

Дорогие друзья.

То, что вы приняли за мои произведения, не более чем мои собственные отбросы, те ошмётки души, которых нормальный человек не принимает.

Для меня вопрос не в том, отступил или надвинулся с тех пор мой недуг, он в боли и дрящемся упадке сил моего духа.

Я как раз вернулся из М..., где вновь обрёл ощущение оцепенения и головокружения, эту внезапную и безумную потребность в сне, эту неожиданную утрату сил вместе с чувством огромной боли, мгновенным отупением.

Вот у кого в духе не затвердевает ни одно место, кто вдруг перестаёт чувствовать свою душу слева, со стороны сердца. Вот для кого жизнь — некая точка, для кого ни душа не имеет срезов, ни дух начал.

Я слабоумный — по упразднению мысли, по природённому недостатку мысли, я пустую из-за оцепенения своего языка.

Прирождённый недостаток, нелепое нагромождение определённого числа тех стекловидных корпускул, которые ты столь опрометчиво пускаешь в ход. В ход, которого ты не знаешь, при котором ты никогда не присутствовал.

(Антонен Арто. Нервометр, отрывок // Часы, № 64, 1986)

1.

Одновременно горько и легко
с пустой душой на корабле военном
по жизни плыть, оставив далеко
тебя, себя теряя во вселенной.
Судьбы твоей едва приметен след,

как бы волос едва коснулась проседь.
В твоём саду, кого там только нет!
Нет никого, и сад не плодоносит.

2.

Сулит фонарь, высвечивая тьму,
тому — любовь, тому — мороку блуда,
тому — печаль, тому — подобье чуда,
тому — покой, а счастье — никому.
Упрячет ночь и церковь, и тюрьму,
и пастуха, и пастбище, и стадо,
и кладбища невзрачную ограду
в прозрачную огромную суму,
схоронит всё, но другу моему
не принесёт ни грусти, ни отрады,
ни отдыха — всё это ни к чему.
Ему теперь в пустоцветенье сада
ни забытья, ни памяти не надо,
и сада нет, всё падает во тьму.

(Нина Самойлович, 1977)

Редактировал книгу, в коей переводчик (ему в оправдание, не профессионал, по жизни занимается совсем другим, первый опыт перевода) по-своему изящно *перевёл фамилию* киевского математика: Дмитрий Могила. Я поначалу ноль внимания: Могила так Могила, тем более что киевлянин. Потом насторожился, полез в оригинал: там Grave_Е, действительно «могила», Грейв, но ведь имя собственное, зачем его переводить? Сомнение опять разыграло, ищу дальше: Grawe_Д — известная немецкая фамилия! Вероятно, из балтийских немцев и киевский математик Дмитрий Граве, и изобретатель «катюши» Иван Граве и др. Короче говоря, выполнил, как сумел, редакторский долг: рокировал-таки Могилу в Граве.

Партия, получившая на демократических выборах большинство голосов и не совершившая крупных ошибок, нередко удерживается у власти за счёт инерции электората, отдающего свои голоса тому, за кого он уже голосовал. Есть вариант чередования у власти двух крупнейших партий, наподобие республиканцев и демократов в США. Что касается малых партий, то приход их к власти в некризисное время оказывается при таких выборах маловероятным, а то и невозможным.

Большинство в демократической стране снова и снова побеждает только потому, что оно большинство. Справедливо ли это? Почему бы не позволить «порулить» не только крупным, но и средним и даже малым, но уже *давно* существующим партиям и, так сказать, одобрить *факт и продолжительность их существования*, предоставив им повластвовать пропорционально их численности.

Представим себе большое литературное жюри, в котором 50 человек постоянно, из года в год, голосуют за «традиционную» литературу (что бы под этим словом ни понимать), а 49 — за «новаторскую», и вот благодаря перевесу всего в один голос традиционные литераторы *из года в год* получают премию, а новаторы остаются обойдёнными. И вдруг (чего только в жизни не бывает: с ума сошёл, «глаза открылись», жена подговорила) один из традиционалистов стал вдруг регулярно голосовать за новаторов. Ситуация изменилась на диаметрально *противоположную*: теперь новаторы за счёт перевеса в жюри *всего в один голос* год за годом получают премию: «мы опять победили со счётом 50:49), выхода из порочного круга, казалось бы, нет. По крайней мере в политике, где приход к власти партии меньшинства означает порой реальный риск для выживания «народа в целом», но когда речь идёт о литературной премии, где вкусы субъективны, а ставки не столь судьбоносны, вполне можно поэкспериментировать с *временной* (пропорциональной численности) властью *малых групп*.

Ха-миллион

СЕНТЯБРЬ

8

пятница

Объяснил Андрюше (около трёх лет), что 100 — это *большое* число, 1000 — *очень большое*, а *самое большое* число — 1 000 000, миллион.

Он, недолго думая: Я знаю больше.

— Какое же?

— Ха-миллион! (Он сказал с громким придыханием: Ха!миллион)

На следующий день: Есть ещё больше.

— ?

— Рыба.

После чего последовало ещё одно «самое большое» число под названием «могила».

Потом пытался сочинить ещё несколько «очень больших чисел», но сам же признался, что они *не самые* большие: фургон и башня.

(2004)

СЕНТЯБРЬ

9

суббота

Два «главных», но не единственных домашних животных бога: *козёл* и *бык*, хотя есть ещё и дикие звери и птицы: лев, орёл, медведь... Европейское Gott/God, возможно, «происходит» от goat (коза), а Gut/Good (добро, богатство) — производное от него.

В русском языке Бог — от бык, богатство — производное.

Козий бог — то ли чужой, то ли слишком древний — помещен в христианстве знаком минус, демонизирован: дьявол вслед за отринутым Паном наделён козлиным обликом (рога, копыта, хвост).

Бычий бог — до сих пор удерживается в индоевропейском ареале как бог (Зевс-бык, священные индийские коровы).

Современное *мирское* сознание, озабоченное добыванием, накоплением и складированием, охотно возводит Бога к богатству, а не наоборот, как это делает религиозное сознание: Бог не потому Бог, что происходит от блага-богатства, а благо потому благо, что исходит от Бога.

Абрам Григорьевич интересно рассказывал о своей много-событийной жизни, а однажды дал почитать воспоминания. Его отец работал нейрохирургом, если не путаю, в Кремлёвской больнице, где пользовал местную партийную братию.

В 50-х годах он подружился с Вольфом Мессингом, лечил его, принимал дома и знал, что Мессинг способен *на гораздо большее*, чем угадывание мыслей и перемножение больших чисел на эстраде. Однажды Григорий спросил у Вольфа, нельзя ли каким-то образом связаться с его братом Лазарем, который находился в Сибири, в заключении. Мессинг подумал и сказал: «Можно с ним поговорить».

Через некоторое время раздаётся стук в дверь — входит Лазарь, в ватнике, сапогах, шапке-ушанке, едва ли не в снежинках... Немая сцена. Лазаря усаживают за стол, кормят, поят чаем, жадно беседуют. Минут через тридцать гость извиняется, говорит, что ему пора, и уходит.

Ещё рассказывал Абрам Григорьевич (не знаю, откуда ему это известно, вероятно от отца): Мессинг был *последним*, кто в конце февраля 1953 года посетил Сталина и просил вождя «не трогать мой народ». Услышав это, я — в своём скоропалительном духе — немедленно возопил: «Так Мессинг его и убил!» Не совсем убедительная догадка о смерти вождя, но не хуже, в отсутствие точных сведений, других.

Византийской пчелы
свет погас, заострил небосвод.
Клюнул бес — не попал,
жаркий голубь терзает предплечье.
От молдавских борозд
до Гостилицких вылитых сот
твердь, как есть, сожжена
прекословной все-ленной речью.

И чадит мотылёк,
соль ночей выбирая с души,
между чёрным шитьём
и коробкой визгливых иголок...
Тише, мать, подожди,
ради Бога, прошу, не спеши
сон жалеть, кровь смягчать.
Это голос его, мама,
голос.

(Пётр Чейгин)

СЕНТЯБРЬ

12

вторник

Подробнее образом я умножал вещь на вещь: гвоздь в стене, резьба на дверцах письменного стола, чернильный прибор из мрамора, на котором однажды пролежал долгое время кусок отцовского пальца — нетленный. Бумаги в ящиках. Подолгу останавливался на том, как открывалось окно, в какую сторону. Какие особенности были у каждой рамы, как они скрипели, когда дул ветер, хлопали, когда перед дождём налетал ветер и мелким сухим листом сёк стекла... запах мокрый. Всего лишь незначительная часть громоздкого, утомительного описания. Уже ненужного. История окончена, как говорится, приступим к её прочтению. Потому что, расхаживая по комнатам, проходя сквозь бесчисленные двери, возвращаясь, выходя и вновь входя... Ни слова о памяти. Отвергли её в самом начале. В каком начале? Обжигаящая чашка какао? Куст сирени, жасмина?

Хотя... возможно, я иногда прерывал хождения, останавливал карандаш, смотрел безвольно — вечер являлся из числа многих, что были. Любопытно, что когда писал, останавливался, цепенел — со стороны видел, как ложится на моё чужое лицо надменная, вросшая ныне (и хочу верить до конца уже) надменная гримаса. Зелёная лампа, звон чайных ложечек, лилии медовые в высокой стеклянной вазе,

ласковые отсветы на лице бабушки, шёпот её: «Ох, и пришлось... дед тогда не то, что теперь... брат был... а он и говорит...» Вероятно, многих слов не понимал, а многие не нужны были, ибо не настал ещё для тех вещей срок, когда потребовали бы они имён. А потом — другие комнаты, куда свет проникает уже сам по себе, не освещающий, но на который смотреть можно — не светом видеть, но на свет смотреть. Так кто-то в полночь приезжал, и голоса за дверью, свет полосой под дверью на полу, скрипящий пол. Так приезжали. Когда они приедут? Когда пойдёт дожди.

И моя кровать у окна, плывущего в аквариуме высокого зеркала, а в окне дрожит, трепещет, переливается белоогненная точка звезды. Песчинка во сне, соль на языке — спустя много лет я чудом отыщу её, и дождь, и сонную прелесть отражений в стихах одного пьяницы (он скажет, а потом забудет): «Здесь первая ступень к Полярному престолу, здесь летней ночью сонна белизна, а в небесах, как ни ищи — ни облака, ни дна. А в небесах чуть тлеет снежный Вечер, горючей солью шорох у виска, случается, замрёт — и тишина и воды в туман зеркальный слиты у окна. В туман зеркальный слиты рукава недвижимой реки, — бледнеющий шиповник не шелохнётся в мраморных садах... Здесь август бел, как известь на холмах прочитанной Флоренции, когда чума, когда? когда?» И ладно, что забудет, не его забота помнить, выслушивать упреки в подражании, эпитонстве.

Песчинка во сне, соль на языке, соль «на виске».

И тогда, когда затихло в комнатах, я спасался от звезды, перебегая к Соне, и она шёпотом спрашивала, протягивая руку, нащупывая мою ладонь (будил её), почему не сплю, опять звезда? что видел днём... Или быстро-быстро, чтоб не слышали, шуршали, словно песок в часах, о странах ещё непонятных, но более близких, чем теперь, о которых по вечерам отец иногда вздумывал нам рассказывать, откидываясь на спинку кресла, — сказки, сказки, ту-

манные, неясные. Я ложился у стены, а Соня отодвигалась к краю. Коленями я ощущал, как прохладно она жива — «Согреться не могу...» — шурша смеялись. Скрипели тонко дверью, выбираясь, — она в платке пуховом на сорочку, — на кухню, к окну, в котором снег. Снег зимний, ночной, радужный. Летом — фонарь.

(Аркадий Драгомощенко.

Расположение в домах и деревьях)

СЕНТЯБРЬ

13

среда

Трое в сочинской гостинице: русский, грузин и чукча. Русский и грузин завершают сезон, поистратились, чукча только что приехал, с деньгами.

Грузин: — Эх выпить бы, да денег нет!

Русский (грузину): — Сейчас будут. (Чукче.) Слушай, дорогой, хочешь загадку загадать: отгадаешь — три рубля тебе, не отгадаешь — три рубля мне.

Чукча: — Хочу, однако.

Русский: — Так слушай: красненький, кругленький в огороде висит, что такое?

Чукча: — Оленья?

— Нет.

— Тюленья?

— Тоже нет.

Чукча (задумавшись): — Не знаю, однако, а что?

Русский: Помидор.

Чукча (кивает головой): А, понимаю!

Протягивает русскому три рубля.

Русский (грузину): — На вино есть, на закуску не хватает. Чукча, хочешь ещё одну загадку?

Чукча: — Хочу.

Русский: — Отгадай: два красненьких, кругленьких в огороде висят, что такое?

Чукча: — Два оленья?

— Нет.

— Два таленя?

— Нет.

Чукча (растерянно): — Не знаю, однако, а что?

Русский: Два палидора.

Чукча (кивает): — А, понимаю!

Отдаёт русскому ещё три рубля. Тот вручает их грузину и отсылает того в магазин. Через какое-то время, отстояв очередь, грузин возвращается с вином и закуской и видит: на столе перед русским куча денег, напротив сидит невозмутимый чукча, русский, утомлённый однообразным трудом, спрашивает:

— 98 красненьких, кругленьких в огороде висят — что такое?

В середине 1960-х, точнее не помню, активно ходил в кино, театр, филармонию. Случилось как-то, посмотрел «Обыкновенный фашизм» М. Ромма и в тот же вечер брехтовскую «Карьеру Артура Уи» в постановке Аксера — головоломная насыщенность. Такая же насыщенность до головной боли случалась не однажды; в 1971 году, если память не изменяет, когда жил на улице Чехова, посмотрел за несколько дней (в ДК Кирова, в Доме дружбы народов, где-то ещё) кучу польских фильмов («Пепел и алмаз», «Всё на продажу» и «Березняк» Вайды, «Кардиограмму» Залуского) плюс к ним изрядно вырезанного и перекадрованного «Конформиста» Бертолуччи, «Кеймаду» Понтекорво — всё с той же головной, сердечной и зрелищной уплотнённостью. «Пустыня Тартари» («Татарская пустыня») Дзурлини — это уже позже, разрежённее, середина 1970-х.

СЕНТЯБРЬ

15

пятница

«Ангел спас мученицу Феодосию от потопления, после чего она была *усечена мечом*». «Правитель приказал бросить святого в озеро. Но Власий по воде пошёл как посуху. Тогда Агриколай приказал усекнуть святого Власия *мечом*». Меч оказывается тем оружием, от которого не спасают и ангелы, — «настоящая смерть».

В *Житиях* много тому примеров. Знать бы, что это значит.

СЕНТЯБРЬ

16

суббота

В четыре утра дежурный по части старший лейтенант Степаненко принял сигнал «тигр-2» и поднял дивизион по тревоге. Через несколько минут начальник штаба майор Кричевский в присутствии командира сломал сургуч, развернул бумаги и вручил Ткачу со словами: «Командир, это, к сожалению, опять не война». Тот поглядел в бумаги и сердито рявкнул:

— Не стройте из себя идиота, займитесь делом: снимайте с хранения батарею Мацаля — район сосредоточения номер три.

— Скажите об этом зампотеху, — невозмутимо парировал начальник штаба и отправился в секретную часть, мурлыча себе под нос: район сосредоточения номер три — нос подотри, район сосредоточения номер один — приехал гражданин.

Когда тех раз загнали по тревоге в этот самый «номер один», то действительно приехал со штабными какой-то гражданин без знаков различия и вручил ему, начальнику штаба, пакет, который следовало по команде вскрыть в воздухе, — ох, лучше не вспоминать, как они сидели с этим добром трое суток. Но теперь-то — номер три, а это — фигня!

Проходя мимо первого поста, он остановился и спросил у часового:

— Ефрейтор, какой сегодня день?

— Суббота, товарищ майор.

— Суббота? — притворно удивился Кричевский и зло-
радно ухмыльнулся: — Ну, раз суббота — соси у бегемота.
Доложи своему командиру, что я объявил тебе трое суток
за разговоры на посту. Кто у тебя командир?

Но часовой закатил в потолок глаза и ничего не ответил.

— То-то! — погрозил ему пальцем Кричевский и пошёл
дальше, оставив раздолбая в недоумении: как он, осёл, по-
пался? Ведь этот, как говорит Доктор, весельчак уже, навер-
ное, весь дивизион переловил на свою дурацкую удочку.

На следующий день начались учения. Доктор сказал:

— Было бы удивительно, если бы они не начались, —
Чернов знает, когда пропадает.

— Что вы имеете в виду? — не понял Ткач. — Давайте
ближе к делу. Сразу хочу предупредить: если вчера нам бы-
ло важно, где он, то сегодня это нас уже не интересует, по-
тому что завтра нас спросят «почему», и это «почему» нам
нужно узнать сегодня.

— Одну минуту. Позвольте всё по порядку. Вполне есте-
ственно, что нам с вами было непонятно, почему Чернов
исчез вообще, почему он исчез именно сейчас, а скажем,
не в марте месяце, когда мы сидели трое суток в чистом по-
ле? Помните, мы ещё гадали: для чего эти таинственные
маневры? Вы ещё заметили, что на военной службе нет ни-
каких тайн, а есть только придурь командования. Нам было
смешно — тогда ничего всерьёз не принималось. Как Кри-
чевский говорит: какая война? Если мне не изменяет па-
мять, какая-то война уже была, и мы, говорят, в ней побе-
дили. Ведь только потом, когда вернулись в расположение,
нам кое-что рассказали, и мы ещё неделю спали в сапогах
и занимались какой-то «американской» подготовкой, кото-
рую до этого видели только в кино. Нам только тогда ста-
ло ясно, как всё повернулось и что не сегодня завтра нам
предъявят счёт за дармовые харчи и сапоги, что мирное
время не исключает боевые действия, о чём мы совершен-
но не подозревали. Но мы к этому быстро привыкли и ста-

ли даже забывать, едва кончилась катавасия, а он не смог и, когда почуял новую заваруху, — сбежал (очевидно, те, у кого мышь в голове, обладают даром предвидения).

— Вы хотите сказать, что он чего-то боится?

— Да. Он опасается, что ему придётся рассчитывать раньше других. Вы же слышали, какие ходят разговоры.

— Но ведь это же — бред!

— Это для вас — бред, а у него — мышь в голове, — спокойно ответил Доктор.

— Вам не поверят, Доктор, это не пройдёт: нам нужно наверняка.

— Поверят. Со времен римских легионов, которые поддерживали честь оружия при самых ничтожных императорах, есть один закон: победителей не судят.

— Ха! — рассмеялся Ткач. — Хотел бы я видеть трибунал, который судит побеждённых, — они же мёртвые!

*(Сергей Коровин. Приближаясь
и становясь всё меньше и меньше //
Часы, № 54, 1985)*

→ 5 ноября: Натараджа

СЕНТЯБРЬ

17

воскресенье

Самый устойчивый цвет — серый: *обратный* цвет к серому серый, то есть в определённом смысле он является нулём, по крайней мере *устойчивым* элементом, аналогом инертной «земли».

Если смешать все цвета, получится нулевой серый.

Увы, цветовая алгебра неполна: прибавление серого (кандидата в нули) к любому цвету не оставляет тот неизменным; не уверен, что нулевой цвет, за вычетом *прозрачного лака*, вообще существует.

Серый — цвет книжного листа (белый лист + чёрные буквы), *цвет книги*, и, как следствие, цвет книжника. Срв. недостаточная цветовая проявленность протестанта, склонного к серому цвету, и сопутствующие ему воробей и мышь (Mickey Mouse).

Соло/solo (sol_L, солнце) и моно/mono (mens_L, moon_E, Mond_D, Monat_D, month_E, месяц) — два типа одиночества: *солнечное*, творческое, львиное и *лунное*, «второческое», нарциссическое.

Соло-сознание, управляемое Солнцем и ему посвящённое, связано с реализацией, плодовитостью, царственностью («Ты царь, живи один» — в смысле: соло). Моно-сознание, управляемое Луной, связано с фантазией, демоническим, сублимацией, с «людьми лунного света».

Возможно, некоторые артикли и числительные происходят из слов, обозначающих Луну: moon — oon — un; mens — ens — eins; luna — una, un; la... А как же солнце? Срв. русское *раз* — от Ra/Солнце? То же солнечный артикль (показатель единственности вещи) (S-un, Sol-eil) и «лунный» (L-una). Луна — лоно, Елена. Месяц — разум (mens_L) и мужчина (man_E, Mann_D). Но здесь обычная проблема: букв в алфавите и их комбинаций *слишком мало*, что позволяет манипулировать ими, натягивать нужные смыслы, так что «лучше и не начинать».

Solo-mono (Солнце и Луна) = Соломон, величайший мудрец. Срв. Вейнемейнен/Дед-да-Баба у А. Волохонского (→ 31 марта).

Сказ о жёнах скоморошых

Две жены у скомороха —
 Воздержание и Девство.
 Днём, когда распутник пляшет,
 Веселя народ мохнатый,
 Две жены, как два потока,
 Возвращаются к Началам.
 Вот одна из них — кокотка
 И в любви неудержима,
 Воду нежно из кувшина
 В амфору переливает,
 Над водою наклонившись,
 Чтобы капля не пролилась

На песчаный брег; другая
Шлет послание Господствам:
Господари, Господари,
Назначайте время жатвы!
Мир набух, Мошна набрякла,
Приготовилась Невеста,
Скоморох устал плясать.
Возвращаются подруги
К дому мужа-скомороха;
Смоквы спелые в кошницах,
Рыбы, свитки золотые,
Горькие в устах пророка,
Но сладчайшие во чреве.
Скоморох их так встречает:
«Ну, показывайте, бляди,
Чем вы там прибарахлились?
О ленивицы, вам только б
Поблудить в мечтах спросонок,
При живом да грозном Муже
Помечтать о Женихе».
Девы молча в дом проходят,
Стол дровяный украшают
Разноцветными дарами.
«Муж любезный, всё готово».
Все садятся вечерять.
Тут пора и спать ложиться.
Скоморох с ноги снимает
Сапожок и, опрокинув,
Выливает литру крови.
(В тех сапожках скоморошьих
Есть весёлые гвоздочки —
Те, которыми когда-то
Жениха приколотили:
Потому и вышли Девы
За злодея-Скомороха).

Муж ложится, рядом — девы.
 Жестока, тесна скамейка.
 Только девы вид видали —
 Им на это наплевать.
 Завернув свои подола,
 Наподобье смирной Руфи,
 Ластятся и льнут к плясавцу,
 Шепчут странные слова.
 Так, к утру утомившись,
 Все встают и — на работу:
 Скоморох в своих сапожках
 Веселить народ мохнатый,
 Девы вновь к своим Истокам —
 Помечтать о Женихе.

(Александр Миронов)

Чаша — это *вместилище*, женщина; в архаике — череп врага, из которого пили (его) кровь, как после убийства по-едали его мозг, чтобы магически приобщиться к мудрости и мощи убитого. Святой Грааль (gradalis, чаша) = Sang Real = Sang Royal: простая перемена словоразделов и огласовки превращает невнятный «святой Грааль» (что за Грааль?) во вполне реальную «истинную (и даже королевскую!) кровь».

Тема чаши и крови бесконечна.

Гурджиев упоминает где-то о Крите как о центре мира и о том, что порядок письма определяется ориентацией на воображаемой карте на Крит как на *луп мира*, притом что восток на ней расположен по-старинному — вверху, а север — слева.

К северу от Крита (европейцы) пишут слева направо:

1 → 2

3 → 4

СЕНТЯБРЬ

20

среда

СЕНТЯБРЬ

21

четверг

К югу (семиты) — справа налево:

$$2 \leftarrow 1$$

$$4 \leftarrow 3$$

К востоку (китайцы) — сверху вниз:

$$1 \quad 3$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$2 \quad 4$$

К западу («атланты») — снизу вверх:

$$2 \quad 4$$

$$\uparrow \quad \uparrow$$

$$1 \quad 3$$

На четырёх неиспользованных схемах останавливаться не буду, а тем, кто, как и я когда-то, счёл вышеизложенное дешёвым фокусом, прошу обратить внимание на особое положение центра-Крита, жители которого должны, если идея верна, писать примерно так же, как ведёт себя на полюсе обезумевшая магнитная стрелка, указывая самые разные направления. Такого рода «безумное письмо» на Крите давно обнаружено: *бустрофедон* (попеременная запись слева направо и справа налево) и *спиральное письмо* (Фестский диск). Понятно, что многим это ничего не доказывает, но...

Фома по-прежнему шёл вперёд. Словно пастух, вёл он к первой ночи стадо созвездий, скопище людей-звёзд. Они выступали торжественно и благородно, но к какой цели и под каким видом? Они всё ещё считали, что заточены в душе, границы которой хотели пересечь. Память казалась им ледяной пустыней, которую растапливало восхитительное солнце и в которой они мрачным, холодным воспоминанием, разлучённым с холившим и лелеявшим его сердцем, вновь обретали тот мир, где пытались ожить.

Хотя у них и не было больше тела, они наслаждались, обладая всеми представляющими тело образами, и их дух окармливал нескончаемый кортеж воображаемых трупов. Но мало-помалу наступило забвение. Необъятная память, в которой они предавались отвратительным интригам, сомкнулась над ними и изгнала их из этого городища, в котором они, казалось, ещё кое-как дышали. Они во второй раз потеряли своё тело. Одни — надменно погрузив взор в море, другие — ревностно храня своё имя, утратили память о речи, повторяя при этом пустое слово Фомы. Воспоминания стёрлись, и, став проклятой лихорадкой, которая тщетно тешила их надежды, словно заключённые, у которых, чтобы сбежать из тюрьмы, нет ничего кроме цепей, они пытались выкарабкаться обратно к той жизни, которую не могли вообразить. Было видно, как они в отчаянии ринулись из-за своей ограды, тайком плыли по течению, проскальзывали, но когда им уже казалось, что они на всех парах мчатся к успеху, пытаясь составить из отсутствия мысли некую более сильную мысль, которая поглотила бы законы, теоремы, мудрость, их настиг страж невозможного и поглотило кораблекрушение. Затянувшееся, тяжёлое падение: достигли ли они, как в своих грёзах, границ той души, которую считали, что пересекли? Они медленно отошли от своей грёзы и обрели столь огромное одиночество, что, когда к ним приблизились чудища, которыми их пугали в их бытность людьми, они взирали на них с безразличием, ничего не видели и, склонившись над склепом, так и оставались там в глубокой бездеятельности, таинственно дожидаясь, чтобы тот язык, чьё рождение в глубине горла чувствовал каждый пророк, вышел из моря и протолкнул в их уста невозможные слова. Казалось, что этому ожиданию, пагубному испарению, капля по капле источаемому вершиной какой-то горы, не будет конца. Но когда и в самом деле со дна теней поднялся протяжный крик, послуживший словно концом грёзы,

все вдруг узнали океан и заметили взгляд, чьи безбрежность и ласка пробудили в них желания, вынести которые они не могли. На мгновение вновь став людьми, они увидели в бесконечности дарующий им наслаждение образ и, поддавшись последнему искушению, сладострастно в воде обнажились.

Фома тоже разглядывал этот поток грубых образов, потом, когда подошла его очередь, бросился в него, но грустно, безнадежно, словно для него начиналось бесчестье.

(Морис Бланшо. Тёмный Фома)

СЕНТЯБРЬ

23

суббота

Нас всех по пальцам перечеть,
но по перстам! Друзья, откуда
мне выпала такая честь
быть среди вас? Но долго ль буду?

На всякий случай: будь здоров
любой из вас! На всякий случай,
из перепавших мне даров,
друзья мои, вы — наилучший!

Прощайте, милые. Своя
на всё печаль во мне. Вечерний
сижу один. Не с вами я.
Дай Бог вам длинных виночерпий!

(Леонид Аронзон, 1969)

СЕНТЯБРЬ

24

воскресенье

Холодный горный ключ.
На дне блестят монеты:
Их путник обронил.

(Тайро)

Еврейский бог

Богословские темы высоки и требуют изрядного религиозного чутья и богословской начитанности. В отсутствие того и другого могу довериться только догадке, Бог знает откуда взявшейся и для чего меня посетившей: о планетарном/национальном, а не универсальном статусе Яхве, о его «истинном» имени: Кронос/Сатурн и женской ипостаси Шаббат-Суббота. Вероятно, всё началось с воистину *религиозного* почитания евреями субботы, оговоренного в Торе, с множественного числа при описании Яхве и с общей темпоральности еврейской культурной парадигмы (Кронос — бог времени).

<Продолжение утрачено>

Быть или иметь?

Важнейшую духовную развилку Европы, о которой размышляли Марсель, Хайдеггер, Фромм и др., принято называть проблемой «быть или иметь». Как известно, двухполюсная модель мира, каковы бы ни были два её противоборствующих полюса-антагониста, обладает печальной (или всё-таки обнадёживающей?) особенностью *неуничтожимости* каждого и — при всей несомненности бесконечной войны между ними — их внутренней зависимости друг от друга.

Интересно, что в главных европейских языках «быть» (be, être, sein) и «иметь» (have, avoir, haben) — *вспомогательные*, а значит, часто употребляемые глаголы. Попробую в дополнение к «быть» и «иметь» найти ещё один элемент (а то и несколько) из числа вспомогательных глаголов. Немедленно всплывают два — «делать» (do, faire) и «становиться» (werden), поодаль маячит «идти» (aller), остановимся пока на первых двух:

be	werden
avoir	do

Эта четвёрка, упорядоченная в матрицу 2×2, образует вполне осмысленную конфигурацию, если, например,

СЕНТЯБРЬ

25

понедельник

СЕНТЯБРЬ

26

вторник

классифицировать её первую и вторую строки как особенности *интровертного* и *экстравертного* психологического типа, а левый и правый столбец отнести к *статике* и *динамике* соответственно.

	СТАТИКА	ДИНАМИКА
ИНТРОВЕРТ	быть	становиться
ЭКСТРАВЕРТ	иметь	делать

Из матрицы видно, что упомянутая в самом начале пара проблематичных элементов «быть» и «иметь» принадлежит к *статическому* или результирующему столбцу, то есть не имеет отношения к столь популярной в Новейшее время временной координате, а значит, рано или поздно потребует себе в дополнение (или в замену) каких-то других элементов — ну хотя бы такую пару, как «становиться» и «делать». По мне интереснее не замена, а дополнение, позволяющее рассматривать все четыре элемента как по отдельности, так и во всевозможных взаимодействиях.

Философская традиция до середины XIX века предпочитала (и по инерции во многом предпочитает до сих пор) созерцательный, интроспективный/интровертный тип философа, поддерживавшего позицию «быть vs. иметь». Появление Маркса («Задача философа — не понять мир, а *изменить* его») и Фёдорова («Не субъект и не объект, а *проект* общего дела»), а затем американских прагматиков (Джеймс, Дьюи) перераспределяет ценности в пользу нижней строки матрицы («иметь» и «делать»), изолируя одиночек-созерцателей как маргиналов и настаивая на необходимости действия (пролетарская революция у Маркса, «общее дело» у Фёдорова, труд и личное определение истины у прагматиков). Добавляя к статической модели темпоральность (Дарвин, Бергсон, Эйнштейн, позже «*Sein und Zeit*» Хайдеггера) и учитывая экстравертную склонность эпохи, получаем предпочтение *действия* (работы, труда, спорта, игры) перед *становлением-преобразованием*.

В немецком изводе матрица выглядит так:

sein	werden
haben	tun

Ещё раз: левый столбец содержит проблемное «быть или иметь» в статическом, в духе метафизики XVIII века изложении, тогда как правый столбец вызывает в динамике и темпоральности XX века и обладает определённой эвристической и прогностической силой. Диктуемая правым столбцом проблема («становиться или делать?») давно стала дилеммой нашего времени. Впрочем, гётевский Фауст уже 200 лет назад силился перевести зачин Евангелия от Иоанна в деятельном духе: «В начале было *дело* (das Tun, das Tat)», но сейчас меня интересуют не единицы, даже столь мощные, как Фауст и Гёте, а общий *дух времени*, ставший в Европе деловым и занятым (business, I'm busy) и благодаря делу давно научившийся считать время («время — деньги»).

Рассмотрим строки «экстраверт» и «интроверт», образующие динамические и статические этапы жизненного процесса: у экстраверта — делать, чтобы иметь, но и иметь, чтобы делать (процесс переработки природы и общества), у интроверта — становиться, чтобы быть, и быть, чтобы становиться (глубинное самоосознание и преображение личности). Становление обладает богатым и разнообразным смыслом: это может быть превращение, метаморфоза, переход границы (в том числе в «иные миры» и особые состояния сознания), номадический образ жизни и пр. Кажется, быть и становиться не слишком отстоят друг от друга (в отличие от иметь и делать, где делать может один, а присваивать плоды его труда — другой), но взаимно перетекают и являются неделимыми частями друг друга (без становления нет бытия и без бытия нет становления).

В триаде Тримурти четыре элемента нашей матрицы получают высокое покровительство: хранитель Вишну опекает иметь, сокрушитель Шива — становиться, старший бог Брахма — два диагональных элемента — быть и делать.

В скобках отмечу нарастающую тягу людей к *чистому активизму*, то есть к действию без обладания и даже к расточительности (развлечения, эротика, туризм, спорт, игры), при которой центр тяжести перемещается с *целевой* установки (действовать, чтобы иметь) на *процессуальную* (иметь, чтобы действовать) и на действие ради действия.

СЕНТЯБРЬ

27

среда

Возраст, в котором Христос претерпел крестные муки и вознёсся, обычно оценивают в 33 года. Моя давнишняя убеждённость в мистических особенностях числа 37 и его сокровенной связи с Христом заставили переопределить этот возраст в 37 лет, для чего пришлось перенести год его рождения с нулевого на 4-й до Р. Х. Если, однако, Христос и распят был раньше, чем принято считать, тогда годом рождения может быть и 6-й и 8-й год до Р. Х., а вознёсся он соответственно в 30-м или 32-м. Понтий Пилат был прокуратором (или префектом) Иудеи в 26–36 годы, Ирод Великий правил с 40 по 4 год до Р. Х. (то есть губил младенцев не Ирод Великий, а Ирод Филипп I?). Поэтика и мифология вынуждают всё-таки *столкнуть* с Христом не его, а Ирода Великого.

Исследователи Туринской плащаницы определяют возраст завёрнутого в неё человека в 30–45 лет (среднее как раз 37).

Касательно общепринятого дня и месяца рождения Христа также возникли «зодиакальные» сомнения, из-за чего пришлось перенести их с 25 декабря (7 января с. с.) на *17 апреля*, руководствуясь исключительно «поэтическим чутьём» («Ну не мог Христос родиться в декабре, не мог! Какой из него Козерог? При чём здесь земля?»).

СЕНТЯБРЬ

28

четверг

Нет перемен в кануны октября,
Всё тот же дождь...
Как и вчера, как прошлый год
скупая дрожь дубов,
И жёсткий лист — белёсой солью
заворожен.

Не соль, а изморось, чью нежность
Мы на лице чужом губами осязаем —
Далёк и кажется смешным июльский
свет,
Как будто ангел хриплый
гармоника у рта витает,
Теснит нас небо,
Пряжа отражений порывом ветра
спутана —
Так времена теряют тени...
Связь слепая
листа и дерева мерцает,
Поистине нет перемен
в кануны октября.

(Аркадий Драгомощенко)

Было за полночь, Алисон вновь осталась одна. Время от полуночи до рассвета было особенно ужасным. Если бы она сказала Моррису, что совершенно не спит, он бы, конечно, не поверил, как не верил и её болезни. Четыре года тому назад, когда здоровье Алисон впервые пошатнулось, это его очень взволновало. Но когда одно недомогание последовало за другим — эмпиема, почки, а теперь ещё и сердечные приступы — он начал раздражаться и в конце концов перестал ей верить. Решил, что всё это — притворство, к которому она прибегает, чтобы уклониться от своих обязанностей — рутины охоты и вечеринок, которая самого майора вполне устраивала. Точно так же проще принести хозяйке одно-единственное, но твёрдое извинение, вместо того чтобы ссылаться на множество причин, которым, несмотря на их видимую убедительность, хозяйка всё равно не поверит. Алисон слышала, как муж расхаживает в своей спальне и что-то нравоучительным

тоном говорит. Включила свет над кроватью и принялась читать.

В два часа ночи Алисон вдруг почувствовала, что может в эту ночь умереть. Она сидела в кровати, обложившись подушками, молодая женщина с обострившимся и постаревшим лицом, и беспокойно переводила взгляд с одного края стены на другой. Голова двигалась как-то необычно, подбородок поднимался вверх и в сторону, словно её что-то душило. Безмолвная комната была полна неприятных звуков. В ванной комнате капала в раковину вода. Со ржавым скрипом тикали старинные часы с маятником и позолоченными лебедями на стекле футляра. Но самым громким и тревожным звуком был стук собственного сердца. Внутри царил полный хаос. Казалось, её сердце скачет — оно быстро стучало, как шаги бегущего человека, подпрыгивало, потом глухо валилось, с силой сотрясая всё тело. Медленным, осторожным движением Алисон открыла ящик ночного столика и достала оттуда вязание.

— Надо думать о чём-нибудь приятном, — рассудительно приказала она себе.

Она вернулась в мыслях к самой счастливой поре своей жизни. Ей исполнился двадцать один год, уже год, как она рассыпала крохи из Вергилия и Цицерона по головам школьниц из пансиона. Когда наступили каникулы, она оказалась в Нью-Йорке с двумя сотнями долларов в кармане. Села в автобус и поехала на север, сама не зная куда. В штате Вермонт автобус проезжал деревню, которая ей понравилась, и она там вышла. За несколько дней Алисон разыскала и сняла в аренду крохотную лачугу среди леса. С ней был кот по кличке Петроний. Ещё до начала осени пришлось переделать имя на женский лад: Петроний неожиданно окотился. К ним прибилося несколько бродячих собак, и раз в неделю она ходила в деревню покупать консервы для себя, кошек и собак. Всё это чудесное лето она питалась своей любимой едой: мясом под острым соусом,

сухарями и чаем. Днём рубила дрова, вечером сидела на кухне, положив ноги на плиту, и читала или напевала.

Бледные, шелушащиеся губы Алисон пытались что-то прошептать, она сосредоточенно смотрела на спинку кровати. Вдруг отбросила вязанье и задержала дыхание. Её сердце перестало биться. Комната была безмолвна, словно могила, а она всё ждала, открыв рот. Её голова подергивалась. Алисон охватил ужас, она попробовала закричать, чтобы нарушить невыносимую тишину, но не смогла издать ни звука.

Раздался лёгкий стук в дверь, который она не услышала. В первые мгновения Алисон не поняла, что в комнату вошёл Анаклето и взял её за руку. После долгого, тягостного молчания, которое едва ли продолжалось дольше минуты, её сердце снова забилось; складки ночной рубашки на груди едва заметно затрепетали.

— Вам плохо? — спросил Анаклето бодрым голосом. Но на лице его было такое же болезненное выражение, как и на её собственном, верхняя губа сильно оттянута, десны обнажены.

— Я очень испугалась, — сказала Алисон. — Что-то случилось?

— Ничего не случилось. Не смотрите так. — Он достал из кармана рубашки носовой платок, окунул в стакан с водой и положил ей на лоб. — Я спущусь вниз, возьму свою работу и побуду с вами, пока вы не заснёте.

Вместе с акварельными красками Анаклето принёс поднос с горячим солодовым молоком. Разжёг огонь в камине, поставил перед ним карточный столик. Анаклето распространял вокруг себя столько тепла и уюта, что ей хотелось заплакать от облегчения. Поставив перед Алисон поднос, он удобно расположился за столиком и стал пить молоко медленными глотками гурмана. Это была одна из тех способностей, за которые Алисон особенно любила Анаклето: любое событие он умел превратить в праздник. Всё выглядело так,

словно он не покинул среди ночи кровать, чтобы посидеть по доброте душевной с больной женщиной, а они заранее договорились скоротать вместе время. Всякий раз, когда Анаклето сталкивался с чем-то неприятным, ему всё равно удавалось получить от этого некоторое удовольствие. Вот и сейчас он сидел, закинув ногу на ногу и постелив на колени белую салфетку, и пил солодовое молоко с таким видом, словно в чашке было изысканное вино. А ведь это молоко ни ему, ни ей не нравилось, и купил Анаклето его, соблазнившись блестящими обещаниями на баночной этикетке.

— Ты хочешь спать? — спросила она.

— Ни капельки. — От одного упоминания о сне он, утомившись за день, не удержался и зевнул. Но тут же тактично отвернулся и сделал вид, будто щупает прорезавшийся зуб мудрости.

(Карсон Маккаллерс. Отражения в золотом глазу)

СЕНТЯБРЬ

30

суббота

Читая комментарии к Введенскому («Потец»), подумал, а не написать ли мне книгу о Линии, которая по аналогии с данной пьесой ставила бы себе задачей исследование вышеназванного слова. Есть, кажется, линейная алгебра, а романа нет, — напрасно. Пишут романы о любви, о профсоюзных собраниях, но почему-то не пишут романов о словах: линия, пятно, бамбук, чай, вино, экскременты, рвота, кофе и т. д. Роман-исследование, роман-путешествие по загадочным ландшафтам семантики.

Линия — модель одномерного мира. Монизм? Шанкара?

В линии атомы идут в затылок друг за другом, никаких пар, никаких прелюбодеяний, строгий порядок (казарма, фаланстер). Но иногда линии перекрещиваются, и тогда два атома-счастливчика устраивают собачью свадьбу. Если

в бесконечности две параллельные прямые пересекаются, то одна прямая (по моему мнению) в конечном итоге образует окружность, т. е. замыкается на самой себе, и выходит в новый для неё мир двух измерений. Это сатори прямой.

Линии обуславливают своим существованием и понятие я, если бы не было линии, то как бы мы могли отделить одно я от другого? Стало быть, линия — это великая китайская стена абстрактного мышления. Между линией и прямой линией лежит не одного поколения человекообразных. Когда стали дифференцировать линии на прямые, ломаные и кривые? Кривая линия плывёт, ибо она волнообразна, прямая линия пришла из степи (горизонт), а ломаная — из Тибета (горы).

Кроме линии есть ещё точка, самая рудиментарная единица космоса. Дальше точки ехать некуда, за ней уже лежит трансцендентное — Пустота.

О, если бы я мог написать роман о Пустоте, или книгу, героями которой были бы пятна. Закройте глаза, и герои моего ненаписанного романа поплывут в глубинах вашей психики. Чем они хуже Вертера или Манон Леско?

Но как написать такой роман? Во-первых, придётся наделить пятна эпитетами, почерпнутыми из стихии человеческого, пятна будут милыми, лёгкими, синими, прозрачными. (Прозрачное пятно — это призрак в мире пятен, пятна его боятся.) Во-вторых, придётся создавать сюжет, а пятнам это как-то не пристало. Пятна не убивают, не спариваются, они меняют только свои очертания и переходят из одного в другое без надрыва, не то что люди. Кроме того, все без исключения пятна торчат.

Что такое цвет? Некоторые говорят, что это некое число колебаний чего-то в чём-то. Я думаю, цвет — это как стол; говорят: вот это существо на четырёх ногах с полирован-

ной спиной — стол, а это, говорят, оранжевое... Всё это просто мифы, и надо либо жить в них, либо создавать индивидуальный язык, как математики или музыканты.

Стоя однажды в гардеробе Зимнего дворца, я увидел в зеркале отражение какого-то нереального мира, состоящего из углов и кубов, но, приглядевшись к этой нереальности внимательнее, увидел за ней другую, ещё более грандиозную нереальность, состоящую из монохромных пятен, парящих в пустоте зазеркалья; это зрелище завораживало, ещё минута-другая, и моё я просто перестало бы существовать, но тут подошёл приятель и выволок меня на улицу.

(Борис Ванталов. Книга облаков // Часы, № 75, 1988)

→ 18 ноября: Книга облаков, 2

ОКТАБРЬ

Плыви, лошадь, плыви!

Жизнь для Введенского — прижизненное умирание, «бытие-к-смерти»; и когда он «поёт», то не просто в «преддверии могилы», но в «обратной перспективе», с той стороны: поёт и сквозь стеклянную дверь видит, как по реке мимо него медленно проплывает человек по имени Останин.

*Погружаемся вдвоём
в неглубокий водоём.*

ОКТАБРЬ
1
воскресенье

Караул устал, устают и слова, особенно если их так гонят сквозь палочный строй, как гоняют в цивилизации всеобщей грамотности и журнального царства. Но уставший караул меняют, то же делают с уставшими (от механического тверждения-повторения) словами, что и называется «эволюцией языка», у которой, конечно же, есть немало и других причин для изменений (возникновение новых вещей и понятий, мощное воздействие чужих культур и пр.) Не так бы много слов! — это пожелание остаётся жалкой жалобой, но никак — в эпоху массовой журналистики и компьютерных сетей — не действенным проектом. «Говорили — и говорить будем, и к тому же во всё возрастающих количествах».

Ниже — пример на тему уставшего караула, о заезженных, потёртых, распавшихся и потерявших не только первоначальный, но, кажется, и вообще любой смысл словах.

Вера, надежда, любовь — образчик дивных и одеревеневших от слишком частого, к месту и не к месту, употребления

ОКТАБРЬ
2
понедельник

слов. Меняю их на *доверие*, *терпение*, *участие* и тем самым несколько сдвигаю (слова из новой тройчатки обозначают не совсем то, что обозначали прежние), за счёт *слабого* сдвига слова обретают не только новизну, но и *напряжение*, в том числе идейное. Если «вера-надежда-любовь» — христианская программа-максимум, подразумевающая жертвенную жизнь и даже смерть, то «доверие-терпение-участие» — её умиротворённый, конфуцианский вариант, программа-минимум. Мы уже не трепещем в ужасе и отчаянии «или-или», а ведём позитивную жизнь-работу, оставляющую от прежней триады осколки, которые в нашей жизни ещё могут пригодиться. Тройка «вера-надежда-любовь» притягивает к себе всё *христианство*, тогда как вторая обходится без него, и именно по этой причине звучит «свежо» и позволяет с ней «работать».

Доверие (*fiducia*) — терпение (*patientia*) — участие (*participium*). Необходим сдвиг слов — особенно тех, что устали от постоянных смысловых нагрузок, заавтоматизированы употреблением «по привычке», по делу и всуе, всерьёз и бездумно (об этом у футуристов). Впрочем, дело не только в усыхании и одереветнении смысла: с годами и столетиями происходит постепенный сдвиг духовности, и старые слова, связанные с традиционным типом духовности, не вполне, а то и просто плохо обслуживают новые нужды. В этом случае мы становимся свидетелями если не «революции слов», то выдвигания на главные места тех, что прежде были на вторых ролях и оставались в тени.

→ 15 мая: Корпус, арсенал, полигон.

— Мой смех, как и всё, что я делаю, — настоящий, — сказал дон Хуан. — Но он тоже — управляемая глупость, потому что бесполезен. Смех ничего не меняет, тем не менее я смеюсь.

— Дон Хуан, но ведь твой смех не без пользы, тебе от него хорошо.

— Отнюдь. Мне хорошо потому, что я предпочитаю смотреть на вещи, которые доставляют мне удовольствие.

Тогда я вижу их смешные стороны и смеюсь. Я не раз говорил тебе: чтобы достичь совершенства, человек должен выбрать путь, у которого есть сердце, и тогда он сможет часто смеяться.

Я понял это так, что плач хуже смеха; во всяком случае, он ослабляет нас. Дон Хуан ответил, что между тем и другим нет существенной разницы: плач и смех — равны. Но он предпочитает смех: посмеявшись, он чувствует себя лучше.

Я возразил: если существует предпочтение, равенства быть не может. Если он предпочитает смеяться, а не плакать, значит, смех важнее, чем слезы.

Но дон Хуан упрямо твердил, что его предпочтение во все не означает различия между тем и другим. Тогда я сказал, что, придерживаясь этой логики, можно задаться вопросом: если всё безразлично, то почему бы не выбрать смерть?

— Многие люди знания так и поступают, — сказал дон Хуан. — Просто исчезают в один прекрасный момент. Окружающие думают, что их кто-то подкараулил и убил. Ничего подобного. Они сами выбрали смерть, — им всё равно. Но я предпочитаю жить и смеяться, и не потому, что это имеет значение, а потому, что такова моя природа. Я сказал «предпочитаю», потому что *вижу*, но это не значит, что я выбрал; моя воля заставляет меня жить независимо от того, что я *вижу*. Ты не поймёшь меня, ты привык мыслить так, как смотришь, и идти на поводу у мысли.

Это утверждение меня заинтересовало, и я попросил дон Хуана объяснить его смысл.

Он повторил фразу несколько раз, но по-разному, а потом пояснил, что, говоря о мышлении, он имел в виду застывшие представления обо всем на свете. «Видение» избавляет от этого, и, пока я сам не научусь «видеть», я не пойму его слов вполне.

— Но если всё не важно, почему важно учиться *видению*? — спросил я.

— Я уже говорил тебе, — ответил он, — что предназначение человека — учиться, будь это на пользу ему или во вред. Я научился *видеть* и говорю: нет ничего важного. Теперь твой черёд. Возможно, когда-нибудь ты *увидишь*, и тогда сам узнаешь, так это или не так. Для меня ничто не важно, а для тебя, быть может, всё будет важно. Пора бы усвоить: человек знания живёт действием, а не размышлением о действии и не размышлением о том, что он будет думать, когда совершит действие. Человек знания избирает путь, у которого есть сердце, и идёт по нему: он смотрит, радуется, смеётся, он *видит* и познаёт. Он знает, что жизнь коротка, и знает, что, как и всякий другой, этот путь никуда не ведёт. Он знает — ибо *видит*: нет ничего, что было бы важнее прочего. Иными словами, у человека знания нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни родины, — есть только жизнь. И единственное, что связывает его с окружающими, — это управляемая глупость. Он тоже к чему-то стремится, пыхтит, потеет от натуги и с виду ничем не отличается от других. Кроме одного: глупость его жизни ему подвластна. Ничто для него не важно. Человек знания выбирает для себя дело и делает его так, будто действительно им увлечен. Глупость, которой он управляет, определяет то, как он говорит и как действует; но он-то знает, как всё обстоит на самом деле, и потому, завершив свои дела, удаляется с миром, и ему всё равно, хороши они или плохи, вышло из них что-нибудь или нет. С другой стороны, человек знания может предпочесть полное спокойствие и вообще ничего не делать, вести себя так, будто бездействие для него важнее всего. И опять же он будет прав, потому что и это — управляемая глупость.

Я попытался узнать у дона Хуана, что же побуждает человека знания действовать так, а не иначе, хотя он понимает равнозначность всех путей.

Дон Хуан усмехнулся и сказал:

— Ты обдумываешь свои поступки и приучил себя верить, что они по-своему важны. На самом деле ничего важ-

ного нет. Ничего! Но в таком случае, спросил ты меня, как жить? Проще умереть. Так ты сказал и веришь в это. Потому что думаешь о жизни так же, как думаешь о том, что такое *видение*. Тебе хотелось бы, чтобы я рассказывал о нём подробнее; тогда ты поразмышлял бы о нём, как и обо всём прочем. Но о *видении* размышлять бесполезно; я не могу объяснить, что такое *видение*. Теперь ты захотел узнать, что такое управляемая глупость. Я не могу объяснить это. Могу только сказать, что управляемая глупость сродни *видению*. Она не поддаётся осмыслению.

(Карлос Кастанеда. Особая реальность)

Заря развенчивала, умаляла луну; так проходила её слава. Сияние с неба пронизало смеженные веки твои, лицо твоё реало. Но даже и в эти, исполненные высоких прозрений мгновения младости ты, в то время обыкновенный стажирющийся разъездной, не осмелился бы и предположить, что настанет пора — и ты сделаешься доезжачим. Первые мётлы и скрежет хлебных лотков, изымаемых из ячей хлебозовов, и визг тех же лотков, съезжающих в преисподнюю по Бремсбергу: хлеб чьих-то ранних лет. А некто, столь же героически ранний, шёл, страдая одышкой и сквернословием, а несколько погодя из пурпурных перст Авроры выскользнула первая конка — скользила по рельсам, везла пустоту, шипела подшипниками и троллеями и: вот и утро в мантии багряной ступает по росе восточных гор, — опубликовано было на маршрутной табличке приличествующими случаю иероглифами. И вообще — вдоль всей улицы самокатно шумели битком набитые экипажи. Вид пассажиров казался уныл, словно запах раскрытых, заклинивших, как назло, зонтов, которые с точки зрения исподлобья так живо напоминают подмышки архиптериксов и которыми так и тычут друг другу в нос восторженно-сыро ворвавшиеся на

остановке Театр восхищённо-сухо вырвавшиеся из него провинциалы после премьеры, открывшей очередной эзопов сезон. Неприметный сверчок окраин, в октябре ты особенно скрытен. Грустноглазый, вяло решишь клочковатую мгой, вечером тихо идя от качелей, от стапелей, от серых, как мокрая парусина, водно-моторных вод. Возникаешь, исходишь, находишь на: мелкий татарник перед шоссе, потом — на шоссе, на мелкий татарник за ним, на уютную балку Пренебрежения, на ненаглядные — ненавистные — ненужное зачеркнуть — палисады и кровли, чтоб и сонно, и слепо, и холодно заслонить это всё, спрятать, сокрыть, утаить от чуждых свидетельств — клубясь, извиваясь и корчась раздавленно и бесшумно между пятью и шестью. Прячешь, скрываешь, таишь, а если спросить — отчего — не ответишь; наверно, не знаешь ответа? нет, знаешь, но не ответишь — и только. Только ответишь когда-нибудь, отъюношествовав, отгоревав, отгорев, но, как и прежде, ревнуя ту давнюю местность к чужим на ней, ответишь за всё. Неразумная девочка, сирота и дитя сирот этой земли, я зову тебя — оглянись. Ведаешь ли, как ясен и чист неумытый лик твой, и сколько земных печалей сестёр твоих слилось в неземных чертах его. Одинокая и единственная из всех единственных и одиноких, коим числа несть, гори-гори ясно — там, на булыжном шоссе, здесь — на разъезжей росстани, и в тупике, где лопух. Гори белым цветом, безгрешным цветком, гори, горькая, гори, робкая, гори, заветная. Гори для Якова, гори для всякого, смятенно спешащего на свет твой. От Георгия до Покрова, от рекостава до рекоплава, и от чёрного поля до белых, осеняющих осень путей — гори вселетье, гори всезимье, и белой пастушьей звездой твори повсюду свет кроткий, тайную милость твою. Радуйся — ни к чему не причастен извечный, нездешний твой образ. Там, на булыжном шоссе, здесь — на разъезжей росстани — гори негасимо в кругу погребальных старушьих голов-головешек — седых и чадящих. На том ли погосте, на той ли го-

ре — белей отдалённо, гори вознесенно, пленённая воинством людоподобных крестов, бурые бугры оседлавших. Гряди, радуясь, — все-то небо оглашаешь ты кликушеским балабала. И приидоша сумраки, и тёмные летуны к ночи совокупаются в чёрные стаи — и только выпранные пространства внемлют сему ответу.

(Саша Соколов. Между собакой и волком)

Лежит в столовой на столе
труп мира в виде крем-брюле.
Кругом воняет разложением.
Иные дураки сидят
тут занимаясь умноженьем.
Другие принимают яд.
Сухое солнце, свет, кометы
уселись молча на предметы.
Дубы поникли головой
и воздух был гнилой.
Движенье, теплота и твёрдость
потеряли гордость.
Крылом озябшим плещет вера,
одна над миром всех людей.
Воробей летит из револьвера
и держит в клюве кончики идей.
Все прямо с ума сошли.
Мир потух. Мир потух.
Мир зарезали. Он петух.
Однако много пользы приобрели.
Миру конечно ещё не наступил конец,
ещё не облетел его венец.
Но он действительно потускнел.
Фомин лежащий посинел
и двухоконною рукой

молиться начал. Быть может только Бог.
Легло пространство вдалеке.
Полёт орла струился над рекой.
Держал орёл икону в кулаке.
На ней был Бог.
Возможно, что земля пуста от сна,
худа, тесна.
Возможно, мы виновники, нам страшно.
И ты орёл аэроплан
сверкнёшь стрелой в океан
или коптящей свечкой
рухнешь в речку.
Горит бессмыслицы звезда,
она одна без дна.
Вбегают мёртвый господин
и молча удаляет время.

(Александр Введенский.
Священный полёт цветов //
Часы, № 5, 1977)

ОКТАБРЬ

6

пятница

В отличие от Никифора имя Полине я сочинил заранее (хотя этого не советуют): Вероника, но, тут же сообразив, что Никифор и Вероника (Фероника) — одно и то же, Победоносец в мужском и женском изводе, отбросил его и вообще решил, что девочке надо имя «попроще», не такое редкое и фасонистое, как Никифор или Вероника. Тут же на глаза попала афиша с концертом юного вундеркинда Полины Осетинской (в 1987 году, когда родилась моя дочь, пианистке не исполнилось и двенадцати), и проблема с именем была счастливо решена.

Но не совсем: вскоре обнаружилось, что, как и у Никифора, дата Полиного рождения *совпала* с днём памяти её соименной святой, хотя не всё оказалось так просто, поскольку

ку имени Полина в православных святцах *нет*. Спрашиваю священника: «А какое взять имя из святцев?» Он: «Любое из трёх — Пелагия, Аполлинария или Поликсения, хорошо, чтобы поближе к дню рождения». Одно из них, Поликсения (трудно в это поверить, слишком мала вероятность, да ещё, считая Никифора, во второй раз), пришлось точно на 6 октября.

Рассмешил как-то при встрече Сашу, заявив ему, что мы с Полиной *в разы превзошли* его Ксюшу (мою крёстную дочь), названную в честь петербургской блаженной: «У вас Ксения, а у нас — Поли-Ксения!» От блаженной Ксении, именовавшей себя по мужу Андреем, протянулась неизвестная мне тогда ниточка к моему будущему младшему сыну.

→ 13 апреля: Пятница, 13

→ 2 мая: Никифор

Смерть, или Умерший на поле боя

Однажды мне приснился сон,
что я попал на остров чудный,
где птицы ходят на ногах,
и где синица детей качает в колыбели,
и где снегирь на речку ходит
кататься на коньках,
и где акула махнула мне хвостом
и уплыла в просторы моря,
чтоб больше не вернуться никогда...

Как жаль, что не проснулся я!

(Максим Кузьмин-Пригон. 5 лет)

ОКТАБРЬ

8

воскресенье

Осенью 1998 года приехал погостить в Петербург Валера Молот, я повёл его (кажется, в день рождения Полины, 6 октября) на выставку немецких и украинских фотографов в Арт-галерею, к Валере Вальрану, потом проводил и *снова вернулся* в галерею — очень захотел вдруг познакомиться с работавшей там девушкой, как и Вальран, зырянкой, почему она там, по знакомству с ним, и оказалась. Назвал своё имя, услышал в ответ: «Лиля» — очень несъедобное для меня, «северянинское», «бриковское»; тут же, мгновенно, в голове возникли два противовеса: Лика и Лия, они покачались немного в пространстве черепа: *Лика и Лия, Кали или я* (предостережение?) — и замерли на «Лике». О чём немедленно и сообщил: «Лилей, не обессудь, звать не стану, буду Ликой», такое вот получилось адамово имятворчество. Вскоре выяснилось, что Лия раскачивалась в моей голове тоже не зря: её крёстное имя, именины — в конце декабря, целая неделя.

ОКТАБРЬ

9

понедельник

Горит стосвечёвая лампочка, пахнет сургучём, верёвкой, бумагой. За окном — ржавые рельсы, мелкие цветы, дождь и звуки узловой станции. Действующие лица. Начальник Такой-то — человек с видами на повышение. Семён Николаев — человек с умным видом. Фёдор Муромцев — человек обычного вида. Эти, а также Остальные Железнодорожники сидят за общим столом и пьют чай с баранками. Те Кто Пришли стоят в дверях. Говорит Начальник Такой-то: Николаев, пришли Те Кто Пришли, они желали бы послушать стихи или прозу японских классиков. С. Николаев, открывая книгу: у меня с собой совершенно случайно Ясунари Кавабата, он пишет: «Неужели здесь такие холода? Очень уж вы все закутаны. Да, господин. Мы все уже в зимнем. Особенно морозно по вечерам, когда после снегопада наступит ясная погода. Сейчас, должно быть, ниже нуля. Уже ниже нуля? Н-да, холодно. До чего ни дотронешься, всё холодное. В прошлом году тоже стояли большие холода. До двадцати с чем-то гра-

дусов ниже нуля доходило. А снегу много? В среднем снежный покров — семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзё. Теперь, наверное, начнёт сыпать. Да, сейчас самое время снегопадов, ждём. Вообще-то снег выпал недавно, покрыл землю, а потом подтаял, опустился чуть ли не на сяку. Разве сейчас тает? Да, но теперь только и жди снегопадов». Ф. Муромцев: вот так история, Семён Данилович, вот так рассказец. С. Николаев: это не рассказец, Фёдор, это отрывок из романа. Начальник Такой-то: Николаев, Те Кто Пришли хотели бы ещё. С. Николаев: пожалуйста, вот наугад: «Девушка сидела и била в барабан. Я видел её спину. Казалось, она совсем близко — в соседней комнате. Моё сердце забилося в такт барабану. Как барабан оживляет застолье! — сказала сорокалетняя, тоже смотревшая на танцовщицу». Ф. Муромцев: подумать только, а? С. Николаев: я прочту ещё, это стихи одного японского поэта, это дзенский поэт Доген. Ф. Муромцев: дзенский? понятно, Семён Данилович, но вы не назвали даты его рождения и смерти, назовите, если не секрет. С. Николаев: извините, я сейчас вспомню, вот они: 1200–1253. Начальник Такой-то: всего пятьдесят три года? С. Николаев: но каких! Ф. Муромцев: каких? С. Николаев, вставая с табуретки: «Цветы весной, кукушка летом. И осенью — луна. Холодный чистый снег зимой». (Садится). Всё. Ф. Муромцев: Всё? С. Николаев: всё. Ф. Муромцев: почему-то немного, Семён Данилович, а? Маловато. Может там ещё что-то есть, возможно, оборвано? С. Николаев: нет, всё, это такая специальная форма стихотворения, есть стихи длинные, поэмы, например, есть короче, а есть совсем короткие, в несколько строк, или даже в одну. Ф. Муромцев: а почему, зачем? С. Николаев: да как тебе сказать, — лаконизм. Ф. Муромцев: вот оно что, значит, я так понимаю, если сравнительно брать: идут по дистанции составы — идут или не идут? С. Николаев: ну, идут. Ф. Муромцев: а ведь они тоже разные. Есть такие длинные, что конца не дождёшься, чтобы плотно перейти, а есть ко-

роткие (загибает пальцы на руке), раз, два, три, четыре, пять, да, пять, скажем, вагонов или платформ — годится? тоже, стало быть, лаконизм? С. Николаев: в общем-то, да. Ф. Муромцев: ну вот, разобрались. Как вы говорите: холодный чистый снег зимой? С. Николаев: зимой. Ф. Муромцев: это уж точно, Цунео Данилович, у нас зимой всегда снегу хватает, в январе не меньше девяти сяку, а в конце сезона на два дзё тянет. Ц. Николаев: два не два, а полтора-то уж точно будет. Ф. Мурوماцу: чего там полтора, Цунео-сан, когда два сплошь да рядом. Ц. Накамура: это как сказать, смотря где, если у насыпи с наветренной стороны, то конечно. А в полях гораздо меньше, полтора. Ф. Мурوماцу: ну, полтора так полтора, Цунео-сан, зачем спорить. Ц. Накамура: смотри-ка, дождь всё не кончается. Ф. Мурوماцу: да, дождит, неважная погода. Ц. Накамура: вся станция мокрая, одни лужи кругом, и когда только высохнет. Ф. Мурوماцу: в такую слякоть без зонтика лучше и не появляйся на улицу — насквозь промочит. Ц. Накамура: в прошлом году в это время была точно такая погода, у меня в доме протекла крыша, промокли все татами, и я никак не мог повесить их во дворе посушить. Ф. Мурوماцу: беда, Цунео-сан, такой дождь никому не идёт на пользу, он только мешает. Правда, говорят, что это очень хорошо для риса, но человеку, особенно городскому, такой дождь приносит одни неприятности. Ц. Накамура: мой сосед из-за этого дождя уже неделю не встаёт, болеет, кашляет. Врач сказал, что если будет лить ещё какое-то время, то соседа придется отправить в больницу, иначе он никогда не выздоровеет. Ф. Мурوماцу: для больного нет ничего хуже дождя, воздух становится влажным и болезнь усиливается. Ц. Накамура: сегодня утром жена хотела пойти в лавку босиком, но я попросил её надеть гета, ведь здоровье не купишь ни на какие деньги, а заболеть проще всего. Ф. Мурوماцу: правильно, господин, дождь холодный, без обуви и думать нельзя выходить, в эти дни нам всем следует поберечь себя. Ц. Накамура: немного саке не повредило бы

нам, как ты думаешь? Ф. Мурوماцу: да, только совсем не много, одна-две порции, это оживило бы застолье не хуже барабана. Начальник Такой-то: Те Кто Пришли интересуются судьбой некоторых контейнеров. С. Николаев: каких именно? Начальник Такой-то: Шейны Трахтенберг. Ф. Муромцев: пришли, мы озабочены, нужно писать открытку, они стоят под открытым небом, дождь, они промокнули насквозь, ей нужно писать, вот бланк, вот адрес. Семён Данилович, пишите.

(Саша Соколов. Школа для дураков)

Русская рулетка

В 20 лет с небольшим я (не буду вдаваться в причины) надумал вдруг расстаться с жизнью и придумал для этого довольно изощрённый план из двух пунктов, которые можно обозначить как «50 на 50» и «одноразовая посуда». Первый пункт предусматривал способ самоубийства, на 50 % гарантирующий его успех (будь у меня револьвер, это было бы три боевых патрона в барабане на шесть), второй пункт оговаривал *одноразовость* самоубийства: если я, паче чаяния, останусь живым, то не имею права *никогда более, каковы бы ни были обстоятельства* моей будущей жизни, предпринимать новые шаги к её уничтожению — ни вышеописанные (по теории вероятностей, каждый новый шаг в серии «50 на 50» сокращал мои шансы на выживание: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \dots$), ни какие иные.

О дальнейшем постараюсь покороче: где-то в начале октября я отправился в гости к своему дальнему родственнику Кусову (майору, осетину) в воинскую часть в посёлке Керро (понтонно-мостовой полк на берегу озера Ройка, соединяющегося речкой с Лемболовским озером), где я гостил уже однажды, со следующей идиотской задумкой: в полночь выхожу из дома под предлогом бессонницы и освежающей прогулки, сам же иду на берег озера, раздеваюсь и плыву

к длинному шесту посреди него (озеро с километр в поперечнике), который заприметил в прошлый приезд и к которому, вероятно, привязывает свою лодку азартный рыбак. Я обязан был — таково жёсткое условие, которое я оценил (возможно, неточно) в 50 % выживаемости, — искать этот шест в темноте октябрьской ночи до тех пор, пока не найду, и только в этом случае мне позволительно вернуться на берег, а в будущем, как уже говорилось, запрещается предпринимать такого рода и любые другие попытки самоубийства. Ставка (если не умру сейчас, то всю жизнь проживу без самоубийств) была крупной и честной, так я это своей глупой головой тогда понимал. Шест искал довольно долго, минут 20–30 крейсировал в темноте возле него, пока, наконец, не наткнулся, а наткнувшись, крепко уцепился за спасительную деревяшку и долго, уставший и замёрзший, её не отпускал. Наконец отбыл к берегу, всё в той же темноте, однако не в пример увереннее: берег не виден, но мимо него, в отличие от шеста, трудно проскочить.

Так с тех пор и живу: ни одной суицидной попытки более, как и было обещано, глупая лотерея, в которой дураку достался выигрыш под названием «жизнь». Даже не простудился, хотя пришлось как-то объяснять Кусову своё возвращение мокрым и навеселе (забыл рассказать про бутылку водки, из которой «до» и «после» события вкушал прямо из горла). Повторять рассказанное в деле не советую, но иметь в виду как возможность, почему бы и нет?

Номер воинской части, близ которой испытывал себя на жизнь: 18437. Про комариную стаю из 27, 37 и 13, то и дело налетающую на меня, расскажу в другой раз.

Сарра и Ицак пришли к раввину, чтобы он решил их спор. Первой изложила свои доводы Сарра.

— Ты права, Сарра, — сказал ребе.

После чего высказался Ицак.

— И ты прав, Ицак, — сказал ребе.

Оказавшаяся рядом жена раввина запротестовала:

— Так не может быть — они говорят совершенно разное, кто-то из них неправ.

— И ты права, жена, — сказал ребе.

Как обычно, начал с мелочи, со слова *rodilla* (колено), да так на нём и застрял, но и его оказалось достаточно (*почти* достаточно) для общего вывода о духовном родстве Испании и России.

Понятное дело, есть много других куда как более важных подобий (обе страны фланкируют Европу — одна с запада, другая с востока; обе послужили шлагбаумом на пути арабов и монголов; обе культуры возглавляла дворянская верхушка; русские полюбили кастильского безумца и идеалиста Дон Кихота как своего), но это маленькое словцо — словно солнечный зайчик, пробившийся от испанцев к русским, и пусть педанты твердят о случайности! *Rodilla* — от *rodar* (вертеться, вращаться) и потому близко к вертлюгу как поворотному устройству, разве что вертлюг с другой стороны бедренной кости, чем колено, но главное: упрятанный в *rodilla* род: из рода в род, из колена в колено... Есть немало и других испанских слов, пусть из латыни, которые гораздо ближе по звучанию к русским, чем латинские, французские или английские, даже прямо заимствованные, но *rodilla* оказалось для меня первым в их длинной череде (*монje* — монах и мн. др.), потому своим «дубль-переводом» и прилипло.

→ 21 марта: Оружие в крови

Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идёт, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.

И дождь идёт, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!

Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идём за нами.

Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идём за нами.
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?

Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог,
чтоб застрелиться тут, не надо ничего.

(Леонид Аронзон, 1970)

ОКТЯБРЬ

14

суббота

Первый снег в саду.
Он едва-едва нарцисса
Листики пригнул.

(Басё)

Ся-тя-мя

ОКТЯБРЬ

15

воскресенье

Повелительное наклонение короче изъявительного и со-
слагательного: инфинитив «получается» из императива указа-
нием субъекта команды: любить = люби! + тебя (-ть/-тя). Ну
а поскольку действие может быть направлено не только на те-

бя (-ть), но и на него (-сь) и на меня (-мя), то получаем устройство русского возвратного глагола наподобие испанского:

quiero levantarme,	queremos levantarnos,
quieres levantarte,	queréis levantaros,
quiere levantarse,	quieren levantarse.

Некогда *разные* возвратные частицы «-ся/-сь», «-тя/-ть», «-мя/-мь» и их комбинации «мя-тя», «мя-ся» и пр. со временем стянулись в одну «-ся/-сь», из-за чего и стала возможна критика такого, допустим, слова, как «извиняюсь», неверно понятого как «извиняю самого себя» вместо правильного «извиняю себя посредством тебя»: «извиняю-мя-тя», или ещё более сложное «целуюсь»: «целую тебя посредством себя и себя посредством тебя»: «целую-мя-тя-тя-мя» — такие вот, слава Богу, *слипшиеся* и обретшие простоту и устойчивость бывшие уроды: «извиняюсь» и «целуюсь». Зато было утраченное ныне точное указание объектов и субъектов действия: кто на кого действует и каким образом — прямым или в обход.

Геосексополитика

Архаическая война со временем видоизменяется и превращается из военного похода канныбалов за едой и женщинами в захват территории, убийство охраняющих её врагов и похищение чужих дочерей и сестёр. Войну с враждебным племенем (помимо изгнания врага с соседней территории) можно вести двумя способами: 1) уничтожать его и захватывать чужую территорию (горячая война), 2) насиловать чужих женщин, забрасывать в них своё семя, генетически изменяя вражеское племя в «свою сторону», распространяя свой этнос мирным путём.

Отсюда молодцеватость воина-насильника, который, насилуя чужих женщин, всего-навсего исполняет приказ *свадебного генерала*, отсюда «гендерная асимметрия», позволяющая мужчине безнаказанно заводить любовниц на стороне (что рассматривается обществом как своеобразный геосексополитический успех) и карающая женщин ровно за то же поведение (геосексополитическое поражение, «пятая колонна»).

ОКТАБРЬ

17

вторник

Около Куоккалы
не летают соколы:
сколько бы ни звали их —
не живут в развалинах,
где лягушка квакала,
где сова аукала...

Ничего высокого —
ни звезды, ни сталина.
И кому Куоккала? —
кошка промяукала, —
и зачем Куоккала,
если нету пугала
ни вокруг ни около?

(Виктор Кривулин, 1990-е)

ОКТАБРЬ

18

среда

Дон Хуан сказал, что мы поедем к каньону с высохшим родником. Когда мы сели в машину, из-за дома вышел дон Хенаро и присоединился к нам. Проехав часть пути, мы пошли пешком через овраг. Дон Хуан предложил отдохнуть в тени большого дерева.

— Однажды ты рассказывал, — начал он, когда мы сели, — что наблюдал со своим другом, как с верхушки клёна падал лист. Твой друг сказал, что один и тот же лист с дерева дважды не падает, даже если пройдёт вечность.

Я вспомнил, что действительно рассказывал этот случай.

— Мы сидим у корней дерева, — продолжал дон Хуан. — Взгляни на дерево напротив, и ты увидишь, как с его верхушки упадёт лист.

На краю оврага росло высокое дерево с сухими пожелтевшими листьями. Дон Хуан кивнул головой в его сторону. Я посмотрел и увидел, как с верхушки дерева сорвался лист и стал медленно падать на землю. Он несколько раз ударился о ветки и скрылся в подлеске.

— Ну как, видел?

— Да.

— Ты утверждаешь, что один лист дважды не падает?

— А как же иначе?

— Вот видишь, для тебя иначе и быть не может. А теперь гляди ещё раз.

Я глянул на дерево и увидел, как с его верхушки упал лист. Он задел точно те же ветки, что и предыдущий, словно это был повтор на телеэкране. Я внимательно следил за волнообразным падением листа, пока тот не достиг земли. Поднялся, чтобы проверить, не два ли там листа, но подлесок мешал разглядеть, куда они упали.

Дон Хуан засмеялся и велел мне сесть.

— Гляди, — кивнул он на верхушку дерева, — снова падает тот же лист.

Я проследил за падением ещё одного листа, точь-в-точь повторившего движение двух предыдущих. Не успел он приземлиться, как, догадавшись, что дон Хуан снова предложит посмотреть на верхушку, я глянул вверх — лист падал опять. Я обратил внимание на то, что только в первый раз видел, как лист отломился, а когда поднимал голову остальные три раза, лист уже падал. Я сказал об этом дону Хуану и попросил объяснения.

— Не понимаю, — сказала я, — каким образом тебе удастся повторить то, что я уже видел. Как ты это делаешь?

Он засмеялся, но ничего не ответил, а я продолжал настаивать на объяснении. Я сказал, что с точки зрения моего разума это невозможно.

— С точки зрения моего — тоже, — согласился дон Хуан. — Но ведь ты сам видел, как лист падал. Верно я говорю? — обратился он к дону Хенаро. Тот посмотрел на меня, но ничего не ответил.

— Это невозможно! — почти закричал я.

— Ты прикован к собственному разуму, — сказал дон Хуан. — Всё очень просто: один и тот же лист падает сно-

ва и снова. Но тебе этого мало, тебе нужно ещё понять: как, зачем и почему. А здесь понимать нечего, да и всё равно не понять.

(Карлос Кастанеда. Особая реальность)

ОКТАБРЬ

19

четверг

Крайности, как известно, *спариваются*; использую эту ходячую мудрость как программу действий: из семи видимых планет выбираю две *крайних* по скорости обращения вокруг Солнца (Луна и Сатурн) и свожу в «супружескую чету»; повторяю эту операцию для пяти оставшихся и образую новую пару (Меркурий и Юпитер), затем для трех последних (Венера и Марс), Солнце остаётся в одиночестве. Элементарной переменной пола и имени (переименовав Юпитера в женскую ипостась) развожу гейскую пару Юпитер-Меркурий: отныне это Меркурий и Юнона. Оправдание этого «субъективного», казалось бы, переименования есть у астрологов: планета Юпитер посредством эндокринной системы воздействует на *женские молочные железы*, а в восточной астрологии опекает свадхистану, сексуальную чакру. Вероятно, когда-то планета называлась Юноной (или именем другой богини-мироправительницы), но после Великой патриархальной революции была переименована в честь узурпатора Юпитера.

ОКТАБРЬ

20

пятница

Гастролирующий дирижёр репетирует с оркестром и замечает, что первая скрипка качает головой и недовольно морщится.

Дирижёр останавливает оркестр и обращается к музыканту:

— Maestro, вам не нравится моя интерпретация Брукнера?

Первая скрипка (с прежней миной):

— Что вы, что вы, великодушная интерпретация! Просто я не люблю музыку.

Мастер

Займи пазы отверстых голосов,
щенячьи глотки, жаберные щели,
пока к стене твоей не прикипели
беззвучные проекции лесов!

Он замолчал и сумрак оглядел,
как гуртоправ, избавясь от наитья.
Как стеклодув, прощупал перекрытья.
И храм стоял, и цветоносил мел.

Он уходил, незрим и невесом,
но твёрже камня и теплее твари,
и пестрота живородящей хмари
его накрыла картой хромосом.

Так облекла литая скорлупа
его бессмертный выдох, что казалось —
внутри его уже не начиналась
и не кончалась звёздная толпа.

Вокруг него вздувались фонари,
в шарах стеклянных музыка летела,
пускал тромбон цветные пузыри,
и раздавалось где-то то и дело:
...я... задыхаюсь... душно... отвори...

И небеса, разгорячённый дых,
ты приподнял, как никель испарений.
Вчера туман с верёвок бельевых
носил кругами граммофонной лени
твой березняк на ножницы портних.

(Иван Жданов)

Хакамаду в президенты

ОКТАБРЬ
22
воскресенье

Влад — большой выдумщик и, в отличие от меня, любитель крупномасштабных операций, таково, видимо, всё поколение, родившееся в конце 1930-х, перед самой войной.

У меня достаёт сил разве что помогать таким выдумщикам, да и им не всегда успеваю: пока, не торопясь, соберусь, пока приведу себя в порядок, помоюсь, причешусь и сменю обломовский халат на штольцевский сюртук, как идея *уже проползла*, Штольцу не догнать черепаху, можно переодеться и возвращаться на диван.

В 1996 году Влад загорелся увидеть президентом России женщину, счёл самой подходящей для этого Ирину Хакамаду и попросил меня помочь, я согласился. Первая задача: собрать для выдвижения кандидата в президенты сто голосов — легла на мои плечи: ходить по знакомым с подписным листом, выспрашивать паспортные данные, просить *адекватную подпись*. Подробности пропускаю, хотя многое заслуживает рассказа (чего стоит хотя бы *водогная встреча* с избирателями на кафедре генетики СПбГУ). 100 голосов с трудом собрали, я настаивал на большем количестве (мало ли что), добавил ещё немного, дотянул до 111, как впоследствии выяснилось, не зря: у Ольги Кушлиной была негодная для наших нужд среднеазиатская прописка, я по рассеянности написал себе вместо Санкт-Петербург Ленинград, короче говоря, 11 голосов Центральная избирательная комиссия забрала, осталось тютелька в тютельку 100.

Завтра последний день приёма бумаг у Вешнякова, Влад собирается в Москву, вечер, идём перед поездом к нотариусу (ул. Восстания, 6) и обнаруживаем там, что протокол об общем собрании должен быть подписан секретарём, а у нас не подписан. Хорошо, я жил тогда неподалёку, на Владимирском, вызвал по телефону Тому, она прибежала с пас-

портом, назвалась секретарём, расписалась и т. д., Влад успел в последнюю минуту на поезд.

С президентской идеей не мы одни оказались такими изобретательными: Вася Чернышёв проделал сходную операцию с выдвижением кандидата, разве что не постороннего человека, а *самого себя*. (Я как-то слышал по ТВ его маловразумительное выступление и пристал к нему: «Вася, ну зачем тебе это надо?», он столь же маловразумительно объяснил: «Не корысти ради, а славы моего издательства *Глаголь* для».) Ладно, Бог с ними, и с Васей и с *Глаголом*, Влад добрался до Москвы, сдал бумаги Вешнякову, имел с ним приятную беседу, вернулся довольный.

Через полмесяца звонок от Хакамады: «Ничего не понимаю!» Да и что тут поймёшь: узнаёт от своих знакомых (мы долго не могли правильно выучить её отчество Муцуовна, писали в бумагах по-другому, а перед будущими избирателями называли просто Ириной), что кто-то выдвинул её в президенты, а она об этом ни сном ни духом. Договорились о встрече, через день приезжает в Петербург с плечистым телохранителем, мы, собрав небольшой коллектив петербургской интеллигенции, встречаем её скромным столом. Завязывается оживлённая беседа, охранник скучает в коридоре, Хакамада благодарит: «Спасибо, вернули меня к жизни, я уж совсем было отошла от политики, а теперь чувствую себя заново рождённой, разве что поначалу думала, что провокация», мы заседаем с идеями: Владик конспективно пересказывает девушке с мальчиковой стрижкой «Mutterrecht» Бахофена и советует при встрече с будущими избирателями подчёркивать своё *женское нагало* и напоминать, что при императрицах стране было куда лучше, чем при императорах, я объясняю заядлой западнице, погрязшей в малом бизнесе, что Россия обретёт наконец «свой путь», если политико-экономический маятник качнётся в сторону Востока, прежде всего Китая, так что Ирине ни в коем разе не следует

скрывать своё японское происхождение, выдавая его за гуцульское, а наоборот подчёркивать: носить пёстрое кимоно, в ТВ-выступлениях обращаться к избирателям из чайного домика, приглашать их туда и т. п. Ирина смотрела на нас с изумлением, никак не могла понять, что за два идиота па-ясничают перед ней и зачем им это надо. Впрочем, угощения и деликатесы Рита, жена Влада, соорудила на славу — хотя бы это.

На втором этапе нашей «инициативной группе» (то есть Владу и мне) предстояло собрать уже не 100 голосов, а 1 000 000; чувство реальности, изредка навещавшее нас, шепнуло: «Други, этого вам не осилить», мы свернули на обочину на первом же километре марафона, я в очередной раз сменил сюртук на халат и отправился на диван, Влад, испробовав свежей крови, с довольным видом повторял: «Ну, торчу!», Хакамада, удивительное дело, вскоре прислала нам в подарок автобиографию с воплощением наших пожеланий на суперобложке: стильная гейша в кимоно, застывшая на пороге чайного домика.

Весь состав
полутяж
преступленья — слеза.

Тиража
стрекотаж —
и-здают
тормоза.

То-
-не
-т
-руд
то паров
галатей колотун —
вот и я

плоть от слов
кривошип
и шатун.

Были руки-наложницы —
в
-ру
-сле
-за
-под
-откос
крест щебечущих — ножницы
в постановке волос.

Вас ист-дас-т
как? прессуя
страх за-иконо-стас
ад-рисующий всуе
у ни та или тасс

я-да-я-беда лепит
в обли-гашках испод
ас-сигнуемый лепет
ал-лилуемый пот.

Служит
што?-пор-тупея
под-лежащим взашей
вос-питанию бля
на культуре ножей.

Служит вечеря — тайне,
где меня
как гарсон
стол
накрыло страданье
на двенадцать персон.

Марш от-ходиков — сводник
вот уж кто погостит
зашибая на-стольник
поведёт по-гост-стрит.

Струнный выщипан дико
и раздут духовой
выражение крика
в широте лобовой.

Ветер гнёт хвор-остыну.
Дни смываясь несут
в море
мойвам
с осины
кровеносный сосуд.

Золотай-
я-
ма-
не-та
проб-
ка-
зна-
ка-
ково?
Схватки этого света,
само-родки того...

(Александр Горнон, 1986)

И немедленно выпил...

(Венедикт Ерофеев. Москва—Петушки, 1973)

Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы её должны любить, именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжёт и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от неё...

(Василий Розанов)

Ольга Кушлина: — Расскажи какой-нибудь смешной случай про работу «тайного жюри» <премии Андрея Белого>.

Борис Останин: — Про себя или про других?

— Лучше про себя.

— Даже не знаю что. Ага! Однажды возникла идея присудить премию Юрию Михайловичу Лотману (с Андреем Синявским как-то не сложилось), и я отправился в Тарту сообщить ему об этом и заодно узнать, не повредит ли ему наша премия. Поехал ночным поездом, но почему-то в изрядном подпитии (я не то чтобы совсем не пью, но обычно в меру) и в результате проехал станцию, где надо было пересесть с таллинского поезда на поезд в Тарту. Проводник не разбудил — то ли забыл, то ли сам бражничал. Короче, просыпаюсь на следующее утро с большой головой в Таллине (!), нуждаюсь в безотлагательном лечении. Времени до тартуского поезда часов пять, и тут я случайно обнаруживаю в записной книжке (по ошибке взял с собой старую вместо новой) адрес замечательного эстонского писателя Энна Артуровича Ветемаа. А я, надо сказать, когда-то очень им увлекался («Яйца по-китайски», «Реквием для губной гармошки»), ну и в мою большую голову враз приходит шальная мысль — заявиться с утра к незнакомо-

ОКТАБРЬ

25

среда

ОКТАБРЬ

26

четверг

му человеку и сообщить о присуждении ему премии Андрея Белого.

— Вместо Лотмана?

— Вместе с Лотманом, в другой номинации. Нашел я Ветемаа на удивление быстро: он, несмотря на ранний час, над чем-то уже, как и положено эстонцу, трудился, рядом молодая жена, огромный пес (нюуфаундленд?) и, как вскоре выяснилось, сын от первого брака учится в Тартуском университете, до которого я ещё не доехал. Всё очень мило — тут же раскинули стол, выпили, поговорили о том о сём, потом отправились всей компанией, включая пса, на вокзал, меня провожать. И вот тут-то мне и не достало запалу: протрезвел что ли, одним словом, сплоховал, вспомнил про коллегиальность, про ответственность и не стал своевольничать — заветное слово про премию так из себя и не выдавил. А зря, такого сюрприза достойного писателя лишил! Тем более что несколько лет спустя бестрепетно исполнил аналогичный трюк в Москве, когда случайно узнал, что в клубе «Поэзия» будет выступать Геннадий Айги. Тут же состряпал на чужой пишущей машинке диплом и вручил Геннадию Николаевичу и диплом, и рубль, и бутылку водки при изрядном скоплении читающей и пишущей публики.

— А что же Лотман!?

— К вечеру я, по-прежнему в шатком-валком состоянии, с трудом добрался и до Лотмана. Он, как оказалось, работал в университетской библиотеке, а меня в его ожидании посадили, чтобы не упал, в мягкое кресло в кабинете. Я смежил было глаза, ан нет, появляются откуда-то три девчуськи-крохотули (внучки?), в возрасте от 5 до 9 лет, меня развлекать. Но делают это весьма своеобразно. Входят в кабинет гуськом (как дети в одном из рассказов Карсон Маккал-

лерс), становятся напротив меня навьютяжку, руки по швам, в каких-то национальных платицах, ну, думаю, сейчас танцевать начнут... Нет, старшая с самым серьёзным лицом раскрывает какую-то книгу и принимается её — по-эстонски! — читать, а две младшие с такими же серьёзными лицами слушают. Такие вот дела. Где-то неподалеку Лотман пишет новую книгу, чуть подальше, в Таллине, Ветемаа беседует со своей молодой женой и гладит ньюфаундленда, его сын тоже где-то рядом занят неизвестным мне делом, Борис Иванов и прочие члены «тайного жюри» терпеливо ждут моего возвращения в Ленинград, а я, разомлевший и хмельной, полураскинулся в кресле и прислушиваюсь к звукам детской эстонской речи: язык такой мягкий-мягкий, бескостный, как Томас Манн сказал когда-то о русском языке, но ещё бескостнее, и только иногда, видно, чтобы я не уснул совсем, вспыхивают вдруг знакомые, почти родные слова: ба-тыр... шатёр... хан... Как вскоре выяснилось, девочка читала «Монгольские народные сказки» в переводе на эстонский. No comments. Поверь мне, такое не забывается, тем более что я родился в Монголии.

— Лотмана-то дождался?

— Пришёл минут через сорок (всё это время эстонско-монгольское чтение неукоснительно продолжалось, и все сорок минут девочки простояли навьютяжку), мы долго с ним беседовали, в том числе и о его новых — неструктуралистских — идеях, и в конце концов решили напрасно не рисковать, премии не присуждать. Что мы уже в Ленинграде и сделали (не сделали). Хотя, по словам Ольги Седаковой, Лотман, узнав, что она лауреат премии Андрея Белого, о своём решении пожалел.

— Забавная история!

— Одна из многих. Но ведь и время наше не бесконечно, не говоря уж про терпение читателей. Вернусь к тому, что премия Андрея Белого пересекает в моём понимании пределы иронического и пародийного и устремляется в сторону возвышенного и героического, как бы мы к этому её устремлению ни относились — иронически или возвышенно. И премия, и машинописные журналы, и «вторая культура» дают нам небесполезный нравственный урок, который с двадцатилетнего расстояния видится гораздо отчётливее, чем впритык. Мы учили своих ближних (и сами учились у них) не паниковать, не преувеличивать тягот своей жизни, не страдать понапрасну, не лезть в «высшие сферы», на поверку оказывающиеся плодом политической (сейчас — торговой) спекуляции и пропаганды, учили ясно видеть, что в очень больших числах (тираж, гонорар) преобладают нули, а не единицы, и настраивали себя и свой труд на единицы, а не на нули. История премии Андрея Белого доказывает, что это возможно. Но ведь если подумать, это и есть — и персонализм, и общение, и преодоление отчуждения, и творческий порыв, и «быть вместо иметь»... Что ещё нужно?

(Быть или иметь // Toronto Slavic Quarterly, № 2, 2002)

ОКТАБРЬ

27

пятница

Дандарон говорил: «Буддисту полезно родиться в России — и побывать в лагере».

(Слышал от Влада)

ОКТАБРЬ

28

суббота

Пробираясь по лесу, мы вдруг встретили Девушку — и сразу повернули, когда её увидели: мы хотели потихоньку обойти её стороной; но и она повернула туда же, куда мы, и тогда мы остановились — чтобы она подошла и чтобы сделать всё, как она захочет: Смерть-то мы продали и уме-

реть не могли, а Страх — нет, и поэтому испугались. Девушка была одета в распрекрасное платье, и, когда она приблизилась, мы всё рассмотрели: и золотые бусы, и маленькие туфельки — они вроде отсвечивали алюминиевым блеском, и у них были высокие тонкие каблучки, а Девушка была высокого роста и стройная, но она была красного-распрекрасного цвета.

И вот после того как Девушка приблизилась, она спросила нас, куда мы идём, и мы ответили, что в Город Мёртвых, а она спросила, откуда мы вышли, и мы сказали, что из Огромного Дерева, в котором живёт Всеобщая Мать. Когда Красная Девушка услышала наш ответ, она приказала нам следовать за ней, но, когда она приказала следовать за ней, мы испугались ещё больше (Страх-то был с нами), и моя жена проговорила так: «ЭТА ДЕВУШКА НЕ ДУХ, НЕ ЧЕЛОВЕК И НЕ ЗВЕРЬ; А КТО ОНА ТАКАЯ, УЗНАЕТСЯ ПОТОМ».

Мы отправились за Девушкой, как она приказала, и прошли с ней, наверно, миль около шести, и вдруг увидели Красный Лес. Всё там было красное — и деревья, и кусты, и трава, и земля, и живые существа. Как только мы вошли в этот Красный Лес, я увидел, что моя жена стала красной-распрекрасной, но, как только она стала красной-распрекрасной, она проговорила волшебные слова: «КТО-БЕЗ-СМЕРТИ-ТОТ-БЕС-СМЕРТНЫЙ-А-КТО-БЕС-СМЕРТИ-ТОТ-БЕС-СМЕРТНЫЙ». <...>

Вот они оставили меня у норы, а сами убежали, потому что боялись: Красные Существа были Бесами Смерти и всех, кого встречали, сразу убивали. Но моя жена спряталась неподалеку.

Я стоял у норы полчаса или час, и вдруг там послышался ужасающий шум, как будто в норе сидело целое войско, или тыща человек, и земля задрожала, но я только крепче сжал винтовку. Бесы Смерти были громадными существами и вместе выползти из норы не могли; поэтому они вылезали один за другим, и первой появилась Красная Рыба.

Я страшно испугался, когда её увидел, хотя и помнил, что умереть не могу: я продал свою Смерть навсегда и за деньги, но Страх был со мной и я ужасно боялся. А жена, как увидела эту страшную Рыбу, сразу выбралась из своего тайного убежища и что есть духу умчалась в город.

Красная Рыба вылезала из норы, у неё была голова, похожая на черепашью, но если бы черепаха превратилась в слона, — такая огромная голова — и с рогами. Красная Рыба не могла ходить — она только извивалась и ползла, как змея, да иногда ещё подпрыгивала и летела, но недолго. И вокруг всей головы у неё были глаза — они закрывались и открывались одновременно, как будто внутри у неё кто-то сидел и то их включал, а то выключал.

И вот она увидела меня и захохотала, и стала ко мне подползать и перелётывать, но я уже приготовился и выстрелил ей в голову, и всё равно я боялся: я не верил в винтовку, а мои джу-джу — волшебные амулеты — потеряли свою силу и не могли мне помочь: они были старые и своё отслужили. Я боялся, но я снова зарядил винтовку и снова выстрелил, и Рыба замерла, и тут я понял, что я её убил.

После этого я опять зарядил винтовку, чтоб, когда появится второй Бес Смерти (Красная Птица), застрелить и его. И Красная Птица вылезла из норы — сначала я увидел только голову и клюв, голова, наверно, весила целую тонну, и из клюва торчали острые зубы — в фут длины, и ужасно много. Птица заметила меня и расхохоталась, но вдруг она глянула на Красную Рыбу и перестала хохотать, и вмиг её проглотила, и бросилась ко мне, но я был начеку: я выстрелил и снова зарядил свою винтовку, и на второй раз пристрелил её навсегда и до смерти.

Когда я расправился с Бесами Смерти, я сразу же понял волшебные слова, которые моя жена проговорила в лесу: я продал свою Смерть и остался без Смерти, а Бесы Смерти были смертными Бесами — вот что значили волшеб-

ные слова, и теперь я мог их правильно повторить: КТО БЕЗ СМЕРТИ — ТОТ БЕССМЕРТНЫЙ, А КТО БЕС СМЕРТИ, ТОТ БЕС — СМЕРТНЫЙ.

(Амос Тутуола.
Путешествие в Город Мёртвых, отрывок)

Дрономахия

Слава поведал в 1999 году о сочинённых им когда-то неологизмах вместо четырёх главных матерных слов. Первые два (*дрон*, *маха*) мне понравились, звучные и ёмкие, я даже стал употреблять их в разговоре, третье (*дуна*) — известное славянское слово, никак не неологизм, наконец, глагол (*мыкать*) показался неудачным, хотя Слава и защищал его корневое «мы».

До сих непонятно, что с этой матерщиной в русском языке делать, как справиться. «И хочется, и колется».

ОКТАБРЬ

29

воскресенье

Молитва

Апрель, блуд, колокольная высь
И кони пущены в рысь
Помолись за меня
Помолись за меня
Помолись
помолись
помолись...

Знаком тебе топот этих копыт,
Знакома ль походка коня
Помолись за меня
Помолись за меня
Помолись
помолись
за меня...

ОКТАБРЬ

30

понедельник

Мой первый грех — в том, что я рождён
И рождён, как все, во грехе.
А второй — что холодный и крепкий меч
Застыл у меня в руке.

А третий — в том, что руки твои
На шее моей свились
Помолись за меня
Помолись за меня
Помолись
помолись
помолись...

К утру запоют, закричат обо мне
Пустое седло и обрез
Помолись...
Да родится молитва в огне,
Да коснется молитва небес.

(Пётр Брандт. Из поэмы «Монголы», 1971)

Когда умру, оплачь меня
слезами ржи и ячменя.
Прикрой меня словами лжи
И спать под землю уложи.
Я не хочу, чтоб пепел мой
метался в урне гробовой,
стучал, закрытый на замок
в кулак слежавшийся комок.
Когда умру, упрячь меня
под песни ржи и ячменя,
чтоб вяз свой воз зелёный вёз,
чтоб, наливаясь, рос овёс,
отборным плачучи зерном
по ветре буйном, озорном.

Земли на грудь щепотку брось
мне как-нибудь и на авось.
Авось тогда остаток мой,
согретый чернозёмной тьмой,
взбежит свободно и легко
по жилам, точно молоко.
И ты придёшь, опять хорош,
смотреть, как в дрожь бросает рожь,
когда желтеющим лицом
тебе навстречу, агроном,
сквозь даль лесную я блесну,
напомнив молча про весну,
когда, волнуясь и шумя,
взмолюсь: Помилуй, Боже, мя!

(Сергей Петров, 1940)

НОЯБРЬ

Грёзы разума

НОЯБРЬ

1

среда

Знаменитое суждение Гойи, запечатлённое на одном из офортов серии «Capriccios», «Сон разума порождает чудовищ» (El sueño de la razón produce monstruos) можно и нужно переводить иначе (многозначность слова sueño это позволяет), а именно: «*Грёзы* разума порождают чудовищ», то есть их созидает не праздность разума, как в расхожем толковании, а, наоборот, его активная, но лишённая глубинной укоренённости и потому фантазирующая деятельность. С одной стороны, дремлющего персонажа на офорте, конечно, непросто назвать грезящим или мечтающим (dream_E — сон, мечта), с другой — состояние мечтательности/утопичности в их самых жестоких и жутких изводах настолько присуще европейскому разуму, что предложенный перевод представляется вполне адекватным.

(1970-е)

НОЯБРЬ

2

четверг

Публичный дом принято называть домом терпимости, но кто и что там *терпит*? Строгое начальство (городское и духовное) терпит его, чтобы не случилось худшего? Нет, в публичном доме не терпят, а — если сказать в одно слово — наслаждаются. Отсюда Терпсихора — муза, «наслаждающаяся хорами». Интересно, не пришло ли это слово в Россию из Византии?

→ Январь 4/2018: Выпьем на посошок

Любить — значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя», «везде скучно, где не ты».

Это внешнее описание, но самое точное.

Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь — воздух. Без неё — нет дыхания, а при ней «дышится легко».

Вот и всё.

(Василий Розанов)

НОЯБРЬ

3

пятница

Засахаре кры

Пятый выпуск альманаха эгофутуристов, который Иван Игнатъев издал в Петербурге в 1913 году, назывался двумя обломками слов «Засахаре кры», а читателю предлагалось сообразить, что имел в виду издатель: крысу или крыжовник? Мне больше нравится крыжовник, вероятно, потому, что в нём угадывается польский *krzyż* (крест), и потому *волевым усилием, но осмысленно* это слово можно перевести как «крестовник» и даже «терновник». Бедняге Игнатъеву, покончившему жизнь самоубийством в 1914 году, Хлебников посвятил жуткую эпитафию:

И на путь меж звёзд морозный
Полечу я не с молитвой,
Полечу я — мёртвый, грозный —
С окровавленной бритвой.

Теперь переберёмся в самый конец XX века, когда в петербургском издательстве Ивана Лимбаха в 2000 году была издана моя первая типографская книга «Пунктиры», сочинённая в 1973 году, то есть за 27 лет до этого. О замечательной истории её издания расскажу в другой раз, а сейчас коснусь обложки, которую сделали Д. и С. Плаксыны.

НОЯБРЬ

4

суббота



Художники развели крупные горизонтальные буквы названия в две строки

ПУНК
ТИРЫ

и каждую из них располовинили небольшой диагональной полоской, так что четвертованное слово распалось на четыре классических «квадранта»:

ПУ // НК
ТИ // РЫ,

причём упомянутая чёрная полоска преградила обычный путь читательского взгляда слева направо и ещё раз слева направо и совершенно недвусмысленно направила его из левого верхнего квадранта в левый нижний, а затем в правый верхний: ПУ — ТИ — НК — РЫ... Читатель, не забывший ещё о «Засахаре кры» и ведомый своими политическими пристрастиями, самостоятельно выберет одно из двух эго-футуристических прочтений, я же подскажу ему, что эти варианты не единственные — помимо упомянутых двух здесь есть и нечто другое: ПУТИН РЫК (лев или медведь, отнюдь не кры) и неочевидное ни в 2000-м, ни тем более в 1973 году, ПУТИН КРЫМ.

Напомню выходные данные «Пунктиров»: Санкт-Петербург, 2000 год — именно в этом году петербуржец Пу-

тин стал президентом России. Такие вот неисчерпаемые глубины минимализма.

→ 22 октября: Хакамаду в президенты

Сначала ему казалось, что это мушки в глазах. Солнце стояло по самой середине, он смотрел и видел его чёрный диск. Справа всё кончалось каменистым бугром, какой-то осыпью. Слева — повыше бугры, что-то блестящее или белое. А за головой? Там, помнится, что-то синело, ближе — острые камни, жёлтый пучок. Всякий раз, когда он приходил в себя, солнце стояло прямо над головой, как приклеенное, и он уже не соображал, где находится, но был уверен, что ползёт правильно, он знал, что там, за этим камнем, за этим колючим пучком, за этим мусором, который набивается в рот, — Гималаи. Ему было всё равно, пот или мозг стекает ему на глаза, он только удивлялся, неужели в нём осталась какая-то влага? Почему его ещё не выжгло, как этот пучок, до которого он хотел дотянуться? Он уже различал шипы на стебле.

— Может, она не растёт, а просто застряла? — подумал он. — Чёрт, что за мошки?

Вдруг он увидел, что слева кто-то стоит, кто-то удивительно знакомый, под зелёным абажуром, какой-то человек, которого давно забыл! А! Это тот парень, с которым жили на Мойке. Как его? Танцор из этого... На Театральной. Странно. Чего он тут делает? Мы с ним, кажется, были приятели: кофе... на Фонарь ходили. Как его звали? Нет ли у него попить?

— Миша? — спросил Доктор, продолжая ползти. — Ты тут живёшь? Знаешь, я не понимаю, зачем ты уехал? Что ты там не видел, денег, что ли? Кому это надо? И не ври, что тебе надо было свободы, я-то знаю, ты думал: там больше воды! Видишь, я угадал! А раз так, то делись, — у тебя теперь много твоей воды. Хорошо?

— Плохо, — сказал Миша.

— Хорошо... — попробовал возразить Доктор.

— Плохо.

— Хорошо...

— Нет, плохо. Плохо ползёшь. Тебе всегда не хватало прыгучести. Хочешь, я научу тебя прыгать?

Доктор пригляделся: «Нет, это не тот. Да и откуда он здесь? Мишка Барышников в Америке, он выйдет из кулисы, и прыгнет, и покрутит, и идёт считать бабки, а тут — не он. И потом: у него не может быть такого синего горла. Это — другой танцор, я помню, — у него много имён».

— Ну, чего ты молчишь? — Натараджа поднял четыре руки. — Хочешь, я станцую?

— Уйди, — прохрипел Доктор, — тут тебе не Мраморный зал. Блевотина.

Он уронил голову в горячую пыль и засмеялся: «Блевотина. Что ж это такое — „блевотина“? Что-то я слышал? А, это такая мадам! И этот, с бородой, который хотел превратить Гималаи в страну дураков, как его?» Доктор перевернулся на спину и захохотал, а на самом деле он не мог разлепить чёрные губы. Он лежал на спине и смотрел не мигая.

И тут он понял, что это не мушки в глазах и не мошки, а горные орлы, которые летят к нему со всех сторон. Одни ещё далеко — еле видны, но другие уже кружились над ним, и он видел в ослепительном небе их железные перья, отливающие изумрудным блеском тысячелетних кедров; их глаза, сияющие голубым льдом вершин; он заметил их громадные когти, ещё хранящие холод вечных снегов, которые они оставили, — тех снегов, пред которыми бессильно солнце, хотя в своей высоте они к нему ближе всего на свете, — кристальных ледников, низвергающих водопады чистой влаги, откуда берут начало священные воды, которые поят мир и спасают его.

Он хотел закричать: «Сюда. Я — здесь. Я жду», — но не мог, потому что его душил хохот.

А на самом деле он не мог разлепить чёрные губы, они только дрогнули, когда он сказал:

— Ты, козёл, что ты понимал в Гималаях? Для того только, чтобы их увидеть, надо, чтобы тебе оторвало ноги.

(Сергей Коровин.

Приближаясь и становясь всё меньше и меньше)

Эклога

И вот, не отужинав толком,
Поношенный пыльник надел,
Сорвал со гвоздя одностволку
И быстро её осмотрел.
И вышел из дому. Собака
За мной увязалась одна.
Бездомной считалась, однако,
Казалась довольно жирна.
Но это меня не касалось:
Казалась, считалась — всё вздор,
Мне главное — чтоб не кусалась.
Я вышел. Вот это простор.
Из дому я вышел. Дорога
Под скрежетвилась дергача,
Вилась и пылила. Эклога
Слагалась сама. Бормоча,
Достигнул поленовской риги,
К саврасовской роще свернул
И там, как в тургеневской книге,
Аксаковских уток вспугнул.
Навскидку я выстрелил. Эхо
Лишь стало добычей моей,
И дым цвета лешего меха
Витал утешеньем очей.
Какой-то листок оторвался

НОЯБРЬ

6

понедельник

От ветки родимой меж тем.
 Зачем? — я понять всё пытался.
 Всё было напрасно. Затем,
 Домой возвращаясь деревней,
 Приветствовал группу крестьян,
 Плясавших под сенью деревьев
 Под старый и хриплый баян.
 Но месяц был молод и ясен,
 Как волка весёлого клык.
 Привет вам, родные свояси,
 Поклон тебе, русский язык.

(Саша Соколов.

Между собакой и волком)

Калигула в растерянности подходит к зеркалу.

НОЯБРЬ

7

вторник

К а л и г у л а. Калигула! И ты, ты тоже виноват. Чуть больше, чуть меньше — какая разница? Однако кто посмеет судить тебя в мире, где нет судьи и где все виноваты? *(Прислонясь лицом к зеркалу, с глубоким выражением скорби.)* Геликон так и не пришёл. Луна никогда не будет моей. Как горько сохранять разум и следовать своему долгу до конца. Как я боюсь конца! Лязг оружия... Это невинность готовит свой триумф. Почему я не с ними? Мне страшно! Как отвратительно: презирать чужую трусость и обнаружить её в собственной душе! Ничего, страху тоже придёт конец. Скоро, скоро обрету я ту великую пустоту, в которой душа найдёт своё успокоение.

Калигула отходит и снова возвращается к зеркалу. Теперь он выглядит спокойнее.

(Тихо и сосредоточенно.) Всё кажется таким сложным, и однако же всё очень просто. Если бы луна стала моей, тогда бы всё изменилось. Но где, где утолить эту жажду?

Какая душа, какой бог явит собой желанный источник? (*Опускается на колени и плачет.*) Ни в этом мире, ни в мире ином ничто не может меня успокоить. (*Протягивает руки к зеркалу.*) Впрочем, и мне, и тебе прекрасно известно, что мне надо. Мне надо, чтобы невозможное существовало. Невозможное! Я искал его на краю света, у пределов самого себя. Я протягивал к нему руки... (*Кричит.*) ...я протягиваю к нему руки — и натываюсь на тебя! Ты всегда оказываешься передо мной — о, как я тебя ненавижу! (*Пауза.*) Неужели я избрал неверный путь и ничего не достиг? Неужели в моей свободе нет ничего благого? Геликон! Геликон! Где ты? Какая тяжёлая ночь! Геликон не придёт: мы навсегда останемся виновными.

Из-за кулис доносится лязг оружия и крики.

Г е л и к о н (*показывается в глубине сцены*). Кай, берегись! Берегись!

Невидимая рука пронзает Геликона кинжалом. Калигула поднимается, берёт в руки скамейку и, тяжело дыша, подходит к зеркалу. Он смотрит на своё отражение, затем, резко подавшись вперёд, изо всех сил бросает в зеркало скамейку.

К а л и г у л а (*кричит*). В историю, Калигула, в историю!

Зеркало разлетается вдребезги, и в тот же момент из всех дверей появляются вооружённые заговорщики. Калигула с безумным смехом корчит им рожи. Старый патриций вонзает ему кинжал в спину, Кассий — в грудь. Смех Калигулы переходит в икоту. Заговорщики наносят ему новые удары.

(*Смеётся и хрипит.*) Я ещё жив!

З а н а в е с

(*Альбер Камю. Калигула*)

НОЯБРЬ

8

среда

Так с лицом белее снега,
По которому бежал он,
Продолжал он нить побега
Тихо, яростно, без жалоб.

<...>

И от злых собак ушёл он
В ту страну, где сон и нега,
До конца надеждой полон,
Продолжал он нить побега...

(Валентин Соколов *З/К*, 1960-е)

НОЯБРЬ

9

четверг

Перед войной в СССР родилось немало талантливых писателей и поэтов, в свои зрелые годы борцов с культурным и политическим официозом; следующий бум рождения будущих неофициалов и диссидентов приходится на годы сразу после окончания войны, что отчасти объясняется общим послевоенным взрывом рождаемости, но не только. Возможен социально-политический ключ к массированному появлению талантов (и возникновению литературных поколений): новое поколение осознаёт себя как поколение в связи с *мощным политическим кризисом*, пришедшимся на период становления его самосознания и таланта (17–19 лет). По этому осевому событию нетрудно ракоходным образом установить годы биологического рождения *нового поколения*, занятого в пору своего мужания активным самоопределением («поиском принадлежности») как следствием общего кризиса и поиска выхода из него.

Если брать в качестве *осевых событий* в послевоенном СССР смерть Сталина (1953), события в Венгрии (1956), доклад Хрущёва о Сталине (1956) и Московский фестиваль молодёжи (1957), то оказавшиеся в мясорубке этих событий 17–19-летние подростки (годы становления личности) должны появиться на свет в 1934–40 годах — именно тогда и родилось подавляющее число выдающихся шестидесятников (Айги — 1934, Аронзон — 1939, Ахмадулина — 1937, Битов — 1937, Бобышев — 1936, Бродский — 1940, Вознесенская — 1940,

Волохонский — 1936, Высоцкий — 1940, Галич — 1934, Гордин — 1935, Ерёмин — 1937, Кондратов — 1937, Кушев — 1939, Посев — 1937, Кузьминский — 1940, Марамзин — 1934, Морев — 1934, Найман — 1936, Новиков — 1938, Соснора — 1936, Уфлянд — 1937, Хвостенко — 1940).

И наоборот, если отсчитывать от послевоенного бэби-бума 1945–48 годов, то становление 17–19-летних приходится на такие *осевые события*, как Карибский кризис (1962), отставка Хрущёва (1964) и последующее свёртывание либеральных реформ.

Послевоенную волну талантов (1944–1948) привожу далеко не полностью, но в меру показательно — лауреаты премии Андрея Белого: Кривулин, Стратановский (1944), Драгомощенко, Кудряков, Алейников, Горнон, Подорога, Дубин, Гаврилов, Зубова (1946), Гройс, Эрль, Сигей, Рубинштейн, Цветков (1947), Шварц, Миронов, Жданов, Айрапетян, Айзенберг (1948).

Формула Петербурга

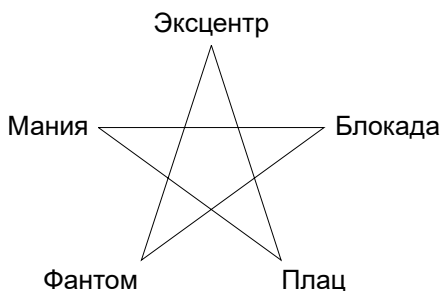
У духа места (*genius loci*), у *местного духа* должны быть какие-то отличительные характеристики, благодаря которым и он сам, и опекаемое им место, и расположенный на нём город («огороженное место», *miasto*, местечко) обладают особенностями, позволяющими воспринимать его как наделённого особой физиономией и не путать с другими *духами*, местами и городами.

Почувствовать этот дух (как грибной запах в сентябрьском лесу) не так-то и трудно, но описать его словами, дать точный словесный портрет (найти грибы) — дело не из лёгких и не всегда выполнимое.

Тем не менее мыслящие головы снова и снова пытаются оговорить/огородить словами «дух места» — в том числе дух Санкт-Петербурга. Ниже следует краткое описание очередной такой попытки в кильватере известной эскадры (Пушкин, Гоголь, В. Одоевский, Достоевский, А. Белый, Анциферов, В. Н. Топоров...). Собственно, я не собираюсь сказать что-то новое,

разве что сформулировать давно известное *покороче*: описать «дух Петербурга» в 3–4, максимум в 5 слов, причём так, чтобы о городе было сказано всё *самое важное* и чтобы найденные (правильнее: *учуянные*) слова, взаимодействуя друг с другом, говорили бы о нём *всё больше и больше*, в том числе и о том, что поначалу мы в них не расслышали.

История возникновения в моей голове (в носу?) пяти слов о Петербурге такова. Два первых возникли сами собой, немедленно, сразу же после того, как я сформулировал задачу («В несколько слов описать город Петербург»), два других подтянулись за ними довольно скоро, а вот пятое, последыш, никак не давалось — и предлагало себя в выморочном виде в самых разных обликах (эта ситуация, собственно, сохранилась по сей день: пятое слово *не совсем меня устраивает*). Вот эта пятёрка:



Интересно, что все пять слов получились *нерусские*. Плацу недолгое время предшествовало каре, но было отброшено. Не исключено, что все слова (включая не до конца устоявшееся пятое) относятся не столько к «духу Петербурга», сколько к его проявлению в психологии и психиатрии его обитателей, впрочем, и то и другое тесно связаны («каков дух, такова и психология», и отчасти наоборот: «какова психология, таков и вызываемый ею дух»).

Вымученное пятое слово несколько раз подступало к кончику языка (истукан? погост? болотный дух? жуть? кровь? диктатор?), отступало и возвращалось в другом (опять неудовлетворительном) облике, и тем не менее чувствовалось, что всех слов должно быть не меньше пяти, хорошо бы *пять* или *шесть*.

Обнаруженные, угаданные, а то и заимствованные элементы формулы Петербурга наверняка входят в формулы других мест и городов подобно тому, как одни и те же атомы входят в состав разных молекул. Так, блокада (чувство и переживание стеснённости, запертости, спёртости) близка немцу, эксцентру — англичанину, и однако же предложенная пятёрка претендует на формулу (приближение к формуле) Петербурга, а не Берлина или Лондона.

Прилагательное от неологизма *эксцентр* — эксцентровый (не эксцентричный и не эксцентрический). Возможно его прочтение с разбиением слова дефисом: экс-центр (бывший центр, бывшая столица) с подразумеваемым был когда-то центром, но более им не является — во-первых, он бывший, во-вторых, эксцентровый, смещён на периферию. Вращение вокруг эксцентра (центра, вынесенного на периферию) есть работа *на разнос* механизма. Слово «эксцентр» было использовано в названии питерско-свердловского литературного журнала «Лабиринт/Эксцентр» (1991 год), затем в перелицованном виде («Эксцентрион») — колумнистом газеты «Смена» М. Бергом.

Блокада — исторический факт из жизни Петербурга-Ленинграда: его 900-дневная блокада в 1941–1944 годах, но здесь правильнее не столько исторический, сколько историко-софский взгляд: на знаменитое «окно в Европу» («пробить окно в тёмном русском доме, в курной избе и тем самым облагодетельствовать народ») можно взглянуть не изнутри дома и просветителей-западников, а со стороны блокирующих его людей-стен, которые не желают, чтобы в них пробивали окна да ещё *насильно*, со стороны того «тёмного» народа, который блокировал западническую инициативу государства и которого государство пробивало-побивало ради своих просветительских целей (установление контакта с Западом, подражание ему, оприходование и использование его военно-промышленных достижений). Петербург — цитадель, военная крепость, каменный город на болоте, окружённый со всех сторон (кроме «западной») хлябью и мором, пребывающий в состоянии блокады. Блокада забавным образом разбивается на Блок-ада.

Плац — плоское вытопанное место для обучения армии, вымощенное болото, механическая шагистика, тупость (не народа, а чиновничества, произрастающего из народа по чужеземным образцам), плоскость... Плоское место — отражающее каменное (натёртое до блеска) зеркало мостовых и площадей.

Фантом — «самый надуманный город», сочинённый на ходу и не к месту (*ad hoc*), от которого остаётся только ждать и надеяться на то, что он вот-вот растает и испарится.

Мания — оттенок упёртости, а то и безумия, присутствующий в «проекте» Петербурга — от Петра через Раскольникова к большевикам и дальше.

→ 27 мая: Кочегар и организатор

НОЯБРЬ

11

суббота

В зоологическом музее тишина, безлюдье. В блестящих, скрипящих на чётных ступенях туфлях поднялся на второй этаж. Долго искал. Выбился из драгоценного терпения. Поднялся выше. Медленно подошёл к искомому. Склонился.

На сфере жемчуга сидит тарантул старый. Он обнимает серебристый кокон, и согревает молчаливо, и чувствует: искрится напевное сияние. То — сожаленье об утрате моря, о предстоящем плене в лапках броши на человеческой груди крикливой. Молчит паук. Скорбит, что жемчугу не стал он другом, хотя за согревание расплата больше, и за свободу от ювелирных козней — тоже. Отдай мне, шар, уменьье продаваться, я каплю яда подарю за это, чтоб полновесней и сильнее стали моя угрюмость и света твоего спирали... Он был последним посетителем. Покидая скелеты и мумии, мысленно произнёс: вы уже там.

Цивцувили птички. Небо расхорошелось. Асфальт пропотел. Корабельные рощи воспрянули духом. Колбы жизни взорвались оранжевопенно.

Этим утром, надевая рубашку, ощутил укол-удар в центр спины, в позвоночный столб. Выгнул спину. В сердце шумел

напалм. Пал на колени, ударился лбом о пол. Позволил таракану пощекотать барабанную перепонку. Откуда боль? Горячо, воспаление легких: раздавил зубами бутерброд со стеклом. Шестой этаж, в кабине лифта отвалился пол. Спасли подтяжки. Вернулся в комнату. Снова удар в спину. Откуда в квартире шершни? Поставил ноги в таз со льдом: пусть тело само выбирается из горячки, клин — клином... Кажется, внутри позвоночника застряла блесна с кованым тройником. Но вдруг полегчало, отвлекли шпалеры пейзажей, шрапнельные взрывы зеленотопольных перспектив.

Самое славное время в городе — с девяти до десяти. Уже заполнены заводы и институты, школы и детсады. Началось повествование о стальной балке, об аденоме, о династии Аккада, о кошмаре крепостничества и семи богатырях. В эти часы, точнее — в эти минуты город без пешеходной эфемерности, без давок, криков, элегически причёсан утренней хмарью или зыбкими нитями дождепадов. Вобрал полусонных детей своих, проглотив то, что выплюнул по звонку будильника, он снова одинок и покинут. А без покинутости он походил бы на базар или на тараканник. И надо спешить пройти по ещё незашарканным мостовым, по пустым прохладным дворам, пробежать взглядом по спокойным глазам Устья, чтобы прошептать про себя: всё на месте. Последнее слово не успевает долететь от бронхов до зубов; дым, пар, зыканье, цаканье, бубуканье, трак-траканье взрываются над бывшими топями и, вставший на дыбы гигант, скинув поэтическую маску прошлых веков, конвульсирует в повседневной неизбежности дел.

После музея ковырял в столовой треску по-польски (почему бы и не по-мексикански), красным глазом следил-отмечал: студенты пьют чай без сахара — пропили стипендию, девушка пьёт кефир, у неё синие губы — порок сердца, дорогие чулки — первое либидо, мужчина слева рассматривает соседку справа, у которой на лбу свищ, из носа торчит вата, бесстрастный глядека, видимо,

врач, поедает салат — витамины. Плохо быть наблюдательным, тошно!

Взглянул на часы на стене, надо успеть на Синопскую набережную к взрыву храма. Всё-таки не успел. По развалинам ходили солдаты. У самой Невы стояли два чёрных старичка. Один из них схватил проходившего мимо зеваку за рукав, показав пальцем на развалины, спросил: куда её перевозят? — Её не перевозят, а сносят. На её месте построят гараж или оранжерею. — Жирею? — не понял старик.

Когда солдаты ушли, влез на груды кирпича, долго рылся в развалинах. Нашёл женскую косу, грош, образец.

Мимо; мост, машины, машины. С кирпичного завода везут на угольный склад кирпичи, со склада на завод везут уголь. Шевеленье минералов. С юга везут плодоовощи, на южное кладбище везут обессиленных.

(Борис Кудряков. Сияющий эллипс)

НОЯБРЬ

12

воскресенье

Париж, Сена, прекрасный летний день. Вдруг посреди Сены всплывает старая, заржавленная, вся в ракушках и водорослях подводная лодка. С грохотом откидывается люк, заросший бородой капитан обращается к случайному прохожему:

— Месье, позвольте узнать, война окончилась?

Тот, шутки ради:

— Нет, ещё воеем.

Капитан командует погружение и со злостью захлопывает люк:

— Проклятый Бисмарк!

НОЯБРЬ

13

понедельник

Словари могут различаться составом слов, а могут — порядком их расположения, способом организации. Алфавитный порядок, принятый в современных лексиконах и словниках, вряд ли можно считать идеальным и тем более органичным. Он

хорош разве что с *практической* точки зрения, для употребления (например, для переводчика, которому нужно быстро найти незнакомое иностранное слово). Интересно, что при алфавитной организации словарь годен лишь для того, кто уже «знает» слово, которое ему предстоит найти, если не по смыслу, то хотя бы по начертанию. Соседство случайных, чуждых друг другу слов и смыслов — обычный удел алфавитного словника.

Тезис: Хороший словарь обязан быть *органичным* или хотя бы к этому стремиться (ключевые слова, систематические каталоги). Словари с картинками ближе к тому идеалу, который я имею в виду, чем алфавитные, хотя в них преобладает *пространственная* (отчасти и *функциональная*) близость: предметы в комнате, дети в классе, звери в лесу и пр., а я имею в виду *мифологическую* близость, определяющую, в свою очередь, близость функциональную и смысловую.

<Продолжение утрачено>

Натюрморт с головкой чеснока

Стены увешаны связками. Смотрит сушёный чеснок с мудростью старческой. Белым шуршит облачением, — словно в собрание архонтов — судилище над книгочеем: шелест на свитках значков с потаённым значеньем, стрекот письмен насекомых, и кашель, и шарканье ног. Тихие белые овощи зал заполняют собой.

Как шелестят их блокноты, и губы слегка шелушатся!
В белом стою перед ними — но как бы с толпою

смешаться,

юркнуть за чью-нибудь спину, ведь нету ни шанса,
что оправдаюсь, не лягу на стол натюрморта слепой!

Итак, постановка.

Абсолютную форму кувшину
гарантирует гипс. Чёрствый хлеб,
изогнув глянцевитую спину,
бельмо чеснока, бельевая верёвка

сообща составляют картину
отрешённого мира, но слеп
каждый, кто прикасается взглядом
к холстяному окну.

Страшен суд над вещами,
творимый художником — Садам!
Тайно, из-за спины, загляну —
он пишет любви завещанье:
ты картонными кущами и овощами
воевала с распадом.

Но отвернётся, читатель мой. Ветер и шёпот сухой.
В связках сушёный чеснок изъясняется эллинской

речью.

В белом стою перед ними — и что им? за что им отвечу?
Да, я прочёл, и я прожил непрочную чернь человечью
и к серебрястой легенде склонился, словно бы

к пене морской.

Шелест по залу — я слышу, — но это не старость,
так шелестит, исчезая из лодки — ладони моей,
пена давно пересохших, ушедших под землю морей...
Мраморным облачком пара, блуждающим островом

Парос

дух натюрморта скользит — оживает и движется

парус —

там не твоя ли спина, убегающий смерти Орфей?

И не оглянуться!

Но и все, кто касался когда-то
бутафорского хлеба, кто пил
пустоту, что кувшином объята, —
все, как чёрные губы, сомкнутся
в молчанье художника-брата,
недаром он так зачернил
дальний угол стола.

Жизнь отходит назад

дальше, чем это можно представить!

Но одежда Орфея бела,
как чеснок. Шелестя и листая
(между страницами памяти
чёрствы бабочки спят),
шелестя и листая,
на судей он бельмы уставит,
свой невидящий взгляд...

(Виктор Кривулин)

В. В. Розанов-мл. и В. В. Набоков-мл. родились в одном 1899 году и учились в одном Тенишевском училище, пожалуй, что и в одном классе. Старый винницкий еврей Н., учившийся там же и тогда же, рассказывал Аркадию, как не любили в училище братьев Набоковых за их «барское» высокомерие. Страсти накалялись порой до того, что братьев «мочили в сортире». К сожалению, Н. не издал свои воспоминания, в отличие от набоковского репетитора Л. М. (Л. В. Розенталь), чьи «Непримечательные достоверности» в 1985 году были опубликованы в «Часах».

Набоков трижды упоминает в «Даре» Розанова, возможно, из-за звукового сходства его фамилии с императорской (у Набокова была своеобразная *idée fixe* на тему своей романовской крови, что-то в духе вел. кн. Николая Константиновича «Ташкентского», «несправедливо» лишённого царской короны). Не исключено, что именно Розанов-мл. принёс в октябре 1911 года в училище новость, краем уха прослышав её от отца, об опубликованной в суворинском «Новом времени» скандальной заметке Н. Снессарева, направленной против Набокова-ст. и намекавшей на то, что он женился на дочери купца-миллионера Рукавишников по расчёту. Дело едва не кончилось дуэлью (Набокова-ст. и Суворина-мл.), но как-то обошлось, хотя мысль о дуэли как литературной теме долго не оставляла Набокова-мл.

«Уединённое» и «Опавшие листья» могли впечатлить, а то и потрясти Набокова поразительной розановской способно-

стью улавливать мгновения переживания и мысли, не погружая их в *общезначимое*, но свидетельств об этом он не оставил, вероятно, стеснялся своего ученичества (точно так же он замалчивал влияние Андрея Белого, включая его стиховедческие штудии, а с Буниным и Достоевским — и того хуже: своё ученичество Набоков умудрился вывернуть в неприязнь).

НОЯБРЬ

16

четверг

Уже давно и осень позади, а только ноябрь. Второй день валит снег. Влажный грустный снегопад к ночи усиливается. Небо темно, низко, предметы едва различимы в сплошном белом потоке. Какая-то равнодушная бездумность во всём...

Встречаешь на улице знакомого:

— Вот и вы, — говоришь. — А мог бы пройти и не узнать — снег какой!

— Да, снег. Второй день уже, — соглашается знакомый и коротко глядит на небо. — И завтра будет, — говорит он. — Ну, а вы как? Что нового?

— Всё по-старому, — говоришь. — Всё, как было.

— Да, — кивает головой знакомый. — Это так. Может быть, переживем зиму, — слабо улыбаясь, произносит он. — А там весна.

И видно по нему, что не совсем он уверен, что там, дальше, весна, лето и что-то ещё или вообще что-то.

— Ну, что ж... — говоришь. — Звоните. Вы, правда, звоните! — в голосе слышно фальшивое одушевление. — А то как-то так получается...

— Да что вы! Конечно, конечно... Вы когда бываете?

— Утром.

— Вот... — говорит знакомый.

И он, и вы знаете, что никто никому не позвонит — ни утром, ни вечером. А если и случится такое, то и забудется.

А снег валит и валит.

(Аркадий Драгомощенко. Тень черепахи)

Город

Колпакою принакрыли трясный город,
 В дольной жути расплестались горожане,
 Стали дробно изсмехаться,
 Над бессмысленностью будей,
 Над абсурдием ласканий,
 И разрывами наукей.

Словно в перетесной банке
 Пауками человеки
 Грязнословием плескались,
 До душенья раздевались
 И лопарили: «Oh, seul!»

Кто один?
 Богожек? Римма?
 Жанна? Длань? Üбермужчина?
 Пресклоняли на языцех: «Я один!»

Един есть зритель!
 Что в дырявинку колпака
 Весть он видит, тяжело дышит
 Злонным мира предыходом
 И мурлычет: «Смерть народам!»

<1964>

Так вот, те пятна были сделаны из света, это очень просто: вы берёте в руки кусок света и начинаете его мять до тех пор, пока не получится живое пятно. Живое пятно все время меняет как форму, так и окраску. Самым гениальным фильмом мог бы стать фильм о пятнах; чтобы снять его было бы достаточно взять мокрый ватман, тушь, кисточку (или перо) и написать музыку — дёшево.

НОЯБРЬ

17

пятница

НОЯБРЬ

18

суббота

Пятно апокалиптическое привиделось и Базарову.

Я — пятновыводитель, т. е. вывожу пятна, возвращаю мир к его первоначальному виду.

Прелесть пятен и в том, что они не ограничены никакими условностями: круг должен быть круглым, треугольник треугольным и т. д.; пятна же могут быть какими угодно, ибо они воистину божественны, пятно — это форма форм.

Ведь даже точка, говоря строго, всего лишь одна из форм пятна, а это значит: мир есть пятно.

Но можно ли назвать пятном линию? Вот в чём вопрос!

Пустота — это бесконечное белое (прозрачное, бесцветное?) пятно.

Неважно, о чём идёт речь, важно, что она *идёт*. У большинства людей речь представляет собой механический набор стереотипов (шаблонов), и только немногие чувствуют языковую стихию, т. е. мыслят. Начните писать книгу о чём угодно, и вы сразу станете и Коперником, и Дарвиным, и Соссюром. Творчество подобно наклонной плоскости, которая для бездарности есть мучительный путь к вершине, а для гения — ужасающее падение в бездну неведомого, в хаос. В конечном итоге творец создает собственную смерть, это культ смерти.

И разве китайский символ Инь-Ян не состоит из пятен?

Если верить Шпенглеру, то культуры автономны и индивидуальны, — стало быть, их можно выразить при помощи различных конфигураций и цветов, получилась бы своеобразная мозаика исторического процесса.

Язык пятен. <...>

Фиолетовые пятна смерти. Чем больше живу, тем больше думаю о них. Что в этом ужасного? Не страшнее ли каждый день просыпаться и мучительно входить в роль человека. (Я-то знаю, я не человек. От человеческого у меня только организм остался.) Хорошо быть тогда, когда читаешь, пишешь или рисуешь, но в промежутках между этими занятиями — гадко. Или это время такое? Таскаться с пачкой рисунков и со стихами по каким-то квартирам, навязываться незнакомым людям, которым всё приелось и которые сами себе приелись, — зачем? У нас нет истинных ценителей прекрасного, поэтому всякая самодеятельность неизбежно несёт на себе отпечаток высокого маразма. Я давно уже превратился в юродивого. Боюсь людей, как иные боятся мышей. Или я лучше понимаю их, — ведь они не кусаются только потому, что за это могут и наказать. Лучше смотреть на облака, на камни.

Сегодня (т. е. вчера) наблюдал при помощи лупы за божьей коровкой. Она ползала по моей рукописи. Оказывается, у этого существа шесть лап и усики. Перевернул её на спину, она беспомощно (почти как черепаха) замахала всеми лапками в воздухе, а потом неожиданно растворила лепестки панциря, взмахнула крылышками и мгновенно перевернулась. Я не удержался и снова повторил эксперимент, — и опять взмах крыльев и букашка ползёт куда-то дальше. Это настолько дивное зрелище, что описать его невозможно. Это как сатори: беспомощная, трепыхающаяся тварь, — взмах крыльев, невесть откуда взявшихся, и букашка уже в пути. Так, в самом глубоком отчаянии, у самого падшего человека невесть откуда берутся силы для жизни, а самоубийство — греховно в силу неверия (недоверия?). Люди сходят с ума от лекций о НЛО, но почему-то никто (т. е. почти никто) не сходит с ума от лекций евангелиста Матфея. Если даже своим происхождением люди обязаны этим тарелкам, то ведь это само по себе ничего не значит. Перед грандиозностью идеи Бога меркнет

всё, но только при её присутствии жизнь заполняется светом. На логическом ослике дальше родного угла не уедешь. Тут опять поневоле вспоминаются крылья божьей коровки и Тертуллиан.

(Борис Ванталов. Книга облаков)

НОЯБРЬ

19

воскресенье

Началось всё с высиживания птенцов.

С огромным трудом и за большие деньги отец выписывал из Гамбурга, из Голландии, из Африки птичьи яйца и подкладывал их высиживать огромным бельгийским курам. Выклёвывание цыплят — изумительных по форме и цвету созданий — увлекало и меня. Невозможно было представить себе, что эти чудовища с огромными фантастическими клювами, которые они, едва появившись на свет, широко разевали, жадно шипя жерлами глоток, эти ящеры со слабыми голыми телами горбунов — и есть будущие павлины, фазаны, глухари и кондоры. Рассажённый в корзины с ватой этот драконовский выводок тянул на тонких шеях слепые головы с затянутыми белёсой плёнкой глазами и беззвучно квакал немymi гортанями. Отец расхаживал вдоль полок в зелёном фартуке, словно садовник вдоль парников с кактусами, и вытаскивал из небытия слепые, пульсирующие жизнью пузыри, воспринимающие внешний мир только в форме еды, наросты жизни, на ощупь тянущиеся к свету. Недели через две эти слепые почки жизни лопались и распускались, наполняя комнаты пёстрым многоголосым шумом, мерцающим щебетом. Они рассаживались на карнизы и шкафы, гнездились в гуще оловянных прутьев и украшений висячих ламп.

Когда отец изучал огромные орнитологические справочники и перелистывал цветные таблицы, казалось, это из них вылетают пернатые фантомы и наполняют комнату

разноцветным трепетом, лепестками пурпура, осколками сапфира, янтаря и серебра. Во время кормления они образовывали на полу красочную колышущуюся клумбу, живой ковёр, который от чьего-нибудь случайного появления распадался, разлетался подвижными цветами, трепеща в воздухе, чтобы затем разместиться в верхних частях комнаты.

В моей памяти сохранился один кондор, огромная птица с голой шеей, сморщенным лицом и крупными наростами. Этот тощий аскет, буддийский лама был исполнен в своём поведении непоколебимого достоинства, придерживался железного церемониала своего великого рода. Когда он сидел напротив отца в монументальной неподвижности вечных египетских богов, затянув глаз откуда-то сбоку белесоватой плёнкой, чтобы окончательно замкнуться в созерцании собственного одиночества, он, со своим каменным профилем, казался старшим братом отца. Та же фактура тела, та же сморщенная отвердевшая кожа, то же сухое костистое лицо, те же глубокие ороговевшие глазные впадины. Даже руки отца с длинными худыми ладонями и выпуклыми ногтями напоминали лапы кондора. Глядя на дремлющую птицу, я никак не мог избавиться от впечатления, что передо мной сохшаяся и потому так уменьшившаяся мумия отца. Думаю, что и мать обратила внимание на это поразительное сходство, хотя мы никогда этой темы не касались. Весьма примечательно, что кондор пользовался той же, что и отец, ночной посудой.

Не ограничиваясь высиживанием новых экземпляров, отец устраивал на чердаке птичьи свадьбы, рассылал сватов, привязывал к щелям и дырам чердака соблазнительных тоскующих невест — и добился в конце концов того, что огромная двускатная кровля нашего дома превратилась в настоящее птичье царство, в Ноев ковчег, к которому со всех сторон слетались все кому не лень. Ещё долго после ликвидации пернатого хозяйства сохранялась эта тради-

ция: в период весенних перелётов на крыше дома собирались целые тучи журавлей, пеликанов, павлинов и прочих крылатых созданий.

Увы, после краткого расцвета кончилось птичье хозяйство печально. Вскоре пришлось переселить отца в две чердачные каморки, используемые раньше как кладовки. Оттуда с раннего утра доносилось смешанное курлыкание птичьих голосов. Деревянные коробки кладовок, усиленные резонансом чердачного пространства, буквально звенели от шума, шелеста, пения, токования и курлыкания. На несколько недель отец совершенно исчез из виду. Он очень редко спускался вниз, и тогда мы замечали, как он уменьшился, исхудал, ссохся. Иногда он забывался за столом, срывался со стула и, размахивая руками, как крыльями, протяжно кукарекал; глаза его при этом затягивались плёнкой. Потом, застыдившись, смеялся вместе с нами, старался превратить случившееся в шутку.

Однажды в период генеральной уборки в птичьем хозяйстве отца внезапно появилась Адель. Остановившись в дверях, она заломила руки от стоявшего в воздухе смрада, куч помёта, лежавших на полу, столах и мебели. Затем решительным жестом распахнула окно и с помощью длинной метлы отправила всю птичью массу в полёт. Взвился адский туман перьев, крыльев и крика, а Адель, подобная безумной менаде, как мельницей вертела своей метлой, отплясывая танец уничтожения. Вместе со всей птичьей стаей отец размахивал руками, пытаясь взлететь. Постепенно туман из перьев и крика стал редеть, и наконец Адель, задыхающаяся, обессиленная, осталась одна. Огорчённый и пристыженный отец капитулировал.

Минутой позже он спускался по чердачной лестнице — царь-изгнанник, утративший свой трон и царство, совершенно сломленный человек.

(Бруно Шульца)

Христианство — самая трудная из религий, настоящий университет по сравнению с начальными школами язычества, иудаизма, ислама... По этой причине оно не многим даётся, одновременно привлекая к себе своей трудностью и отталкивая.

(Слышал от Виктора Антонова)

Дон Хуан попросил меня съездить с ним в соседний городок, и я охотно согласился, подумав, что поездка поможет рассеяться. Мне по-прежнему было не по себе: мысль о том, что колдун в буквальном смысле слова играет с собственной смертью, повергла меня в смятение.

— Быть колдуном — дело не из лёгких, — заметил дон Хуан, словно угадав, о чём я думаю. — Куда лучше научиться *видеть*. Колдун по сравнению с тем, кто *видит*, — нищий.

— Дон Хуан, что такое колдовство?

Старик долго глядел на меня, чуть покачивая головой.

— Колдовство — это направленное действие воли. Колдун отыскивает ключевую точку того, на что хочет воздействовать, и направляет на неё свою волю. Колдун не обязан *видеть*, ему достаточно умело применить волю.

Я спросил, что такое ключевая точка. Вместо ответа дон Хуан спросил, что такое автомобиль.

— Ну, это машина, механизм.

— А главное в нём — *свеча зажигания*. Это и есть ключевая точка — я могу приложить к ней свою волю, и машина не двинется с места.

Дон Хуан уселся в машину, устроился поудобнее и позвал меня.

— Смотри, что я делаю, — сказал он. — Я — ворона, мне надо распушить пёрышки.

Дон Хуан задрожал всем телом, словно воробей, который плещется в луже. Потом склонил голову, как птица, пьющая воду.

— До чего ж приятно! — воскликнул он и засмеялся.

Смех был какой-то странный, завораживающий. Я вспомнил, что и раньше слышал такой, но не придавал ему особого значения — вероятно, потому, что дон Хуан никогда не смеялся так долго, как сейчас.

— А теперь ворона повертит головой, — объявил он и завертел головой, касаясь щеками плеч. — Осмотрится — сначала одним глазом, теперь другим...

Дон Хуан вертел головой, как бы приглядываясь к окружающему то одним глазом, то другим. Потом засмеялся ещё громче, и у меня возникло нелепое ощущение, будто он и впрямь превратится сейчас в ворону. Я хотел смехом стряхнуть наваждение, но не способен был засмеяться, словно меня сковала какая-то неведомая сила. Ни страха, ни головокружения, ни сонливости я не испытывал. Насколько я мог судить, ничто во мне не изменилось.

— Заводи мотор! — потребовал дон Хуан.

Я включил стартер и нажал на педаль газа. Стартер взвыл, но мотор почему-то не завёлся. Смех дон Хуана напоминал кудахтанье. Я снова и снова пытался завести мотор. Старик продолжал смеяться. Промучившись минут десять, я бросил это занятие и с тяжёлой головой откинулся на сиденье. Дон Хуан перестал смеяться, и тогда я понял: это его смех довёл меня до состояния транса. Хотя я полностью отдавал себе отчёт в происходящем, казалось, будто бы я — это не я. Заводя машину, я чувствовал, что одеревенел, словно дон Хуан проделал что-то не только с автомобилем, но и со мной. Едва он перестал смеяться, я понял, что всё кончилось, и снова включил стартер. Краешком глаза я заметил, что старик с интересом следит за мной.

Дон Хуан похлопал меня по спине и сказал, что злость укрепил меня, так что купаться в канаве нет нужды.

— Да ты не стесняйся, — посоветовал он, — лягни свою телегу как следует, она и заведётся!

Он разразился смехом, на этот раз обычным, и мне ничего не оставалось, как глупо захихикать. Тогда дон Хуан объявил, что отпускает мою машину на свободу. И надо же, она немедленно завелась!

(Карлос Кастанеда. *Особая реальность*)

Сидеть как зеркало русской духовности

Слово *сидеть* претендует, пожалуй, на включение в первую десятку «сугубо русских» слов, теснейшим образом связанных с национальной психологией, вроде хорошо известных *авось*, *небось* и *как-нибудь*... *Сидеть* гораздо обширнее и богаче, чем о нём можно подумать, оно выходит за пределы привязки к определённой телесной позе на седалище/ягодицах и означает в немногих словах: «временно утратить подвижность».

Определение слова *сидеть* как пребывание в несвободе, временное лишение подвижности разворачивает многие слова неожиданной стороной и проясняет то, что казалось непонятным или было неверно понятым.

Примеры: сесть на мель, ракета села на Луну, самолёт сел на аэродром, посадили в тюрьму, сесть в лужу, посадить на царство, село, селяне, поселяне, поселиться, осесть, оседлый народ, поселенцы, переселенцы, заселить край, подселенец в квартиру, солнце село за горою (временно прервало свой дневной путь, вернулось в свой ночной дом, завтра утром покинет его), сосед (тот, кто поселился рядом или вместе с тобой: со-), райский сад, садовод, садок, сажать, саженец, осада крепости, осадки, сажа (то, что оседает внутри трубы), расада, засада, высадка десанта, надсада, присадка, допуски и посадки...

Есть, конечно, и «физиологические» слова, связанные именно с сидением на седалище-ягодицах: седло, председатель, заседатель, усидчивость...

<Продолжение утрачено>

НОЯБРЬ

23

четверг

Утром в гостинице русский жалуется с похмелья грузину:

— Голова болит, сил нет!

Грузин (стучит по голове, удивлённо): — А чему болеть-то? Там же кость!

НОЯБРЬ

24

пятница

Он не умел разбирать, куда идёт, и глядеть, куда ступает (в противном случае он смог бы ходить босиком), но даже если бы и умел, это бы ничего не дало — слишком беспомощно управлял он своими движениями. А какой смысл стремиться к мягким мшистым местам, когда нога, сбиваясь с пути, идёт по гальке и кремню или проваливается по колено в коровьи лепёшки? Если перейти теперь к соображениям другого порядка, то, возможно, не будет неуместным пожелать Макману, от слова не сбудется, паралича всего тела, кроме рук, если таковой возможен, и чтобы он оказался на месте, непроницаемом, по возможности, для ветра, дождя, звука, холода, жары (какая была в VII веке) и дневного света, но с двумя-тремя тёплыми одеялами, на всякий случай, и чтобы какая-нибудь милосердная душа, скажем, раз в неделю приносила ему яблоки и сардины в масле, с целью оттянуть, насколько возможно, роковую годину — о, это было бы чудесно! Тем временем дождь лил ничуть не утихая, и несмотря на то что Макман перевернулся на спину, им овладело беспокойство, и он начал кататься по земле из стороны в сторону, словно в лихорадке, застегиваясь и расстегиваясь, и в конце концов покатился в одном направлении, неважно в каком, сначала делая короткую остановку после каждого оборота, а затем без всяких остановок. Теоретически его шляпа должна была последовать за ним, учитывая, что она была привязана к пальто, а шнурок — захлестнуться вокруг шеи, но ничуть не бывало, одно дело теория, а другое — практика, и шляпа осталась там, где она была, я имею в виду, на своём ме-

сте, как брошенная вещь. Возможно, однажды подует сильный ветер и понесёт её, снова сухую и лёгкую, по равнине, закружит, метнёт и забросит в город или в океан, но это совершенно не обязательно. Макману было уже не впервой катиться по земле, но раньше он делал это, не имея руководящей цели. Теперь же, по мере того как он всё дальше и дальше удалялся от того места, где его застиг вдали от приюта дождь и которое, благодаря оставшейся шляпе, продолжало выделяться в окружающем пространстве, Макман осознал, что движется равномерно и даже с некоторым ускорением, возможно, по дуге гигантского круга, так как ему казалось, что один из его концов был тяжелее другого, неизвестно точно какой, но ненамного. Продолжая катиться, он создал и тщательно обдумал план, заключающийся в том, чтобы катиться и катиться всю ночь, если это необходимо, или, по крайней мере, до тех пор, пока силы не оставят его окончательно, и достичь таким образом границ равнины, которую, по правде говоря, он не спешил покидать, но тем не менее покидал, он знал это. Не сбавляя скорости, он начал мечтать о плоской земле, на которой ему не придётся подниматься и снова удерживать себя в равновесии, сначала, допустим, на правой ноге, затем на левой, и где он может появляться и исчезать и так жить, в виде большого цилиндра, наделенного волевыми и познавательными способностями. И однако же он не питал ни малейших иллюзий.

(Сэмюэл Беккет. Мэлон умирает)

Животные обуваются в снежные следы
Или впадают в логово.
Растения гонимы холодом
В лабиринты корней и луковиц.
Люди уменьшают до размеров обуви

Присущие водоёмам ладьи.
Подо льдом, как под тёплым небом,
Фотолуг, фотолес, фотолето.

(Михаил Ерёмин, 1962)

НОЯБРЬ

26

воскресенье

Старик. Ваше Величество, нам с женой больше нечего ожидать от жизни. Благодаря Божьей милости, даровавшей нам долгие и мирные годы, наше существование достигло своей вершины. Моя жизнь завершена, миссия исполнена. Я прожил жизнь не зря, моё послание станет известным всему миру... *(Жест в сторону оратора, который, ничего не замечая, стоит на помосте.)* ...всему миру или, вернее, тому, что от него осталось... *(Широкий жест в сторону невидимой публики.)* ...вам, дамы и господа... вам, дорогие товарищи... вам, остатки человечества, из которых ещё можно сварить отличный бульон... Друг оратор! *(Оратор смотрит в противоположную сторону.)* Современники долго не понимали и не признавали меня... но, вероятно, так и должно было быть... *(Старуха рыдает.)* Сейчас всё это неважно, поскольку я завещаю тебе, дорогой друг... *(Оратор с безразличным видом стоит на помосте и оглядывается по сторонам.)* ...завещаю тебе свет моего духа... Передай его потомству, ознакомь человечество с моей философией... Не пренебрегай и фактами моей личной жизни, то трогательными, то комическими, то печальными... расскажи обо всём... расскажи о моей супруге... *(Старуха рыдает ещё громче.)* ...о том, как она чудесно готовила пирог по-турецки и рубленую крольчатину... расскажи о деревне Берри, где я родился и провёл детство... Я надеюсь на тебя, о великий мэтр красноречия!.. Что же касается меня и моей верной соратницы, то после стольких лет борьбы за прогресс человечества, нам ничего больше не остаётся, как удалиться с поля боя... Мы приносим себя в высшую жертву, которой никто от нас не требует и которая, тем не менее, необходима...

Старуха (*рыдая*). Да, да... мы умрём на вершине славы... умрём, чтобы возродиться в легендах... нашими именами будут названы улицы...

Старик (*старухе*). О, моя верная подруга! Всю свою жизнь ты верила мне... и никогда меня не покидала, никогда... Увы!.. сегодня, в эту торжественную минуту толпа безжалостно нас разъединила... А я...

Я умереть хочу вдвоём
С супругой милой
Чтоб смерть свела наши тела
В одну могилу
Чтоб в общий час нам разорвать
Страданий нить
Одних червей собой питать
И вместе гнить!

Старуха. ...и вместе гнить...

Старик. Увы!.. увы!..

Старуха. Увы!.. увы!..

Старик. ...наши тела падут далеко друг от друга... мы сгниём в одиночестве... Но не будем роптать на судьбу!

Старуха. Чему быть, того не миновать!

Старик. Нас не забудут. Бессмертный Император сохранит о нас вечную память.

Старуха (*эхо*). ...вечную память...

Старик. Мы оставим после себя след на земле... ведь мы — не города, а люди...

Старик и старуха (*вместе*). Нашими именами будут названы улицы!

Старик. И если мы не в силах соединиться в пространстве, соединимся во времени и в вечности... умрём в одно мгновенье!.. (*Оратору по-прежнему неподвижному и безразличному.*) В последний раз... я всё тебе доверяю... я рассчитываю на тебя... Ты всё скажешь... Это моё завещание... (*Императору.*) Ваше Величество, простите меня... Прощайте все... Прощай, Семирамида!

Старуха. Прощайте все!.. Прощай, котик!

Старик. Да здравствует Император!

Он бросает на невидимого Императора конфетти и серпантин.

Звучат фанфары. Ярким фейерверком вспыхивает свет.

Старуха. Да здравствует Император!

Она бросает конфетти и серпантин на Императора, на неподвижного оратора, на пустые стулья.

Старик *(та же игра)*. Да здравствует Император!

Старуха *(та же игра)*. Да здравствует Император!

С криком «Да здравствует Император!» старик и старуха одновременно выбрасываются каждый в своё окно. Внезапно наступает тишина, затем с обеих сторон сцены раздаётся приглушённый крик и плеск упавших в воду тел. Яркий свет, струившийся из раскрытой большой двери и окон, исчезает, остаётся тусклый свет керосиновой лампы, как в начале пьесы. Тёмные окна распахнуты настежь, шторы колышутся на ветру. Во время сцены двойного самоубийства оратор оставался неподвижным и безразличным, теперь он решает наконец заговорить и поворачивается лицом к рядам пустых стульев. Неожиданно обнаруживается, что оратор — глухонемой. Он издаёт нечленораздельные звуки, хрипит, стонет, отчаянно жестикулирует, безуспешно добиваясь, чтобы его поняли.

О р а т о р. М-мм-м... х-х-хы-ы... м-м-м... гу-у-у-у-у... г-г-гу... э-э-э... э-э... х-хы... гэ-э-э... м-м-м...

Оратор бессильно опускает руки. Вдруг его лицо проясняется: ему в голову пришла какая-то мысль. Оратор поворачивается к классной доске, достаёт из кармана кусок мела и пишет большими буквами:

ОТХРРЬАХЛЬХЛАББ

Затем:

ННАННМНВНННВ

Оратор поворачивается к невидимой публике и указывает пальцем на классную доску.

О р а т о р. М-мм-м... ге-е-е... х-х-хы-ы... э-э-э... гу-у-у...
М-М...

Недовольный, он резким движением стирает всё с доски и шепчет снова. Среди написанного можно разобрать:

ЫШАЙТГТШБОХРБГГ

Оратор вновь поворачивается к залу и вопросительно улыбается, надеясь, что на этот раз его поймут. Он указывает пальцем на классную доску и несколько минут ожидает, потом перестает улыбаться и мрачнеет. Оратор ожидает ещё немного, внезапно кланяется, спускается с помоста и, словно призрак, направляется к большой двери в глубине сцены. Здесь он кланяется пустым стульям в последний раз и уходит. Сцена остаётся пустой, стулья, помост, пол покрыты серпантином и конфетти. В глубине сцены темнеет распахнутая дверь. Впервые становится слышен шум невидимой публики: взрывы смеха, шёпот, возгласы «тише!», покашливание. Шум продолжается довольно долго, сначала усиливаясь, затем ослабевая. Занавес опускается очень медленно.

(Эжен Ионеско. Стулья // Часы, № 21, 1979)

Если Философову случится пройти по мокрому тротуару без калош, то он будет неделю кашлять: я не понимаю, какой же он друг рабочих?

Этак Антихрист назовет себя «другом Христа», иудей — христианина, папа — Антихриста, а Прудон — Ротшильда. Что же это выйдет? Мир разрушится, потеряет грани, связи; ибо потеряет *отталкивания*. Необходимые: ибо самые *связи-то* держатся через отталкивания.

(Василий Розанов)

Для учёных заря и сумерки — одно явление, и греки думали так же, поскольку обозначали их одним и тем же словом, менявшим смысл лишь в зависимости от того, шла ли речь о вечернем или утреннем времени. Это смешение понятий прекрасно выражает главную идею теоретических построений и странное пренебрежение конкретной стороной вещей. Пусть некая точка Земли непрерывно перемещается между зоной падения солнечных лучей и той зоной, где свет уходит от неё или возвращается к ней. В действительности же ничто не являет собой такого различия, как вечер и утро. Восход солнца — это прелюдия, его закат — увертюра, которая исполнялась бы в конце вместо начала, как в старинных операх. Лик встающего солнца сразу возглашает о погоде, которая затем последует: мрачный и мертвенно-бледный — если первые утренние часы окажутся дождливыми; розовый, лёгкий, игристый — если будет сверкать ясный свет. Но в смене дня утренняя заря не предрешает ничего. Она даёт основание для метеорологического прогноза и говорит: будет дождь или будет хорошая погода. Что касается солнечного заката, то это совсем другое дело. Это законченный спектакль с началом, серединой и концом, нечто вроде миниатюрной картины сражений, триумфов и поражений, которые следуют друг за другом в течение двенадцати часов. Утренняя заря — всего лишь начало дня, сумерки — его повторение.

Вот почему люди уделяют больше внимания заходящему, нежели восходящему, солнцу. Рассвет даёт им сведения, всего лишь дополняющие показания термометра, барометра; для менее цивилизованных он означает лишь фазы Луны, полёты птиц или колебания приливов и отливов, в то время как закат солнца возвышает людей, объединяя в таинственные конфигурации перипетий ветер, холод, жару и дождь, в которых протекало их физическое существование. Потоки сознания читаются также в неясных созвездиях. Когда на небе начинают играть краски заката, крестьянин приостанавливает свой шаг на тропинке, рыбак при-

держивает лодку, а «дикарь»-индеец, сидя у бледнеющего огня, прищуривает глаз.

Воспоминание — великое наслаждение для человека, но только не тогда, когда оно оказывается буквальным, ибо не многие согласились бы заново пережить все выпавшие на их долю тяготы и страдания, о которых они тем не менее любят поговорить. Воспоминание — это сама жизнь, но в другом качестве. Поэтому, когда солнце склоняется к гладкой поверхности спокойной воды или когда его диск разрезает гребень гор наподобие твёрдого и зазубренного листа, человек открывает именно в этой быстротечной фантазмагории средоточие непроницаемых сил, испарений и зарниц, неясные столкновения которых он смутно чувствовал в глубине самого себя в течение всего дня. <...>

Ничто не кажется столь таинственным, как совокупность всегда одинаковых, но не предсказуемых в своей комбинации переходов, посредством которых ночь приходит на смену дню. Её печать появляется на небе внезапно, сопровождаемая неуверенностью и тревогой. Никто не способен предугадать, какую форму примет — и только в этот единственный раз — приход ночи. Какая-то непостижимая алхимия превращает каждый цвет в свои бесчисленные варианты, тогда как хорошо известно, что на палитре для этого нужно открыть не один тюбик. Однако возможности ночи смешивать краски безграничны, ибо её спектакль — феерия: розовый цвет неба переходит в зелёный. Оказывается, я не обратил внимания, что некоторые облака сделались ярко-красными, из-за чего небо по контрасту представляется уже зелёным, хотя на самом деле оно было розовым, но очень бледного оттенка, который не может дольше бороться с чрезвычайно резким свойством нового цвета. Его я не заметил потому, что переход от золотистого цвета к красному вызывал меньшее удивление, нежели от розового к зелёному. Итак, ночь наступает словно обманом.

Вакханалию золота и пурпура ночь начинала подменять их отражением, заменяя тёплые тона на белые и серые. На

небосводе медленно открылся морской пейзаж из громадного занавеса облаков, растягивающихся в виде параллельных полуостровов, — ни дать ни взять плоское песчаное побережье с вытянутыми в море косами — вид, часто открывающийся с самолёта, летящего на небольшой высоте и накренившегося на крыло. Эта иллюзия усиливалась последними отсветами дня, которые, освещая под очень острым углом облачные острия, придавали им рельефный вид. Облака стали походить на незабываемые скалы, вылепленные тоже светом и тенью, но уже в другие часы, как если бы светило устало работать своими сверкающими резцами по порфиру и граниту и принялось за немощные воздушные материалы.

По мере того как небо очищалось на фоне облаков, походивших на прибрежный пейзаж, появились пляжи, лагуны, множество островков и песчаных мелей, заполненных инертным небесным океаном, покрывавшим фьордами и внутренними озёрами распадавшуюся пелену. И потому, что небо, окаймляющее эти облачные стрелы, подделывалось под океан, а море, как обычно, отражало цвет неба, небесная картина воспроизводила отдалённый пейзаж, на фоне которого снова будто бы село солнце. Впрочем, достаточно было взглянуть на настоящее море, находящееся внизу, чтобы отвлечься от этого миража: оно уже не было ни пылающей пластиной полдня, ни грациозной и курчавой поверхностью послеполуденного времени. Лучи света, падавшие почти горизонтально, освещали лишь лицевую, обращённую к ним сторону небольших волн, тогда как другая их сторона была совершенно тёмной. Таким образом вода становилась рельефной, с чёткими тенями, подчеркнутыми углублениями, как в металле. Прозрачность исчезла.

И тогда, как это бывает обычно, но всегда неуловимо и мгновенно, вечер уступил место ночи. Всё изменилось. В небе, непрозрачном на горизонте, а выше — мертвенно-жёлтым и переходящем в синеву у зенита, развеялись по-

следние облака, приведённые в движение окончанием дня. Очень скоро они превратились в тощие, болезненного вида тени наподобие подставок для декораций. Так после спектакля на уже не освещённой сцене вдруг замечаешь убожество, непрочность и недолговечность декораций, понимаешь, что действительность, иллюзию которой им удалось создать, была вызвана не их природой, а каким-то трюком освещения или перспективы. Только что они жили и менялись каждое мгновение, а теперь казались застывшими в скорбной форме посреди неба, готовые слиться с его возрастающей темнотой.

(Клод Леви-Строс. Печальные тропики)

Жуткое Погребщице

Игорь с присущей ему хозяйственной хваткой активно осваивал Быково: построил на юго-востоке от моего участка дом, года через три на севере, ближе к ручью, ещё один, огромный, из двух соединённых галереей частей — женская половина для Нины, мужская для себя. В связи с покупкой земли он не раз наведывался в местный сельсовет, возил председателю и его жене подарки. Однажды прихватил меня с собой в Ленинград, но каким-то сложным путём — не через Плюссю, мимо усадьбы Римского-Корсакова на Киевское шоссе, а через Ляды, в сторону Гдова, где его ожидал брат Валера, несколько дней рыбачивший на Чудском озере.

Заехали заодно в Должицы, председатель сельсовета попросил подкинуть в Ляды, раз уж мимо едем, двух своих малолетних племянников, возможно, это они — одним своим присутствием — спасли нам с Игорем наши заскорузлые и не очень-то нужные ангелам-хранителям жизни. Холодно, первый ноябрьский снежок, ребята на заднем сиденье, выезжаем из Должиц, резво набираем скорость, ещё, ещё — и в следующее мгновение наша «Волга» не вписывается

в крутой поворот и, взлетев, срывается через неглубокий кювет, отыскивая себе несмертельный путь между гранитных валунов и берёз, с дороги. Я в крови, ударился лицом, Игорь невредим, дети притихли, через минуту зажурчали: «Ух ты! Вот здорово! Никогда ещё в аварию не попадали». Вылезли, осмотрелись. На той стороне дороги указатель: до пионерского лагеря «Дружба» 3,7 км, меня эта бесполезная точность несколько удивила: не «3,5 км» и не «4», что естественно, а «3,7» — только бы лишний раз помаячила передо мной высокочастотная «тридцатьсемёрка».

В ближайшей деревне с жутковатым названием Погребнице Игорь пытался дозвониться в Ленинград, объяснить жене задержку. Дозвониться так и не сумел, оставил хозяину номер её городского телефона с просьбой рассказать о случившемся, после чего разошлись кто куда: я повёл детей в Должицы, Игорь — искать трактор и помощь, но не нашёл, пришлось остаться до следующего дня. Ночевали в Погребнице, в том самом доме, откуда Игорь звонил. Хозяин, как вскоре выяснилось, выполнил его поручение не самым лучшим образом: телефонная сеть переполнена, с помехами и хрипами, всё, что Нине удалось разобрать сквозь шумы — едва слышный незнакомый голос, проговоривший что-то об аварии, в которую попал её муж с приятелем, и о их *погребении*... Через день местные трактористы кое-как поставили «Волгу» на колёса, добирались мы в Ленинград медленно и долго, промёрзли до костей: мотор едва работал, да и лобовое стекло разбито...

В «Путешествиях Гулливера» есть эпизод о борьбе двух придворных партий лилипутов — одни разбивают варёное яйцо с острого конца, другие — с тупого. С точки зрения Свифта, проблема мелочная, яйца выеденного (в данном случае — облупленного) не стоит, и хотя Гулливер *правильным образом* принимает сторону тупоконечников, его выбор определяется

не существом дела, а случайным обстоятельством — чувством дружбы к одному из тупоконечников.

Читатель готов согласиться с автором («Не всё ли равно, с какой стороны разбивать яйцо!»), но при более глубинном, *подскорлупном* рассмотрении выясняется, что он неправ — куриное яйцо отнюдь не симметрично, как хотелось бы думать Свифту: заточённый в нём цыплёнок располагается головой в сторону воздушного пузырька, который всегда с *тупой* стороны яйца. Даже глупая сорная курица-большеног зарывает яйца в инкубаторную кучу компоста, которую сама же и собирает, непременно тупым концом вверх, чтобы цыплятам легче было выбраться — неужели она умнее Свифта и выучила назубок то, на что он не желает обратить внимание?

Биологически ориентированный человек, которому асимметричная жизнь дороже симметричных рассуждений, естественно не будет автоматически уравнивать ни левую сторону с правой (полушария головного мозга, левши-правши), ни женщин с мужчинами, ни тупую сторону куриного яйца с острой. *Правильное* положение яйца в пашотнице — тупым концом вверх, воздушный или «небесный» пузырёк в нём ориентирован к небу, умная голова цыплёнка устремлена туда же, а его избавитель-акушер тупоконечник безусловно способствует «родам», пусть даже — по причине утраты цыплёнком в сваренном яйце жизненно важных функций — делает это условно и, однако же, на конфуцианский манер, в согласии с *природой вещей*.

Космос начинается рядом с нами, в том числе и за обеденным столом, как путь в тысячу шагов начинается с первого шага. Достойное поведение в мелочах, вроде правильного разбиения яйца, укрепляет положение человека в мире, переключая энергию анархии и деструкции на специально предусмотренные для этого карнавалы, ритуально взрывающие космос.

Интересно разобраться не только с пространственной ориентацией яйца и правильным выходом из него, но и с его составными элементами и их соответствием стихиям — желток, белок, плёнка (не одна), воздушный пузырёк, скорлупа, воспринять яйцо как микрокосмос и иметь с ним дело как с микрокосмосом.

Философ Козьма Прутков предостерегал читателей о бесполезном растрачивании духовной и познавательной энергии

и в одном из своих *мондо* призывал наблюдать за кругами от бросаемыми в воду камней. Последуем его совету и отринем мертвенно симметричный вариант Свифта как чреватый опасными заблуждениями, остережёмся разбивать варёные яйца как попало, а будем делать это в согласии с общим устройством космоса. «Разбивая яйцо, не забывай о космосе, который в результате этого разбиения рождается». Или так: «Разбивай яйца правильно (с тупого конца) и не думай бездумно, что это крохотное деяние безразлично для судеб человеческого и природного мира». Сказанное тем более относится к *пасхальным яйцам*, этим двойным и тройным символам рождения, возрождения, преображения и воскрешения. Православный обычай биться на Пасху яйцами я дополнил бы указанием делать это исключительно тупыми (жизненесущими) концами.

Напомню, что речь идёт об «объекте», перегруженном символическими и метафизическими толкованиями и активно используемом в религиозной теории и практике (яйцо и создание мира, яйцо в саркофаге, пасхальные яйца и пр.). То ли Свифту не доводилось видеть куриные яйца, то ли их разбивали слуги, то ли по какой-то третьей причине — в любом случае он подошёл к *серьёзнейшей проблеме* более чем поверхностно.

Не столько прагматическое удобство при разделывании яйца, сколько его внутренняя асимметричная форма вынуждает сторонников партии жизни обращаться с яйцом, как это делали умницы-тупоконечники.

Рождение в мир головой вперёд, вынос покойника на кладбище ногами вперёд, наверное, что-то да значат — я не могу сохранять нейтралитет там, где естественное положение дел свидетельствует о том, что нейтралитета нет.

Перефразируя слова о любви к видимому ближнему как предпосылке любви в невидимому Богу, скажу, что тот, кто неправильно разбивает яйца, не способен правильно относиться к *миру в целом*. Порча человека начинается с малого и завершается его духовной смертью, предполагающей среди прочего неспособность человека отличить истинное от ложного, живое от мёртвого, Божественное от дьявольского.

→ Вперёд ногами: 3 января/2018

ДЕКАБРЬ

Известно, что брат Кинг-Конг учился на математическом факультете университета, поступив на него при поддержке еврейской общины, так как выказывал блестящие математические способности; ему предрекали не менее блестящее будущее, но он ушёл с последнего курса — то ли потому, что всерьёз увлекся богословием, то ли по болезни. Он не любил говорить о произошедшем с ним психическом срыве, хотя все знали, что он почти год пролежал в клинике, где с помощью нейролептиков боролся с облаком невнятных видений. Он начал с хасидской литературы и некоторое время, в конце шестидесятых годов, считался подающим надежды талмудистом; затем под влиянием больничного священника перешёл в православие и, уже в бытность свою редактором, написал около десятка философских статей. Но талант его проявился в другом. Будучи на редкость неэгоцентричным, нетщеславным человеком, лишённым почти обязательного для автора честолюбия, он был в высшей мере наделён способностью к сопереживанию чужому творчеству, являясь отзывчивой мембраной и возбуждаясь от колебаний постороннего интеллекта подчас сильнее, чем это получалось у самого автора. Это был взыскательный читатель, откровенно и бурно радующийся чужим удачам, как своим; и помогал всем, кому мог помочь, если только верил, что у его протеже есть будущее. Он помогал самым обречённым и неудачливым людям, если только видел, что они искренни в своих литературных

ДЕКАБРЬ

1

пятница

устремлениях и любят их общую прародину. В своих суждениях он был по-еврейски категоричен и по-русски лишён дипломатических потуг, и хотя его увлечённая поглощённость исключительно русской культурой не могла не импортировать русской оппозиции, его опасная эмоциональность, подчёркнутая подчас резким тоном и раздражающей многих подвижностью, наживала себе врагов с трудно представимой лёгкостью. <...>

Социальная жизнь в его представлении только заслоняла или засоряла жизнь истинную: незамутнённую жизнь духа, которую он, будучи религиозным человеком, толковал, правда, в категориях скорее восточной, нежели церковной философии. Не испытывая никакого уважения к социальным категориям (вероятно, давал знать о себе опыт хасидизма), брат Кинг-Конг плохо понимал, что такое собственность, как своя, так и чужая: он давал свои книги и вещи, забывая потом справиться об их судьбе, но так же годами держал чужие книги, что приводило к обидам владельцев. Будучи неаккуратен в расчётах, он в конце концов нажил несколько ярких недоброжелателей, так как денежный план отношений его также не беспокоил, и он легко забывал о том, кому и сколько должен, как, впрочем, и о тех, кто должен был ему. Если была еда — он ел, если ему наливали вино — пил, если не было ничего — мог голодать; приходя в гости, по русской привычке оставлял у дверей чудовищные бесформенные башмаки, шёл прямо в носках, тут же вмешивался в разговор, не смущаясь незнакомой компанией, брал на себя главную партию и начинал бесконечный монолог, остроумный и искомётный, подворачивая под себя плоские ступни в тёмных заштопанных носках, ошеломляя слушателей напором необычных мыслей, с увлечением рассказывая о малоизвестных, только что вышедших новых книгах, говоря о чём угодно, только не о себе, пересказывая чужие работы, если можно так выразиться, конгениаль-

но, и «тыкая» мужчинам и женщинам, почти невзирая на возраст.

Это был подвижник чистой воды; и для журнала, как, впрочем, и для всей русской оппозиционной культуры этот неофит был незаменим, сделав для неё, возможно, больше, чем кто-либо другой.

(*Михаил Берг. Момемуры // ВНЛ, № 6, 1993*)

Вниз по чакрам

Краткая схема европейской истории после Лютера составлена в помощь школьникам (тем, кто знаком с *чакрами*) как мнемоническое средство и свидетельствует о неуклонном её нисходящем движении по чакрам (проще говоря, *опускании*) — от тысячелепестковой до анальной.

XVI век. Тысячелепестковая, божественная: Лютер, религия, дух. Солнце.

XVII век. «Третий глаз»: Декарт, философия, разум. Луна.

XVIII век. Горловая: Вольтер, деятели Французской революции, речь. Меркурий.

XIX век. Сердечная: романтики, Шеллинг, чувство. Венера.

XIX век. Волевая, «солнечное сплетение»: Маркс, Ницше, террористы, воля, власть. Марс.

XX век. Сексуальная: Фрейд, ощущение. Юпитер/Юнона.

XX век. Анальная: Кручёных, Батай, постмодернизм, тело, распад. Сатурн/Кронос.

Об ожидающей Европу после анальной чакры стадии трудно сказать что-либо определённое: следует ли ожидать обратного движения от нижней чакры к верхней или же резкого прыжка-фонтанирования сразу в верхнюю чакру и — после него — нового медленного опускания вниз.

Анальная чакра — чакра распада жёстких форм (срв. разложение трупа), невозможности отличить хорошее от плохого, *свалки*. Вода + земля; отбросы, испражнения... Осо-

бое внимание к анусу превращает отбросы в эротический «объект». Анальная чакра связана с анализом, с аналитикой (не только сходным звучанием слов): путь анализа есть путь разложения, распада и упрощения форм — в идеале в простейшую, однородную, «демократическую» массу. Об этом у К. Леонтьева.

ДЕКАБРЬ

3

воскресенье

Хотел бы стать Сковородой
иль подорожную каликой
со страстью странствовать великой,
с тревожно вздетой бородой.
Постукивая посошком
по камешкам, как по жеребьям
чужим, тащился бы шажком,
смирен и тих, одет отрепьем,
нагружен благостным мешком, —
и в чреве том, простом, холщовом,
подобрались бы к тексту текст:
Монтень, Паскаль и старый Секст.
Угодники! Кого б ещё вам
в собратья дать? И отчего
в суме иного нету, кроме
моей тетради кочевой,
что ночевала в жёлтом доме?

(Сергей Петров, 1941)

ДЕКАБРЬ

4

понедельник

Один англичанин на протяжении пятнадцати лет *ежедневно* приходил в бар и на «Чего изволите?» официанта заказывал неизменные 50 граммов виски и кусочек рокфора — тому и в голову не приходило упредить желания клиента (что с третьего раза сделал бы и французский офици-

ант, и итальянский) и тем самым ущемить свободу его воли. «Чего изволите?» — «50 граммов виски и кусочек рокфора». — «Пожалуйста».

(Слышал от Кирилла, который слышал от Иры Вальдрон, божится, что не анекдот)

О лёд, всемирный лёд, тюрьма
Вся стужа звёздная над нами
Как будто Древняя Зима
Оделась ясными зрачками
И смотрит в нас — со дна Невы
Читает нас — живую кожу
Как буквы — с ног до головы

(Сергей Стратановский, 1973)

ДЕКАБРЬ

5

вторник

Будем думать о простых вещах. Человек говорит: завтра, сегодня, вечер, четверг, месяц, год, в течение недели. Мы считаем часы в дне. Мы указываем на их прибавление. Раньше мы видели только половину суток, теперь заметили движение внутри целых суток. Но когда наступают следующие, то счёт часов мы начинаем сначала. Правда, зато к числу суток прибавляем единицу. Но проходит 30 или 31 суток. И количество переходит в качество, оно перестаёт расти. Меняется название месяца. Правда, с годами мы поступаем как бы честно. Но сложение времени отличается от всякого другого сложения. Нельзя сравнить три прожитых месяца с тремя вновь выросшими деревьями. Деревья присутствуют и тускло сверкают листьями. О месяцах мы с уверенностью сказать того же не можем. Названия минут, секунд, часов, дней, недель и месяцев отвлекают нас даже от нашего поверхностного понимания времени. Все эти названия аналогичны либо предметам, либо поня-

ДЕКАБРЬ

6

среда

тиям и исчислениям пространства. Поэтому прожитая неделя лежит перед нами как убитый олень. Это было бы так, если бы время только помогало счёту пространства, если бы это была двойная бухгалтерия. Если бы время было зеркальным изображением предметов. На самом деле предметы это слабое зеркальное изображение времени. Предметов нет. На, поди их возьми. Если с часов стереть цифры, если забыть ложные названия, то уже может быть время захочет показать нам своё тихое туловище, себя во весь рост.

Пускай бегают мышь по камню. Считай только каждый её шаг. Забудь только слово каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый её шаг покажется новым движением. Потом, так как у тебя справедливо исчезло восприятие ряда движений как чего-то целого, что ты называл ошибочно шагом (ты путал движение и время с пространством, ты неверно накладывал их друг на друга), то движение у тебя начнёт дробиться, оно придёт почти к нулю. Начнётся мерцание. Мышь начнёт мерцать. Оглянись: мир мерцает (как мышь).

(Александр Введенский. Серая тетрадь // Часы, № 31, 1981)

Следуя наставлениям дона Хуана, я начал учиться слушать «звуки мира» и занимался этим два месяца. Поначалу слушать, а не смотреть, было трудно, но ещё труднее оказалось воздерживаться от внутреннего разговора с собой. И всё же за два месяца я научился прерывать его и вслушиваться в звуки.

10 ноября 1969 года в девять часов утра я приехал к до-ну Хуану. Он предложил не откладывая отправиться в горы. Я немного отдохнул; мы сели в машину и поехали на восток, к склонам гор. <...>

Когда я выкурил трубку, дон Хуан сказал, что теперь я узнаю, на какую дичь мне охотиться. Несколько раз он повторил, что самое главное для меня — обнаружить «дыры». Он сделал ударение на слове «дыры» и добавил, что в них колдун находит знамения и указания.

Я хотел спросить, о каких «дырах» идёт речь, но дон Хуан, опередив меня, заметил, что описывать их бесполезно, ибо они принадлежат *видению*. Он несколько раз подряд призвал меня сосредоточиться на звуках и особенно — на «дырах» между ними и предупредил, что будет четыре раза играть на манке для духа. Жуткие завывания манка должны помочь мне в розысках гуахо, который когда-то уже проявил свою благосклонность ко мне; гуахо научит меня всему, в чём я нуждаюсь. Дон Хуан посоветовал быть начеку, ибо совершенно неизвестно, как гуахо будет себя вести.

Я сидел прислонившись спиной к скале и внимательно слушал. Руки и ноги оцепенели и утратили чувствительность. Дон Хуан велел мне не закрывать глаза. Я прислушался и вскоре различил пение птиц, шелест ветра в листве, жужжание насекомых. Сосредоточившись на этих звуках, я смог выделить четыре вида птичьего щебета, оценить на слух скорость ветра, разобрать три разновидности шелеста листвы.

Жужжание насекомых меня потрясло: в нем смешалось столько звуков, что я не мог ни расчленивать, ни подсчитать их! <...>

Всё наполнилось звуками; я не столько прислушивался к ним, сколько они притягивали к себе мой слух. В верхушках деревьев подул ветер, пробежал по долине. Сначала коснулся листвы высоких деревьев, и она зашелестела густо, сочно, с потрескиванием, словно объятая пламенем; потом выплеснул целый фонтан разноречивых звуков из кустов, готовых заглушить своим шорохом всё вокруг. Мне пришлось в голову, что я похож на этот шорох — такой же раздражительный и назойливый: сходство меня огорчило.

Ветер вихрем пронёсся по земле — не шелест, а скорее свист или жужжание. Прислушиваясь к шуму ветра в листьях, я понял, что все три его разновидности звучат одновременно, и удивился, что могу различать их. В ту же секунду я вновь услышал пение птиц и жужжание насекомых. Только что царил ветер, а теперь на меня обрушилась лавина других звуков. Странно: ведь они не смолкали и тогда, когда мне слышался один ветер!

Я не мог пересчитать все голоса птиц и насекомых, но, несомненно, слышал каждый звук в отдельности. Все вместе они составляли изумительное сочетание, вернее, узор, где каждому звуку находилось своё место.

Вдруг раздался громкий протяжный вой; я вздрогнул. Все звуки на мгновение смолкли. Эхо прокатилось по долине, покинуло её, и вновь возник знакомый звуковой узор. Прислушиваясь к нему, я вспомнил совет дон Хуана наблюдать за «дырами» между звуками и неожиданно обнаружил, что в промежутках между звуками возник своеобразный узор молчания! Птичье пение и другие звуки образовали кружево с паузами-дырами, а шелест листьев как бы связывал остальные звуки своим однообразным шумом. Каждый звук был составным элементом единого звукового орнамента, а паузы, когда я обращал на них внимание, — «дырами» в нём. <...>

Дон Хуан повёл меня к ручью, помог раздеться, окунул в воду. Потом положил на мелководе и окатил водой из своей шляпы.

Звон в ушах быстро прекратился; на «купание» ушло всего несколько минут. Дон Хуан одобрительно кивнул головой и сказал, что на этот раз я «отвердел» почти сразу. Я оделся и вернулся на прежнее место. Чувствовал я себя отлично. Выслушав подробности, дон Хуан сказал:

— Гуахо сообщается с колдуном через «дыры» в звуках.

Он отказался объяснять свою фразу, заявив, что, поскольку у меня нет гуахо, объяснения могут только навредить.

— Для колдуна всё имеет смысл, — продолжал он. — Дыры есть не только в звуках, но во всём, что нас окружает. У людей просто не хватает скорости, чтобы уловить их, и потому они идут по жизни без защиты. Черви, птицы, деревья могут сообщить нам невероятные сведения, если достичь скорости, на которой их сообщение становится понятным. Для этого и используют *дымок*: он разгоняет человека. Но при этом мы должны находиться в хороших отношениях со всеми живыми существами. Вот почему разговаривают с растениями перед тем, как их выкопать, и просят прощения за причинённую боль. Точно так же разговаривают с животными, на которых собираются охотиться. Следует брать лишь то, что необходимо, иначе убитые нами растения, звери и черви восстанут против нас и вызовут всевозможные болезни и несчастья. Воин знает об этом и старается их умиротворить, поэтому, когда он глядит в дыру, деревья, птицы и черви его не обманывают.

(Карлос Кастанеда. Особая реальность)

Таковы некоторые главные аспекты символа точки. Они далеко не исчерпывают всего содержания этого символа, но если бы здесь было рассмотрено аспектов и во много раз больше, то и тогда составителям словаря пришлось бы сделать ту же оговорку. Это не случайность. Символ не есть отвлечённое понятие или некоторый артефакт, в отношении которого от нас или от кого бы то ни было зависит очертить точные границы и неким законодательным актом воспрепятствовать символу выходить за эти пределы. Как живое духовное образование, символ сплочён и в себе определён, но изнутри, а не извне. Только изучение фактических случаев символопользования даёт возможность приблизительно понять границы символа, но лишь приблизительно. Мы уверены, что живое, при всех своих движениях, останется верным себе самому и не выйдет из пределов своего строе-

ния; но тем не менее загодя мы не знаем, как именно расположится живое в том или другом частном случае. Так — и символ. Если бы даже в символярии собрать все бывшие до настоящего момента случаи пользования символом точки, то и тогда каждый новый день мог бы принести с собою и непредусмотренное символоприменение, хотя можно заранее с полной уверенностью утверждать, что и оно войдёт в организм уже соотнесённых аспектов и лишней раз скрепит намеченные связи.

Но именно потому не только случаи символопользования, но и их классификация не могут быть признаны окончательными — в данной символярии, как и во всяком другом, последующем. Как орган живого целого, организма, психологического созвездия, тот или другой аспект символа не характеризуется единственным признаком и, держа, хотя и в различной проявленности, признаки многообразные, соотносится со всеми прочими аспектами. Поэтому распределение отдельных аспектов условно и приблизительно. Правда, соединительные связи данного аспекта с прочими в одних случаях прямые, в других — посредственные, в одних — бросающиеся в глаза, в других — лишь намечаемые. Но в познании живого организма символов и это всё может быть сказано лишь приблизительно: не сегодня-завтра отыщется новый аспект, новый случай символоупотребления, которым крепко свяжется то, чего сейчас связующие нити еле заметны.

(Павел Флоренский. Точка)

Учелло-волосатик

Учелло, дружок, моя химера, ты жил с этим мифом волос. Тени огромной лунообразной руки, в которую ты впечатываешь химеры своего мозга, никогда не доберешься до растительности твоего уха, что кишит и поворачивает на-

лево под всеми ветрами твоего сердца. Налево волосы, Учелло, налево сны, налево ногти, налево сердце. Именно налево и раскрываются все тени, как нервов, так и человеческих отверстий. Положив голову на тот самый стол, куда опрокинуто всё человечество, что ещё видишь ты, кроме необъятной тени волоса. Одного волоса, как двух лесов, как трёх ногтей, как выгона ресниц, как грабель в травах неба. Мир придуманный и подвешенный, и вечно мерцающий на равнинах плоского стола, на который ты склонил свою тяжёлую голову. А рядом с собой, когда ты опрашиваешь лица, что ты видишь, кроме круговращения ветвей, решётки вен, крохотного следа морщинки, разводов моря волос. Всё вращательно, всё мерцательно, и чего стоит глаз с выщипанными ресницами. Омой, омой ресницы, Учелло, омой линии, омой дрожащий след волос и морщин на тех подвешенных лицах мертвецов, что разглядывают тебя, словно яйца, — и вот у тебя в чудовищной ладони, полной желчного лунного освещения, по-прежнему августейший след твоих волос, что всплывают тонкими линиями, как сны в твоём мозгу утопленника. От волоска к волоску, сколько секретов и сколько поверхностей! Но два волоса, один рядом с другим, Учелло. Идеальная волосяная линия, невыразимо тонкая и дважды повторенная. Морщины обрамляют всё лицо и продолжают до самой шеи, но и под волосами тоже есть морщины, Учелло. Так и ты тоже можешь обойти это яйцо, что подвешено между камнями и звёздами, которое одно лишь снабжено двойной живостью глаз.

Живописуя на хорошо прилаженном холсте двух своих друзей и себя самого, ты оставил на нём как бы тень странного пушка, и здесь я распознаю твои сожаления и боль, Паоло Учелло, недоозарённый. Морщины, Паоло Учелло, это силки, но волосы — это языки. На одной из твоих картин, Паоло Учелло, я увидел свет языка в фосфористой тени зубов. Именно языком снабжаешь ты неодоушевлённые

холсты живым выражением. И именно поэтому я вижу, Учелло, запелёнутый в свою бороду, что ты меня наперёд понял и очертил. Блажен же будь, погружённый в каменистую земную озабоченность глубиной. В идее этой ты жил как в живом яде. И вечно обращаешься ты в кругах этой идеи, и я ощупью гонюсь за тобой, как нитью пользуясь светом языка, зовущего меня со дна чудесного рта. Земная и каменистая озабоченность глубиной — для меня, которому не хватает земли на всех уровнях. Уж не предполагал ли ты и в самом деле моё сходжение в сей низкий мир с открытым ртом и вечно изумлённым разумом? Не предчувствовал ли эти крики по всем сторонам света и языка — словно исступлённо разматываемую нить? Долготерпение морщин — вот что спасло тебя от преждевременной смерти. Ибо, я знаю, ты родился со столь же пустым духом, как и я, но этот дух, ты мог его фиксировать на ещё меньшем, чем след и исток ресницы. На расстоянии волоска балансировал ты над страшной бездной, от которой, однако, навсегда отделён.

Но я благословляю, и, Учелло, малыш, пташка, истерзанный огонёк, я благословляю твоё столь прекрасно водружённое молчание. Кроме тех линий, что пробились у тебя из головы, словно листва посланий, от тебя остались лишь молчание да секрет застёгнутой рясы. Два или три знака во внешности, кто же собирается пережить больше, чем эти три знака, и кого на протяжении укрывающих его часов надумали бы просить о чём-то ещё, кроме как о молчании, им предшествующем и за ними следующем. Я чувствую, как все камни мира и фосфор вызываемой моим продвижением протяжённости вершат сквозь меня свой путь. В выпасах моего мозга они образуют слова из одного чёрного слога. Ты, Учелло, ты учишься быть лишь линией и верхним этажом тайны.

(Антонен Арто. Учелло-волосатик // Часы, № 64, 1986)

Лучший иконический памятник взрыву — сам же взрыв. Но поскольку взрыв хаотичен, необходимо жёстко упорядочить *ритуал* его проведения, например, в строго установленное, как полуденный выстрел пушки на Петропавловке, время. Лучше всего посвятить памятник-взрыв изобретателю динамита Альфреду Нобелю, пусть знают милитаристские замашки основателя премии своего имени.

Динамика и мгновенность этого «памятника» (до взрыва и после него памятника нет) — призваны выразить лицо Нового времени, с его *темпоральной* ориентацией (время, скорость, перемены).

Арсенальная

В 1981 году я, будучи на принудительном лечении в психушке имени Кащенко, бежал. Через несколько дней я вернулся. Врач сказал: «Ну, что будем делать?» Я не придавал его словам особого значения. Прошло несколько дней. Меня посадили в машину и повезли. Я почему-то думал, что меня везут на переэкспертизу. И правда, машина шла в район Финляндского вокзала. Наконец машина остановилась. Заскрипели огромные железные автоматические ворота. За ними оказались ещё такие же ворота. Наконец открылся двор, по которому гуляли в ватниках поразившие меня сразу, с одинаковыми, непохожими на лица смертных лицами, люди. Мне показалось, что я в пустыне. Передо мной была Арсенальная.

Поместили меня в приёмном первом отделении. Мне показалось, что в целях нравовучения меня поместили в камеру к педерастам. На следующее утро перевели. Потом один из первых соседей подошёл и, долго посмотрев, попытался плюнуть мне в лицо. В камере, где я оказался, одной из лучших, сидел пожилой человек, обложенный книгами, и читал по-арабски. Как я узнал потом, он сидел за то, что убил жену, но сам отрицал это. Я начал выплёвы-

ДЕКАБРЬ

10

воскресенье

ДЕКАБРЬ

11

понедельник

вать лекарства, которые мне давали разведёнными в бутылочках. Пожилой человек стал учиться этому у меня. Медсестра заметила, а так как я отказывался от прогулки, она заподозрила меня в суициде и спросила меня об этом. Я ответил «Да», подразумевая «нет». «Значит, хочешь», — сказала она. По этому поводу меня перевели в другую камеру, похуже. При этом врач сказал: «Какие там хорошие мальчишки», упирая на слово «мальчишки». Мальчишки мне не понравились. Один из них говорил, что к нему ночью приходит Гречко.

Вскоре меня перевели в другой корпус с палатной системой и поместили в наблюдательной палате. В дверях сидел санитар. Женщина-врач мне сказала: «Я очень хочу вам помочь. Что вы чувствуете?» — «Будто я в бане», — ответил я. «Что это значит?» — «Это цитата из Достоевского о вечности». Действительно, палата была очень мрачная. Санитары всё больше болтали о Наташке: «Нарядить бы её в капрон». Наташка была парнем. Скоро меня перевели в нормальную палату. В столовой ко мне подошёл какой-то парень и сказал: «Берегись врача. Она очень жестокая». Я задумался.

Прошёл не один год. И мне стали казаться странные вещи. Будто шумит город. Подъезжает такси, хлопают дверцы, и мои друзья бегут к стенам Арсенальной спасать меня. Я был поглощён этим видением и слышал шум подъезжающих машин явственно. Я вставал с койки и долго-долго стоял перед зарешёченным окном, стараясь помочь своим друзьям духом. Было очень хорошо. По этому поводу я попал в наблюдательную палату. Когда я закрывал глаза, то видел целые картины. Всюду колыхалась вода. Дрожали в ней шпили Ленинграда. Плыли наперегонки военные корабли, украшенные цветными воздушными шарами.

(Василий Филиппов)

Два парка скульптур

Сначала опишу первый парк: это скульптурная энциклопедия, наглядное пособие по изучению русской истории и культуры, где собраны (вернее, *собираются*, поскольку скульптур в парке с каждым годом становится всё больше и больше) скульптуры *всех* знаменитых деятелей российской государственности, церкви и культуры, включая аллеи царей, министров, архиереев, композиторов, писателей и пр.

Во избежание столпотворения скульптуры на аллеях парка группируются тематически (скажем, члены Государственной думы, красные герои, белые герои, знаменитые преступники, революционеры, куртизанки, великие химики, русские итальянцы и мн. др.).

Осуществление проекта парка потребует колоссальных средств и займёт не одно десятилетие. Своей монументальностью и реализмом парк «ВСЕ ВЕЛИКИЕ» намного превосходит сходные, но менее масштабные предприятия (вроде Аллеи звёзд в Голливуде), в нём найдётся место для приложения творческой потенции самых разных скульпторов, архитекторов, дизайнеров и художников — от Церетели и Чаркина до неофутуристов и неоконструктивистов.

Теперь о втором парке скульптур, предназначенном финансово обеспечить первый. В отличие от элитарного и иерархического (хотя и очень представительного) парка «ВСЕ ВЕЛИКИЕ» второй парк «ВОЗДВИГНИ СТАТУЮ СЕБЕ» гораздо демократичнее и либеральнее. Во-первых, скульптуры можно ставить *кому угодно* (ограничиваясь на первых порах *живыми людьми*). Они могут существенно различаться размерами и стилем исполнения (от небольшой чурочки с антропоморфными чертами до геометрической пирамиды в трёхметровую величину). Главное здесь то, что любой человек может поставить себе (своей любимой жене, матери, начальнику) памятник *при жизни*, привести в парк своих родственников и знакомых — и показать им *уже воздвужённый* памятник себе. Прекрасная возможность запечатлеть себя местным олигархам и боссам, равно как и ставить статуи вкладчину, в подарок, по завещанию, «от благодарных служащих» и пр.

От клиентов парка «ВОЗДВИГНИ СТАТУЮ СЕБЕ» (либеральная приёмная комиссия, будет сквозь пальцы смотреть на эстетические достоинства проектов) требуется, собственно, только одно: огромный *денежный взнос*, львиная (или медвежья) доля которого (90 %) пойдёт на установку статуй парка «ВСЕ ВЕЛИКИЕ».

Иначе говоря, актуальный парк скульптур поддерживает исторический. Располагаться они могут недалеко друг от друга. Насаждаемая в парке «ВСЕ ВЕЛИКИЕ» атмосфера резко отличается от кладбищенской и напоминает о том, что это своеобразный парк культуры и отдыха. В парке будут открыты библиотеки, кинотеатры, театры (актёрские и кукольные), экскурсионные бюро, книжные магазины, рестораны, организовываться школьные экскурсии для закрепления знаний по истории, учителя и профессора будут проводить здесь блиц-экзамены, принимать зачёты и пр. Парк «ВОЗДВИГНИ СТАТУЮ СЕБЕ», напротив, с годами будет постепенно превращаться в кладбище: здесь будет разрешено хоронить тех, кто уже поставил себе памятник и тем самым заслужил себе *под ним* место.

ДЕКАБРЬ

13

среда

Менора — тот же могодвид, но не звезда о семи лучах, а свечной шандал о семи ветвях, выстроенных в ряд, друг за другом: посреди Сатурн-суббота, с двух сторон удаляющиеся от субботы (в темпоральном порядке) Венера, Юпитер и Меркурий с одной стороны и Солнце, Луна, Марс — с другой.

Менора-семисвечник — своеобразная икона, указующая центральное положение планеты Сатурн (→ 23 апреля) среди семи других планет, и бога Кроноса/Яхве среди других богов. Главное здесь, вероятно, иконическое утверждение первенства Сатурна над главой олимпийского пантеона Юпитером. Соответствующий Сатурну день недели *суббота* — равно как планета и бог, первенствует среди остальных дней недели. Суббота отмечена в Торе как день, посвящённый Яхве, в переводе на языческий счёт — Кроносу. Строгое почитание евреями субботы (превыше человека), заповеданное Торой — косвенное свидетельство того, что она предназначена главному Богу. Посвящённые Кроносу сатурналии на несколько дней возвращают к *доолимпийским* привычкам.

У меноры есть две разновидности — с семью свечами и с девятью (ханукии). Семь свечей соответствуют семи видимым планетам, девять — им же плюс две невидимых, известных древним астрологам по их воздействию на человеческую психику и поведение. В обоих случаях одна из свеч-планет (Сатурн) выделена своим центральным положением и украшением. Этот же Бог в женской ипостаси под именем Шаббат занимает центральное положение в могоендовиде.

Семь свечей и шесть промежутков между ними дают число 13, столько же точек (внешних, пересечения и центральная) в могоендовиде. Таково же, Бог знает почему, количество красных и белых полос на государственном флаге США.

Таким образом, в меноре и могоендовиде скрыты две меры лунного времени: лунный месяц (их 13 в году) и неделя (четверть лунного месяца).

Повесть Саши Соколова «Между собакой и волком» попала в мои руки вскоре после публикации и, выражаясь газетным языком, настолько не оставила равнодушным, что я воззвал к «тайному жюри» премии Андрея Белого вручить её Саше Соколову немедленно и именно за эту книгу. «Школа для дураков» я тоже любил, но по сравнению с «Между собакой и волком» она казалась мне *юношеской* (милые, романтические, нежные, с лёгким сквозняком и белыми бабочками-снежинками, пастернаковские почеркушки), тогда как вторая, воистину *матёрая*, превосходила первую, в моём восприятии, в разы. Народ из жюри насчёт этого превосходства не согласился, ему больше нравилась, как, вероятно, многим и сейчас, «Школа для дураков», но всё-таки в 1981 году моему напору уступил (на профжаргоне это называется «продавил») — и Саше Соколову присудили премию.

Какое-то время спустя Борис Иванович отослал диплом и рубль лауреату через Митю Волчека (тот диплом зажал, поскольку его сопровождала жуткая, по его словам, медаль из шамота), а также написал — через Вадима Крейденко-

ва — поздравительное и объяснительное письмо. Это письмо я слышал в пересказе Бориса Ивановича, но по одной из статей Саши Соколова понял, вслед за Гофманом и Достоевским, насколько фантастична обычная реальность, какие невероятные очертания приобретают самые обычные наши слова и поступки.

Вероятно, Борис Иванович, рассказывая в письме о премии, о её рождении в недрах журнала «Часы», о её жюри, сообщил о том, что журнал при его скромном тираже в десятках экземпляров читает не менее двухсот человек — всё это слиплось в неудобопонятный ком и преобразовалось в «Тревожной куколке» (уверен, не по вине Саши Соколова, а по невнятности Бориса Ивановича) в *жюри ПАБ из двухсот человек*, которые по достоинству оценили новую повесть выдающегося стилиста и т. д. Согласно «Тревожной куколке», её автор — после обнадеживающей новости о своём лауреатстве и признании на родине (в противовес нарастающей прохладце эмигрантских читателей и издателей) — даже собирался в родные *свои*. Жаль, не вернулся!

Ведерникова разбудил шум. Ему показалось, кто-то проник в квартиру. Неужели его ночная вылазка оказалась замеченной и его выследили?! Нарвался на старичков — ночью рассуждают, а днём ловят шпионов и дезертиров.

Он одевался, шум продолжался. Теперь ему показалось, какие-то мальчишки проникли в квартиру, носятся по коридору и озоруют в ванной. В коридоре никого не было. Было пусто и в ванной, — кажется, кто-то забрался в чулан, куда складывалась старая обувь, коньки, лыжи, а под толком висел велосипед Кости.

В чулане у самых своих ног он увидел больше десятка крыс. Подслеповато взглянув на него, грызуны продолжали с писком заниматься своим делом со всею дерзостью многоголовой массы. От омерзения и ужаса захлопнул дверь.

Не сразу память справилась с задачей. Наконец он понял, что происходило. «Чёрт! Колхозник не простит меня. Он мне доверил сохранять его два мешка...»

Отвращение перешло в ярость: нужно что-то длинное и острое, чем этих отвратительных существ можно уничтожить. Лыжная палка с железным наконечником была для этого пригодна. Распахнул дверь и стал тыкать палкой в визжавший клубок крыс. Они куда-то забивались, потом снова набрасывались на палку. Некоторых убил, других ранил. Почти неразличимые в муке, они оборонялись лёжа, меча глазами красные огоньки. Ведерников долго вонзал в эту смесь муки и кровавого мяса наконечник палки.

Отошёл перевести дыхание. Писк доносился теперь из-под пола. Чудилось, серая армия готовится к нападению. Не сразу решился войти в чулан с тазом и совком, чтобы очистить поле битвы. Попробовал приподнять мучной мешок — из прогрызенных дыр мука потекла на пол и скрыла изуродованные крысиные тела.

Надо было сохранить что осталось. В три ведра переложил верхнюю муку, не осквернённую грызунами. На полу ещё оставался толстый слой муки, смешанной с крысиными трупами. Принёс таз, в него собрал муку, которую назвал мукой второго сорта. Мешок гороха почти не пострадал, вообще крысы, скорее всего, только сегодня ночью проделали ход в чулан. Но муки и гороха оказалось немало и в старой обуви, и в хранившемся здесь другом хламе. Взял решето и просеял остатки. Заполнил пустые кастрюли горохом и мукой третьего сорта. Убитых крыс просунул палкой в дыру пола. Туда же засыпал осколки флаконов жены и безделушек. Затем протиснул в нору пустые бутылки. Старую обувь перенёс из чулана на кухню, к печке. Пол в чулане тщательно вымыл.

Работа была выполнена. Наступал вечер. В печке горели старые ботинки, галоши, тапочки. Со стороны чулана доносились возня и визг — видимо, крысы делили трупы своих

сородичей. Ведерников думал о колхознике: что ему скажет, как компенсирует его потери. Он, как тот шофёр на дороге, — явился и безадресно исчез. Но мог в любой момент вернуться за своей собственностью. Обругал себя: «Заплатил бы за мешки, — ведь колхозник упрашивал их купить, — не мучился бы сейчас».

Понял: нападение крыс — признак наступления в городе повального голода. Крысы знали лучше кого бы то ни было, что запасов еды в городе нет, подчищали случайные остатки.

Он был потрясён наличием в доме огромного запаса чужого продовольствия. До сих пор оно было задвинуто в потёмки забвения. Потому что было чужое, потому что от него отказывался, а в случае обыска могло стать ещё одной статьёй обвинения. Но сейчас еда была выброшена на кон — крысам, беженцу и ему, дезертиру, — все имели на неё права.

Всю ночь не спал. К утру решил уравнение. «Появись беженец завтра, всё ему объясню и верну всё, что от набега крыс осталось. Пусть обругает или благодарит: как ему совесть подскажет. А пока — жить, жевать то, что у меня оказалось. Не умирать же...» <...>

Заболел. Или изменился. Или постарел. Слабость и рассеянность. Не сосредоточиться. Под грудой одеял и пальто много спит. В его положении, может быть, самое правильное — не напоминать самому себе о себе. Он и все — все! — ошибались, когда воображали войну короткой, как пиф-паф. Большая война это и есть война, на которой люди долго и тяжело спят, долго курят, долго одеваются и недолго живут, — поэтому и не торопятся.

Под подушкой нащупывает спичечный коробок. Извлекает огонь. Ему не нужно вставать, чтобы разжечь печку. Рука с горящей спичкой дотягивается до печки — растопка и дрова уложены с вечера. Печка разгорается, блики огня пробегают по стенам, по потолку кухни. Печка гудит, начи-

нает оживать труба. Наконец волны тепла касаются его лица. Начинают потрескивать простывшие обои.

Ему нужно десять минут, чтобы набрать на крыше снега. Он понял, почему водопровод больше не работает: замёрзли трубы.

На печке греются чайник и сковородка. «Вот сейчас ему хорошо. Сейчас он радуется». Это в мыслях: будто читает о самом себе, что ему хорошо и что он радуется. На деле в мурашках на нечистой коже, в запахе сгорающего коленкорового переплёта книги, послужившей растопкой, нет ничего хорошего и радостного.

Он живёт, чтобы подкармливать себя, чтобы топить печку, чтобы спать, чтобы шло и уходило в ничто время войны.

(Борис Иванов. *Дезертир Ведерников*)

В голубом окне
Снежинки
Тают, исчезают...

(1966)

ДЕКАБРЬ

16

суббота

Словечки

Определённую помощь в понимании культурных эпох даёт анализ *слов-паразитов*, в которых дух времени конденсируется иногда с поразительной точностью и силой, причём независимо от сознательной установки говорящего. Это — экспрессивные слова и выражения, а также слова, чрезмерная частота употребления которых ситуативно не оправдана.

В 60-е годы такими словами были *гениально* и *ситуация* (романтико-экзистенциальные клише), в 70-е не в меру часто употребляли слова *структура* и *значит* (отсылка к структурализму и семиотике), в 80-е, по нашим наблюдениям, возникла настоящая эпидемия *как бы*. Скорее всего, функция этого сло-

ДЕКАБРЬ

17

воскресенье

вечка состоит в том, чтобы, не избегая личного высказывания, смягчить его для собеседника. Тем самым говорящий признаёт за собеседником право на собственное мнение и отказывается навязывать ему своё. Заодно *как бы* сигнализирует о том, что беседующим известно о невероятной сложности мира и о непреодолимом зазоре, существующем между миром и словом. Иначе говоря, *как бы* — *диалогическое* слово, в котором угадываются отголоски энциклопедизма и речевой обходительности.

(Борис Останин, Александр Кобак. Молния и радуга)

ДЕКАБРЬ

18

понедельник

К о р о л е в а (*появляясь*). Жорж! Все ковры в крови... В коридоре — клиенты... Кармен не знает, что с ними делать.

П о с л а н н и к (*кивая начальнику полиции*). Отличная работа.

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Мой образ будет сохранён навсегда. Искалеченный? (*Пожимает плечами.*) Мерзкий ритуал, но и он послужит моей славе. Надо сходить на кухню и попросить, чтобы приготовили еды на две тысячи лет.

К о р о л е в а. А как же я? Жорж! Я ещё живая...

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и (*не слушая её*). Итак, я существую... Но где? Здесь или... тысячу раз там? (*Указывает на гробницу.*) Отныне я могу быть добрым... набожным... справедливым... Вы видели? Вы меня видели? Я нахожусь там, самый великий, самый могучий, самый мёртвый... Здесь мне больше нечего делать.

К о р о л е в а. Жорж! Я люблю тебя!

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и (*направляясь к гробнице*). Я получил право на отдых и двухтысячелетнее ожидание. (*Фотографам.*) Взгляните на меня, живого и мёртвого. Во имя наших потомков... Пли! (*Три почти одновременные вспышки магния.*) Я победил!

Медленно пятясь, он входит в гробницу. Трое фотографов с фотоаппаратами за спиной непринуждённо уходят налево и машут на прощание.

К о р о л е в а. Жорж, но ведь это я всё сделала, я устроила... Останься... Что это?

Раздаётся пулемётная очередь.

К о р о л е в а. Слышишь?

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и (взрыв смеха). Не забывай меня!

Судья и генерал бросаются к нему, пытаются задержать, но дверь закрывается, оставляя за собой начальника полиции, который начинает спускаться по ступенькам. Ещё одна пулемётная очередь.

С у д ь я (хватаясь за дверь). Не оставляйте нас одних!

Г е н е р а л (мрачно). Опять эта карета!

П о с л а н н и к (судье). Уберите руки, а то останетесь без пальцев.

Дверь захлопывается. Оставшиеся на сцене действующие лица некоторое время пребывают в полной растерянности. Снова выстрелы.

К о р о л е в а. Господа, вы свободны...

Е п и с к о п. Но... сейчас ночь.

К о р о л е в а (перебивая его). Выйдете через заднюю дверь в переулок. Там вас ждёт машина.

Она кивает им на прощанье. Епископ, судья и генерал уходят направо. Вновь раздаётся пулемётная очередь.

К о р о л е в а. Кто это?.. Наши... или мятежники?..

П о с л а н н и к. Чей-то сон, Ваше Величество.

Королева начинает ходить по комнате и поворачивать многочисленные выключатели. Одна за другой гаснут лампы.

К о р о л е в а (продолжая гасить свет). Зовите меня мадам Ирма. И возвращайтесь к себе. До свиданья, сударь.

П о с л а н н и к. До свиданья, мадам Ирма.

Он уходит.

Ирма (*остаётся одна и продолжает выключать свет*).
Электричество обходится мне ежемесячно в тысячу франков! Тридцать восемь салонов. Все в позолоте, с автоматикой, способные вдвигаться друг в друга, выдвигаться, соединяться... И за всеми этими представлениями наблюдаю одна я — хозяйка своего дома и самой себе... (*Она поворачивает ещё один выключатель и тут же снова его включает*.) Это освещение гробницы... Ему ещё два тысячелетия нужен свет. И еда. (*Пожимает плечами*.) Слава нисходит в его гробницу вместе с запасами съестной провизии. (*Кричит*.) Кармен!.. Кармен!.. Задвинь засов и накрой стулья чехлами. (*Продолжает гасить свет*.) Скоро опять начинать всё сначала... Зажигать свет... одеваться... (*Раздаётся крик петуха*.) ...подбирать костюмы... (*Останавливается посреди сцены, лицом к зрительному залу*.) ...Я приготовлю их для вас, господа судьи, генералы, епископы, посланники, революционеры... Я приготовлю для вас костюмы и салоны... И снова выйду к вам, у которых всё в жизни ещё фальшивее и притворнее, чем здесь. А сейчас вам пора уходить. Выход — по коридору направо. (*Она гасит последнюю лампу*.) Уже утро.

Раздаётся пулемётная очередь.

(Жан Жене. Балкон)

...Когда он приотворил распухшие свои глаза, он глаза свои приоткрыл. Он припомнил всё как есть наизусть. Я забыл попрощаться с прочим, т. е. он забыл попрощаться с прочим. Тут он вспомнил, он припомнил весь миг своей смерти. Все эти шестерки, пятерки. Всю ту — суету. Всю рифму. Которая была ему верная подруга, как сказал до него Пушкин. Ах Пушкин, Пушкин, тот самый Пушкин, который жил до него. Тут тень всеобщего отвращения лежала на всём. Тут тень всеобщего лежала на всём. Тут тень лежала

на всём. Он ничего не понял, но он воздержался. И дикари, а может и не дикари, с плачем похожим на шелест дубов, на жужжанье пчёл, на плеск волн, на молчанье камней и на вид пустыни, держа тарелки над головами, вышли и неторопливо спустились с вершин на немногочисленную землю. Ах Пушкин. Пушкин.

(Александр Введенский. Прощание // Часы, № 5, 1977)

Преображение Николая Угодникова (Рассказ утильщика)

Нет, не даром забудьдги все твердят,
Что по Волге нет грибов милей опять,
И напрасно это люди говорят,
Что водчонка — неполезный очень яд.
Это мнение, извиняюсь, ерунда,
Нам, утильщикам, без этого — никак.
Предположим, даже примешь иногда,
Но зато преобразуешься-то как.
Раз бродили-побирались по дворам,
Выручайте Христа ради-ка гостей,
Выносите барахло и прочий хлам,
Железяки, стеклотару и костей.
Пали сумерки, и снег пошёл густой.
Не брешы ты, сука драная, не лай.
Мы направились к портному на постой,
А с нами был тогда Угодник, Николай.
С нами был, говорю, Угодников-старик,
Поломатый, колченогий человек.
Мы — калики, он — калика из калик,
Мы — калеки, он — калека средь калек.
Нет у Коли-Николая ни кола,
Лишь костылики. И валит, валит снег.
Непогода. И галдят колокола,

И летят куда-то галки на ночлег.
А летят они, лахудры, за Итиль,
В Городнице, в город нищих и ворья,
А мы тащим на салазочках утиль,
Три архангела вторичного старья.
Час меж волка и собаки я люблю:
Словно ласка перемешана с тоской.
Не гаси, пожалуй, тоже засмолю.
Колдыбаем, повторяю, на постой.
А портняжка при свечах уже сидит,
Шьет одёжку для приюта слепаков.
Отворяй давай, товарищ паразит,
Привечай уж на ночь глядя худаков.
Как засели дружелюбно у окна,
Ночь серела — что застираны порты.
Не припомню, где добыли мы вина,
Помню только — насосались в лоскуты.
Утром смотрим — летит Коля-Николай:
Костыли — как два крыла над головой.
Обратился, бедолага, в сокола:
Перепил. И боле не было его.

(Саша Соколов. Между собакой и волком)

Дети ждут от Санта-Клауса рождественских подарков, но не всем они достаются, только послушным, а неслухам в приготовленный для подарков чулок подбрасывают горелые угольки.

Кельтский Дед Мороз, он же Старец Стужи — жуткое языческое божество. Старец ходил под Новый год с большим мешком, но вовсе не с подарками, скорее наоборот: он собирал в мешок трупы замёрзших людей (в кельтские времена климат в Европе был не в пример холоднее, чем сейчас). Чтобы умиловать злого старика, приносили ему в жертву деву: вывозили её в лес, раздевали донага и привязывали к царице-ели (в каждом лесу есть дерево-царь — дуб или ель). Ель сообразно про-

исходящему украшали недобрыми украшениями — внутренностями убитых животных, если не людей (обычно сердцем, печенью и кишками — отсюда, возможно, современные красные шары и ёлочные гирлянды).

Этот кельтский обычай многое объясняет: и сохранившуюся у русских в пару Деду Морозу Снегурочку, и её холодную асексуальность (не живая всё-таки, замёрзшая, да ещё и дева), и отголоски жертвоприношения в сказке «Морозко», у Одоевского («Мороз Иванович») и Некрасова («Мороз Красный Нос»: «Тепло ли тебе, молодица?»), и вполне обоснованные опасения детей по поводу старика с мешком: «Что, если заберёт?»

Христианство гуманизировало страшного Старца, сделало его добрым: когда-то, в бытность свою св. Николаем, он помогал *девицам-бесприданницам* выйти замуж, подбросив им *мешочки* с деньгами, а теперь в облике Санта-Клауса развозит *по-слушным* детям подарки.

(Слышал от Славы)

Живи и придумывай. Я пытался. Я, должно быть, пытался. Придумывать. Нелепое слово. Живи — тоже нелепое. Неважно. Я пытался. И когда дикий зверь серьёзности готовился во мне к прыжку, оглушительно рыча, разрывая меня на кусочки, жадно пожирая, я пытался. Но, оставшись один, совсем один, надёжно спрятавшись, я изображал дурака, в полном одиночестве, час за часом, неподвижный, часто стоя, не в силах пошевелиться, издавая стоны. Да, издавая стоны. Играть я не умел. Я вертелся до головокружения, хлопал в ладоши, изображал победителя, изображал побеждённого, наслаждался, горевал. Затем вдруг набрасывался на игрушки, если таковые имелись, или на незнакомого ребёнка, и он уже не радовался, а ревел от ужаса — или убегал, прятался. Взрослые гнались за мной, справедливые, хватали, наказывали, волокли обратно в круг, в игру, в веселье. Ибо я уже попал в тиски серьёзности. Такова была моя болезнь. Я родился серьё-

ённым, как другие рождаются сифилитиками. И серьёзно старался изо всех сил не быть серьёзным — жить, придумывать, — я понимаю, что хочу сказать. Но при каждой новой попытке я терял голову и бежал к своим теням, как в убежище, где невозможно жить и где вид живущих невыносим. Я говорю «живущих», но не знаю, что это значит. Я пытался жить, не понимая, что это такое. Возможно, я всё-таки жил, не зная этого. Интересно, почему я говорю обо всём этом. Ах да, чтобы развеять тоску. Жить и давать жить. Бессмысленно обвинять слова, они не лучше того, что они обозначают. После неудачи, утешения, передышки, я снова начинал — пытаться жить, заставляя жить, становиться другим, в самом себе, в другом. Сколько лжи во всём этом. Но объяснять некогда. Я снова начинал. Но цель понемногу менялась — уже не добиться успеха, а потерпеть неудачу. Небольшая разница. Когда я из последних сил выбирался из своей норы, а затем рассекал стеклянный воздух на пути к недостижимому благу, я искал не что иное, как восторг головокружения, приятие, падение, бездну, повторение мрака, я стремился к ничему, к серьёзности, к дому, к нему, ждущему меня всегда, он нуждался во мне, и я нуждался в нём, он обнимал меня и просил остаться с ним навсегда, он уступал мне своё место и следил, чтобы мне было хорошо, и страдал всякий раз, когда я оставлял его, а я часто заставлял его страдать и редко приносил ему радость, я никогда его не видел. Я снова забываю себя. Меня интересую не я, а другой, находящийся гораздо ниже меня, и ему я пытаюсь завидовать, о его подвигах я сейчас, наконец, расскажу, не знаю как. О себе мне никогда не рассказать, так же как не рассказать и о других, так же как не суметь прожить. С чего бы это я смог, если никогда не пытался? Показать сейчас себя, на грани исчезновения, и одновременно изобразить в виде незнакомого, чужого мне человека, тем же движе-

нием, это не просто последняя капля. А потом жить, пока не почувствую, как за моими закрытыми глазами закрываются глаза другого. Отличный конец.

(Сэмюэл Беккет. *Мэлон умирает*)

Кто-то из немецких поэтов-романтиков закончил жизнь самоубийством, оставив записку: «Надоело каждый день бриться!»

ДЕКАБРЬ

23

суббота

Шёл, читайте, из-за всеобщей реки, выдвигаясь в Сочельник от Гурия, с его похорон. Угощение обустроил тот погребальщик, он приглашал: заползайте, желающие, куликнём на старые дрожжи, черви козыри. Я заполз. Гнил парнишка, рассказывают, в кавказском сыром кичмане, а надоело в неволе — бежал. А наскучила и мне эта тризна, захотелось к своим починщикам, с ними захотелось вкусить Рождества. Затерялся мальчонка в горах — я в сумерках. Я катил во свояси, и вихорь слезу вышибал, и она же катилась радостно. Щи не лаптем хлебаем покудова, соображаем, что значит острым ногу набуть. Грустновато, тем не менее, между собакой на просторе родимых рек, хныкать вас подмывает, как того побирошу в четверть четвертого. Хмарь, ни кожа ни рожа, ни тень ни свет, ни в Городнице, ни в Быдогоще: взвинтил я темп. Штормовая лампа горняцкая, даренная главным псарём за долги в счёт мелких услуг, телепалась в пещере за плечьями, и во фляге её побулькивало. Но возжечь не спешил, в курослеп ещё хуже выслепит, и вот — называем летучая мышь. Противоречье, погрех. Слепит не её ведь — нас лучами её слепит, мы, выходит, летучая мышь, а летучая мышь не мы никогда. Почему, разрешу спросить, Алладин Рахматуллин не с нами, а подо льдом скучает сейчас? А чего ж, скороход опрометчивый, лампаду в серовато-

ДЕКАБРЬ

24

воскресенье

сти засветил. Залубенели бездомные облака, залубенело и платье моё, поползла позёмка по щиколку. И лишь город бревенчат картинкой сводною сквозь муть проступил, понял я, чуя, что дома его все шиты из тепловатого такого вельвета с широким рубцом, и кровли их — войлок, а может, с фабрички шляпной некрашенный фетр снесли. Чу, вечер вечереет, все с фабрички идут, Маруся отравилась, в больничку повезут. С фабрички-не с фабрички, но шагал на гагах и снегурах по тому ли по синему гарусу различный речник; кто с променада идеей, кто из лесу с ёлками, кто в магазин, но все далеко-далеко, не близко. Неприютно обращивается одному, растревожился. Веришь-не веришь, но есть кое-кто тут невидимый среди нас. Тормознул и светильник достал — гори-гори ясно, с огнем храбрей. И тут волка я усмотрел за сувоями. Не удивляйтесь, зимой эта публика так и снуёт сёмо-ооооо, следов — угол. Лафа им, животным, что воды мороз мостит, и без всякой Погибели обойдёшься. Перевези, ему говорят, на ту сторону козу, капусту и даже чекалку. Только не сразу, а в два приёма, чтоб не извели друг дружку по выгрузке. И кто с кем в паре поедет, а кто один — решение за тобой. Ни козу, ни капусту везти не желаю. Погибель сказал, а тем паче его, пусть и в наморднике, перипетий нам на переправе хватает и без того. И когда усмотрел за сумётами серую шкуру и глаз наподобие шара бесценного ёлочного с переливами, то заскучал я, козёл боязненный. Побежать — увяжется хищник, в холку вцепится — и пиши пропало, копыта прочь. Да, смутился, но более осерчал, возмутился. Умирать нам отнюдь не в диковину, а по изложенным выше причинам и надлежит. Но от твари дремучей мастеру смерть принимать неприлично, неудобняк, уважение, хоть малеющее, должно к себе заиметь, мы ведь, всё же, не вовсе заживо угнетённые, не вовсе шушерский сброд. Не отдамся на угрызение, стану биться, как бился тот беглый парнишка в чучмекских горах, торопливо дыша. Мышь летучую поставил на снег, скинул пещер, ободрился. Зверь сидит, на-

блюдает, голову набок склонил. Что кручинишься, Волче, налетай, коли смел. Упёрся, нейдёт. Достая из-за пазухи горбулю обдирную и маню — на-ка, слопай, голодом, вероятно, сидишь. Волк подкрался, свирепый, хвостом так и машет — хап — и пайку мою заглотнул. Изловчился я, гражданин Пожилых, ухватил его за ошейник — и ну костылять. Мудрено индивиду в таких переплётах баланс удерживать, в особенности на лезвие, ну да опыт накоплен кое-какой, без ледовых побоищ у нас недели тут не случается. Как сойдёмся, обрубки, на скользком пофигурять — слово за слово, протезом по темячку — и давай чем ни попадя ближнему увечия причинять. Толку мало, конечно, в подобных стратегиях, однако есть: дружба крепче да дурость лишнюю вышибает долой. Супостат изначально упорство выказал, вертелся лишь, как на колу, скуля, но не вынес впоследствии — рванулся, Илью завалил, но доколе ошейник выдерживал, я побегу препятствовал, и валялись мы оба-два дикие все, белёсые, ровно черти в амбаре. А вдруг лампада моя угасла, рука моя ослабела — чекалка утёк. И взяла меня дрёма хмельная, лежу испитой, распаренный — судачёк заливной на хрустале Итиля. И пускай заползает заметить в прорухи одежд, пускай волос сечётся — мне сладостно. Положа руку на сердце, где ещё и когда выпадает подобное испытать, ну и виктория — хищника перемог. А поведать кому — усомнится: где шкура-то. Чёрствыые матерьялисты мы, Пожилых, в шкуру верим, а в счастье остерегаемся.

(Саша Соколов. Между собакой и волком)

Что ж если и тот дом, за семь вёрст от нас, сумасшедший? Здесь одна-единственная даль, слоющаяся, туманная. Сколько нужно облаков зараз, чтобы полить дождём больницу? Одно? Два? Сколько дождей? Она уместится под одним дождём.

Больница на холме занимает место кладбища. Со своим парком это и есть кладбище без могильных памятников. А посёлок в низине тесный и тёплый. Больничные виды: посёлок, поля, лес. Здесь, в 70 примерно км от Л-да, со всех сторон нас окружают густые леса. В этой обстановке — с ассистентом. Ассистент на воле — он сообщает знания об этом месте. Тут думать, что моя вера — характер пола, тип отношения к половому вопросу, подход к акту. Открытый чересчур, неинтересный или отступивший от интереса. Я в давке испытываю всеобщность, её мучает чувство одиночества в пространствах воли.

Августовские дни, когда мы в каждом месте усматриваем соответствие между состояниями погоды и нашим ощущением земли в целом. Когда земля стала выпуклой. Небо низким (близким).

Больничные аллеи обрываются, и с холма открываются виды во все концы между большими парковыми деревьями и низкими, приземистыми своеобразными постройками, белыми с жёлто-ржавыми, охристо-ржавыми полосами. Я не могу сказать с уверенностью, какого они стиля, не рискуя показаться сумасшедшим, — какого-то модерна, может быть, такая архитектура называлась египетской, — но у клуба есть квадратная звонница.

В аллее большое количество больных женщин производит интересное впечатление: их одежда, главным образом синяя с белым, отсутствием некоторых, как кажется, необходимых частей напоминает крестьянскую прошлого века, никогда не виденную, или одежду более удалённых, но современных народов. В фигурах их стёрты признаки пола, это нация...

Из-за деревьев красные три жилые больничные дома новой постройки с торцов, когда окон за деревьями не видно, напомнили новодеревенский буддийский храм. Дома эти четырёхэтажные, из красного кирпича, со свет-

лыми полосами между этажами. Окна небесно-голубые. По сравнению с храмом не хватает только позолоты, но что-то помогает домысливать буддийскую скульптуру, предполагать.

Трава, высыхая, выявляет свою структуру.

(Леон Богданов. Шесть писем из больницы)

Елене Шварц

For ever separate, and for ever near.

A. Pore

ДЕКАБРЬ

26

вторник

1

Поэт есть тот, кто хочет то, что все хотят хотеть: допустим, на шоссе винтообразный вихрь и чёрный щит — и всё распалось, как метеорит. Есть времени цветок, он так цветёт, что мозг, как хризопраз, передаёт в одну ладонь, в один глубокий крах. И это правда. Остальное — прах.

2

Не смерти, нет — и что нам в этом зле, в грехе и смерти? в каменной золе других созданий, рвавшихся сюда и съеденных пространством, как звезда. А жизнь просторна, жизнь живёт при нас, любезна слуху, сладостна для глаз, и славно жить, как будто на холмах с любимым другом ехать на санях.

3

Какой же друг? Я говорю: мой друг —
и вижу: звук описывает круг,
потом другой, и крутит эту нить,
отвыкнув плакать, перестав просить.
Мой друг! Я не поверю никому,
что жизнь есть сон и снится одному —
и я свободно размыкаю круг:
благослови тебя Господь, мой друг.

4

И ты, надежда. Ты равняешь всех:
все водят, *это* прячется: в орех,
в ближайший миг, где шумно и черно,
в сушёный мак, в горчичное зерно —
ох, знаю я: в мельчайшую из стран
ты катишь свой мгновенный балаган,
тройные радуги, злачёный мрак.
А безнадёжность светит нам, и как!

5

Кто день за днём, как нищий в поездах,
с притворными слезами на глазах
в ворованную шапку собирал —
тот, безнадёжность, знает твой хорал.
Он знает это зданье голосов,
идущее в черновике лесов
всё выше, выше — и всегда назад.
И сам поправит, если исказят.

6

Так пусть же нам покажут ночь в горах,
огонь в астрономических садах
и яблоню в одежде без конца
как бы внутри несчастного лица.

Её одежда не начнётся там,
где лепестки начнутся: по пятам
за ней пойдут соцветья и цветы
в арктическую рощу высоты.

7

Там страшно, друг мой. Там горит Арктур
и крутятся шары. Там тьма фигур
с пристрастьем наблюдает мир иной
и видит нас сверкающей спиной:
как будто мы за ней идти должны
из тьмы глубоководной глубины.
И мы идём, глотая пыль и соль,
как шествие, когда вошёл король

8

и движется по улицам своим
к собору кафедральному. Пред ним
опустошенье. Позади него —
миллионом спичек чиркнув, вещество
расходится на лица и дома,
столбы, как их расставила чума,
простые арки, плаванье и звон...
Но *что* он видит — знает только он.

9

Ни смерть, ни жизнь, ни зверь, ни человек
и ни надежды безнадежный бег,
ни то, что мы оправданы давно,
ни то, что в глубине моей темно,
не есть желанье, ни желанья часть.

Желанье — тайна. О, желанье — пасть
и не поднять несчастного лица.
Не так, как сын перед лицом отца:

10

как пред болящим — внутренняя боль.
И это соль, и осолится соль.

(Ольга Седакова.

Стансы в манере Александра Попа, 1979)

ДЕКАБРЬ

27

среда

Один джентльмен год за годом скрупулёзно вёл дневники, в которых нелицеприятно описывал свои любовные похождения и жизнь высшего света, но, почувствовав приближение смерти, велел слуге растопить камин и, наблюдая, как тот, выполняя его приказ, бросает в огонь тетрадь за тетрадью, с довольной улыбкой умер.

ДЕКАБРЬ

28

четверг

У Сороки — боли, у Вороны — боли,
У Собаки — быстрее заживи.
Шёл по синему свету Человек-инвалид,
Костыли его были в крови.

Шли по синему снегу его костыли,
И мерещился Бог в облаках,
И в то время, как Ливия гибла в пыли,
Нидерланды неслись на коньках.

Надоумил Волка заволжский волхв:
Покидая глубокий лог,
Приползал вечерами печальный Волк
И Собаку лечил чем мог.

У Сороки — боли, у Вороны — боли,
Но во имя волчьей любви
От Вороны ль реки до реки ли Нерли
У болезных собак — заживи.

А по синему свету в драных плащах,
Не тревожась — то день иль ночь,

Егеря удалые, по-сорочьи треща,
Вивериц выгоняли из рощ.

Деревенский, однако, приметлив народ,
У Сороки-воровки — боли,
Проследили, где дяденька этот живёт,
И спроворили у него костыли.

И пропили, пролазы, и весь бы сказ,
Но когда взыграла зима,
Меж собою и Волком, в дремотный час,
Приходила к Волку сама.

У Сороки — болит, у Вороны — болит,
Вьюга едет на облаках,
Деревенский народ, главным образом — бобыли,
Подбоченясь, катит на коньках.

И от плоского Брюгге до холмистого Лёпп,
От Тутаева аж — до Быдогощ
Заводские охотники, горланя: гей-гоп! —
Пьют под сенью оснеженных рощ.

Как добыл берданку себе инвалид,
Как другие костыли он достал,
И хотя пустая штанина болит,
Заводским охотником стал.

(Саша Соколов. Между собакой и волком)

*Я теперь пишу «историю», п.ч. счастье моё
прошло.*

(Василий Розанов)

Связь

Философ!

(1) Пишу Вам в ответ на Ваше письмо, которое Вы собираетесь написать мне в ответ на моё письмо, которое я написал Вам.

(2) Один скрипач купил себе магнит и понёс его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понёс её по улице.

(3) Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела.

(4) А хулиганы тем временем схватили магнит и скрылись.

(5) Скрипач вернулся домой без пальто и шапки, потому что шапка истлела в азотной кислоте, и скрипач, расстроенный потерей своей шапки, забыл пальто в трамвае.

(6) Кондуктор того трамвая отнёс пальто на барахолку и там его обменял на сметану, крупу и помидоры.

(7) Тесть кондуктора объелся помидорами и умер. Труп тестя кондуктора положили в покойницкую, но потом его перепутали и вместо тестя кондуктора похоронили какую-то старушку.

(8) На могиле старушки поставили белый столб с надписью: «Антон Сергеевич Кондратьев».

(9) Через одиннадцать лет этот столб источили черви, и он упал. А кладбищенский сторож распилил этот столб на четыре части и сжёг его в своей плите. А жена кладбищенского сторожа на этом огне сварила суп из цветной капусты.

(10) Но, когда суп был уже готов, со стены упали часы прямо в кастрюлю с этим супом. Часы из супа вынули, но в часах были клопы, и теперь они оказались в супе. Суп отдали нищему Тимофею.

(11) Нищий Тимофей поел супа с клопами и рассказал нищему Николаю про доброту кладбищенского сторожа.

(12) На другой день нищий Николай пришёл к кладбищенскому сторожу и стал просить милостыню. Но кладбищенский сторож ничего не дал нищему Николаю и прогнал его прочь.

(13) Нищий Николай очень обозлился и поджёг дом кладбищенского сторожа.

(14) Огонь перекинулся с дома на церковь, и церковь сгорела.

(15) Повелось длительное следствие, но установить причину пожара не удалось.

(16) На том месте, где была церковь, построили клуб и, в день открытия клуба, устроили концерт, на котором выступал скрипач, который четырнадцать лет тому назад потерял своё пальто.

(17) А среди слушателей сидел сын одного из тех хулиганов, которые четырнадцать лет тому назад сбили шапку с этого скрипача.

(18) После концерта они поехали домой в одном трамвае. Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке.

(19) И вот они едут поздно вечером по городу: впереди скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый — бывший кондуктор;

(20) они едут и не знают, какая между ними связь и не узнают этого до самой смерти.

(Даниил Хармс)

Медведь, зооархангел России, напоминает булгаковского кота Бегемота, но ещё концентрированнее: «Никого не трогаю и даже примус не починаю».

2018 ГОД ЯНВАРЬ

Дым от костра

ЯНВАРЬ
1
понедельник

1. костёр
 2. дым от костра
 3. тень дыма от костра
 4. исчезновение тени дыма от костра
 5. сон про исчезновение тени дыма от костра
- и т. д.

(l'oubli de l'écoute de la lecture de l'inscription d'un récit d'un souvenir d'un rêve de la disparition de l'ombre de la fumée d'un bûcher)

(1980-е)

ЯНВАРЬ
2
вторник

Старец обращается к умершему пять дней тому назад подобному Акакию Синайскому (у Иоанна Лествичника):

— Брат Акакий, умер ли ты?

На что тот отвечает:

— Отче, как можно умереть делателю послушания?

(Живой в гробу: то, чего боялся Гоголь.)

ЯНВАРЬ
3
среда

Если рассуждение о «правде тупоконечников» (→ 30 ноября) показалось кому-то убедительным, продолжу его в несколько неожиданном направлении: *правильное* разбиение яйца с тупого конца до некоторой степени проясняет древ-

ний обычай выносить покойника из дома и церкви *вперёд ногами*.

В самом деле, если видеть в матке биологическую дверь, отворяемую то в наш мир, то в инобытие, появление из неё младенца головой вперёд зеркально симметрично выносу покойника в тот мир ногами вперёд. Известна фаллическая модель человека — визуальное представление его в виде *дрона*, который, совершая возвратно-поступательные движения, «совокупляется» с иным миром через посредство то материнской матки, то могилы, причём истинное, *большое* тело находится в ином мире и проникает в наш мир в виде *малого*, физического тела: родился — одно движение, умер — обратный ход, снова родился — ещё одно и т. д. Таково *совокупление* великого Иночеловека с нашим миром, где каждой паре его движений (появление в наш мир и уход из него) соответствуют два фундаментальных движения его дрона, мирского человека: *сюда* (рождение, головой вперёд) и *туда* (смерть, вперёд ногами), каждое из которых отмечается специальными обрядами.

Жизнь и смерть (можно так на них взглянуть) — всего лишь два последовательных движения человека туда-сюда, за которыми последует много других, чтобы сделать совокупление Иночеловека с этим миром плодотворным. Наш мир приобретает очертания огромной *махи*, с которой совокупляется рождающийся/умирающий и снова рождающийся/умирающий мирской человек, «конец» (малая часть) Иночеловека, пребывающего в инобытии. Сказанное достаточно зрелищно и оптимистично подтверждает достоверность распространённого «суеверия», согласно которому покойника следует выносить ногами вперёд. Ну а головой вперёд бывший покойник родится и без наших ритуальных предосторожностей!

Пора, давно уже пора выпить на посошок и отправиться восвояси.

Я не однажды слышал про «выпить на посошок» (поставив, что ли, стопку на посох — как это, если набалдашник кривой?), а потом ещё — «выпить на стремечко», «седельную», «подворотную», «заворотную», «забугорную» и т. д., но все эти списки так меня и не убедили. Да и что это за *посох* у простого челове-

ка? В старину у него была палка, клюка, костыль, клюшка, батог, а посох или жезл — это что-то пастырское, архиерейское, магическое. У нас ведь самый что ни на есть простой человек, Акакий Акакиевич какой-нибудь, выходит, допустим, от Петровича в новой шинели, а тот ему с порога: «Выпей, Акакий Акакиевич, на посошок!»

Есть, впрочем, и другой ход к посошку, довольно долгий, через Грецию, но по-своему убедительный: в череде греческих тостов первый и последний были *обязательными*: первый кубок поднимали за Лар, дочерей Гермеса, или за Гестию, *покровительниц дома* во всей его незыблемости, последний же — за Гермеса, *вечного путника*, у которого, в отличие от простого люда, не клюка или батог, а именно что «посох вестника», магический жезл со змеями и т. д. Вот за этого божественного странника, за его «посошок» и выпивал, покидая гостеприимный дом, припозднившийся гость. Ну а как этот обычай из Греции до нас добрался, бог весть, — возможно, с теми же греческими монахами, которых немало было в первых русских монастырях. (Неплохая склейка: православные греческие монахи приносят на Русь языческие обычаи, а почему бы и нет?)

(Слышал от Славы)

Хлеб наш надсущный

ЯНВАРЬ

5

ПЯТНИЦА

В молитве «Отче наш» верующий просит Бога Отца: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», понимая под хлебом *насушным*, в первую очередь и по преимуществу, каждодневное, так сказать, рядовое, хотя и необходимое и очень важное для жизни средство существования, которое мы, благодаря Богу, пусть даже своими трудами, получаем *здесь и сейчас*, «имманентно». Точно так и в других языках, вплоть до греческого и латыни: our daily bread_E, unser täglich Brot_D, nuestro pan de cada día_S, panem nostrum quotidianum_L...

Стоит однако усмотреть в приставке «на-» стяжку или сокращение приставки «над-» — и картина резко меняется: в этом случае верующий просит о хлебе *над-сущном*, над-

природном, «трансцендентном», ино-существующем, который «печётся» человеку не природой, а исключительно ино-мирным, Божественным попечителем.

(1970-е)

- Гаспар:* Везу я золото Тому,
Кто драгоценней всех.
- Мельхиор:* Я ладан здесь Тому везу,
Кому неведом грех.
- Бальтазар:* Благоуханной смирны дар
Здесь, в золотом ларце,
Но где Младенца мы найдём?
- (Появляется Звезда.)*
- Звезда, скажи нам, где?
- Звезда:* По воле Божьей я зажглась
В преддверии пути.
Послушно следуйте за мной,
Я буду вас вести.
- Песнь волхвов:* Таких чудес на свете нет,
Такого не бывает:
Одна звезда среди планет
Как ясный день сияет.
- Другие звёзды рядом с ней
Едва видны в ночи.
Одна звезда Царя царей
Так льёт свои лучи.

*(Григорий Беневич, Ольга Попова.
Рождественское представление)*

ЯНВАРЬ

6

суббота

Р. S. ПОСЛЕСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

«Тридцать семь и один» — уже не первая книга Бориса Останина, в составлении которой я принимаю *самое деятельное* участие: Б. О. передал мне когда-то тетради и разрозненные листы своих записей и позволил делать с ними «что мне заблагорассудится». Предоставленной свободой я, понятное дело, не воспользовался, разве что прояснил кое-где не совсем внятные, а порой слишком отрывочные рассуждения автора (приходилось их по своему разумению восполнять) и выбрал литературные цитаты из его любимых писателей, о которых за долгие годы нашего знакомства мне неплохо известно. Основная часть материала из тетрадей относится к 1980–90-м годам с редкими вкраплениями более ранних и более поздних записей.

Общий план книги (мифы + догадки + истории + цитаты), равно как её название и идеи по оформлению (разные шрифты, отсутствие пагинации, алфавитный указатель), принадлежат мне. Соотнести книгу-календарь с 2017 годом предложил издатель Вадим Назаров.

Хочу обратить внимание читателя на то, что большая часть цитат взята из произведений, к которым Б. О. имел *самое прямое* отношение — как переводчик, редактор или издатель (в машинописном журнале «Часы», в издательстве Чернышёва, в «Амфоре» и др.). Признаться, работа по выискиванию цитат оказалась непростой: между Сциллой *слишком известного, хрестоматийного* и Харибдой *малоизвестного, второстепенного*, чтобы цитаты были узнавае-

мыми и показательными, *но не слишком*, чтобы они не только передавали дух давно прошедшего времени, но и свидетельствовали о *личном вкусе* Б. О.

Оставшегося без дела материала, не повторяющего предложенный, достанет, надеюсь, ещё на одну книгу, к составлению которой я собираюсь приступить, очевидное название уже придумал: «Тридцать семь и два (схемы, мифы, догадки, истории на каждый день 2018 года)».

Среди упомянутых в книге приятелей и родственников Б. О.:

Абрам Григорьевич — Абрам Юсфин, Андрей — Андрей Останин, Аркадий — Аркадий Драгомощенко, Борис Иванович — Борис Иванов, Вася — Василий Чернышёв, Влад — Владислав Кушев, Володя — Владимир Александров, Игорь — Игорь Чернышёв, Кирилл — Кирилл Козырев, Лена — Елена Шварц, Лика — Лилия Останина, Максим — Максим Кузьмин-Пригон, Никифор — Никифор Останин, Полина — Полина Останина-Токарева, Саша — Александр Кобак, Слава — Болеслав Мартынов.

Переводчики и переведённые авторы: Николай фон Бок (Успенский), Владимир Кучерявкин («Тибетская книга мёртвых»), Виктор Лапицкий (Арто, Бланшо, Грак), Валерий Молот (Беккет, Роб-Грийе), Елена Третьякова (Шульц), Татьяна Шапошникова (Маккаллерс) и др.

Б. М.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Айги: Яковлев — 21 февраля; Стихи с пением — 25 июля; Вершины берёз — 21 августа
- Акакий Акакиевич — 2 января/2018
- Аксёнов: Медведь — 26 января
- Алейников: Я сын без родины — 27 января; И бормотанье Черноморья — 19 июня; Где степь без роздыха — 17 августа
- Англичане-протестанты — 10 июня
- Annie Lyon — 7 мая
- Аронзон: Всё Лицо — 25 марта; Быть среди вас — 23 сентября; Не надо ничего — 13 октября
- Арто: Свет-Абеляр — 4 марта; Нервометр — 4 сентября; Учело-волосатик — 9 декабря
- Бабочка-красавица — 12 июля
- Barbudos: Какой склероз? — 8 января; Я ещё лечу — 6 марта; Дядя, дай три рубля — 6 мая; Кинь мяч Гиви — 12 июня; Не имей сто рублей — 1 августа; Но и тот неправильно — 28 августа; Красенький, кругленький — 13 сентября; И ты прав, Ицак — 11 октября; Не люблю музыку — 20 октября; Проклятый Бисмарк! — 12 ноября; Там же кость — 23 ноября; Свобода воли — 4 декабря
- Басё: Дождик весенний — 27 марта; Старый пруд — 5 июля; Первый снег в саду — 14 октября
- Беккет: Сосальные камни — 14 апреля; Лусс — 14 мая; Моё имущество — 20 июня; Земляные работы — 29 июля; Ветер для шляпы — 24 ноября; Живи и придумывай — 22 декабря
- Беляев: Игра в жмурки — 9 января, 2 августа
- Бланшо: Тёмный Фома — 20 февраля, 22 сентября

- Богданов: Бесконечно мало — 26 февраля; Жужжание безумия — 25 августа; Больница на холме — 25 декабря
- Борхес: Вавилонская библиотека — 24 августа
- Брандт: Молитва — 30 октября
- Братство как сиротство — 14 июля
- Брехт и Ромм — 14 сентября
- Бродский: Чёрный конь — 28 января
- Будда — 10 мая
- Быть или иметь? — 26 сентября
- www. — 7 июля
- Ванталов: Книга облаков — 30 сентября, 18 ноября
- Введенский: Цветок мы стали звать Андреем — 25 января; Зёрна радости — 20 марта; Беседа часов — 31 мая; Мир потух — 5 октября; Серая тетрадь — 6 декабря; Прощание — 19 декабря
- Великая Швеция, святая Русь — 9 марта
- Вероника — 6 октября
- Визит к Лотману — 26 октября
- Вниз по чакрам — 2 декабря
- Возвращение кеннинга — 30 января
- Воланд и Маргарита — 12 марта
- Волны талантов — 9 ноября
- Волохонский: Дурак — 19 марта; Иван-да-Марья — 31 марта
- Волхвы — 6 января/2018
- Волчара — 29 апреля
- Вор-птица — 11 апреля
- Восемь русских народов — 5 марта
- Вперёд ногами — 3 января/2018
- Выпьём на посошок — 4 января/2018
- Гадание об Аде — 15 марта
- Гарик Лонский — 19 мая
- Где север? — 21 июня
- Где сидит фазан — 5 июня
- Геосексополитика — 16 октября
- Голос-победитель — 4 июля
- Горнон: Открытка чувств — 23 февраля; Весь состав полутяж — 23 октября

Грак: Дорога — 27 июля
Грёзы разума — 1 ноября
Гумберт-Гитлер — 20 апреля
Гурджиев: Психологические типы — 13 января

Дандарон — 27 октября
Два парка скульптур — 12 декабря
Двойные жизнеописания — 14 июня
Демократическое большинство — 7 сентября
День рождения Набокова — 22 апреля
Детские игры как разновидность катастрофы — 1 июня
Доверие, терпение, участие — 2 октября
Дом наслаждения — 2 ноября
Донжуановский список — 14 февраля
Драгомощенко: Умереть как личность — 3 февраля; Сумасшедшие — 7 июня; Достижение Сатори — 30 июня; Эртелев перулок — 2 июля; Слово яблоко пронесли — 3 июля; Летом — фонарь — 12 сентября; Теснит нас небо — 28 сентября; Бездумность во всём — 16 ноября

Дрономахия — 29 октября
Другой Саша Соколов — 26 июля
Дубна, невеста, Понтекорво — 11 января
Дубровский, Зарайский, Волосов — 30 марта
Дышленко: Антрну — 31 января, 8 февраля

Еврейский бог — 25 сентября
Ерёмин: Ткань иволги — 1 мая; Жук и тундра — 22 июня; Животные обуваются — 25 ноября
Ерофеев: Москва—Петушки — 11 мая, 24 октября

Жене: Балкон — 15 апреля, 18 декабря
Жданов: Стол — 16 января; Любовь — 15 февраля; Портрет отца — 28 июля; Мастер — 21 октября
Жизнь в гамаке — 18 мая
Жуткое Погребище — 29 ноября

Забывтый чайник — 8 мая
Замятин: Наводнение — 1 февраля

Засахаре кры — 4 ноября
Звери и зверята — 20 августа
Здоровье как истина — 10 марта

Иванов: Дезертир Ведерников — 25 февраля, 15 декабря
Институт гриппа — 13 июля
Ионеско: Стулья — 26 ноября
Искус многочтения — 5 апреля
Испания и Россия — сёстры — 12 октября
Ich sterbe — 15 июля

Камни NEGEREP — 28 апреля
Камю: Калигула — 4 января, 7 ноября
Кастанеда: Путь с сердцем — 29 января; Светящееся яйцо —
2 апреля; Огни смерти — 16 июня; Управляемая глупость —
3 октября; Падающий лист — 18 октября; Свеча зажига-
ния — 21 ноября; Дыры в звуках — 7 декабря
Кафе «Экспресс» — 1 апреля
Кельтский Дед Мороз — 21 декабря
Кикаку — 10 января
Кинг-Конг — 16 мая, 1 декабря
Козий бог — 9 сентября
Коллин: Порча — 26 апреля; Исцеление — 5 мая
Коровин: Опять не война — 16 сентября; Натараджа — 5 ноя-
бря
Корпус, арсенал, полигон — 12 мая
Кочегар и организатор — 27 мая
Кривулин: Не пленяйся — 17 марта; Крылья бездомности —
9 июля; Не летают соколы — 17 октября; Головка чеснока —
14 ноября
Крит — пуп земли — 21 сентября
Кронос-Сатурн-Яхве — 23 апреля
Кудряков: Дневник писателя — 28 мая; Сияющий эллипс —
11 ноября
Кузьмин-Пригон: Сказка о коте — 3 марта; Умерший на поле
боя — 7 октября
Кучерявкин: Сморщенное время — 4 августа
Кушев, И-цзин — 9 февраля

Лапицкий: О парадигмах — 12 апреля; Пришел на пустошь — 30 июля

Леви-Строс: Печальные тропики — 28 ноября

Иуда слева, Христос справа — 19 июля

ЛЕФ — 18 марта

Лиля, Лия, Лика — 8 октября

Лимонов: Кропоткин — 2 февраля; Я пришёл в украинской рубашке — 22 февраля; О Гродно! О Гродно! — 21 июля; Мальчик гоняет пчёлку — 31 августа

Лишь мгновение ты наверху — 24 февраля

Маккаллерс: Гость — 19 февраля; Отражения в золотом глазу — 29 сентября

Мамаев: Переплёт для словаря — 4 апреля; Дерево — уязвимо — 3 августа

Мандельштам: Нашедший подкову — 15 января

Маркс — 7 марта

Медведь — 31 декабря

Местоимение -ся — 22 июля

Менора — 13 декабря

Мессинг — 10 сентября

Мёд из одуванчиков — 6 июня

Мёрдок: Под сетью — 16 июля

Миронов: Убить красоту — 28 февраля; Сказ о жёнах скомошьих — 19 сентября

Могила Грейва — 6 сентября

Молниеносные 60-е, радужные 80-е — 25 мая

Музей Чуковского — 2 марта

Мусорная куча — 18 июня

Мыслящая белка — 20 января

На деревню дедушке — 28 июня

Надоело бриться — 23 декабря

Натюрморт Шемякина — 9 апреля

Не вернётся назад — 21 апреля

Не делом занимался — 8 августа

Не привязывайся — 6 июля

Некрасов: Ленинградские стихи — 24 марта; Кто написал стихотворенье — 15 мая

Никифор — 2 мая
Никифор, Боян, Марина — 20 июля
Ноговицын: Языческие боги — 17 апреля
Нулевой цвет — 17 сентября

О трёх родах поэзии — 10 июля
Обнинск, фон Бок — 18 января
Оленьи рога — 23 августа
Органы без тела — 28 марта
Оружие в крови — 21 марта
Откуда у хлопца еврейская грусть — 18 июля
Открыл Америку: Любовь Божия — 19 января; Планетные пары — 24 января; Ахматовские пары — 23 июня; Чаша Грааля — 20 сентября; Юпитер/Юнона — 19 октября

Памятник взрыву — 10 декабря
§ 22 — 30 апреля
Парщиков: Ребёнки — зайцеобразны — 3 апреля; Мазепа и Марфа — 24 мая
Петров: Сорок мучеников — 22 марта; Псалом — 7 апреля; Поток Персеид — 11 августа; Оплачь меня — 31 октября; Хотел бы стать Сковородой — 3 декабря
Платонов: Река Потудань — 5 января; Джан — 1 сентября
Плацебо — 23 января
Плыви, лошадь, плыви! — 1 октября
Познать/понять/поять женщину — 29 августа
Последнее слово — 7 августа
Поэтическое состязание на бульваре Профсоюзов — 18 апреля
Правда тупоконечников — 30 ноября
Премия Саше Соколову — 14 декабря
Привет! Что придумал? — 3 сентября
Пришвин: Дневник — 17 января, 4 февраля
Происхождение глагола — 26 марта
Пустой центр — 15 июня
Пятница, 13 — 13 апреля

Разновидности голода — 14 января
Разрушение Храма — 31 июля
Распаковка Сирина — 10 апреля

- Роб-Грийе: Дом свиданий — 18 февраля, 18 августа
Розанов: Толстой и Достоевский — 5 февраля; Религия — 3 мая;
Литературность ужасна — 20 мая; Свобода бессодержательного — 14 августа; Новое жнитво — 30 августа; Мать — 25 октября; Любовь — воздух — 3 ноября; Связи отталкивания — 27 ноября; История и счастье — 29 декабря
Розанов-мл., Набоков-мл. — 15 ноября
Романовы — Розановы — 17 июля
Рукописи горят — 27 декабря
Русская рулетка — 10 октября
Рябина-спасительница — 2 июня
- Самоделки: История и мистерия — 9 мая; 12 глаголов — 22 мая; Лето — 26 июня; Колокол — 6 августа; Город — 17 ноября; В голубом окне — 16 декабря; Дым от костра — 1 января/2018;
Самойлович: Как описать уныние тех рыб — 1 января; Приходит ночь — 13 мая; Одновременно горько и легко — 5 сентября
Саша Соколов: Философская — 12 февраля; Изобретение буквы Ж — 23 мая; Насылающий Ветер — 29 мая; Меж собакою — 8 июня; Сверчок окраин — 4 октября; Те Кто Пришли — 9 октября; Эклога — 6 ноября; Преображение Николая Угодникова — 20 декабря; В Сочельник от Гурия — 24 декабря; Заговор — 28 декабря
Свадебный генерал — 15 августа
Свинец Сатурна — 2 сентября
Северюхин: Энциклопедия Русского Зарубежья — 13 февраля;
Катя Павликова — 26 мая; Королевский флеш — 13 июня
Сегрегация женских планет — 16 марта
Седакова: Стансы — 26 декабря
Сидеть как зеркало русской духовности — 22 ноября
Сирин: один или много? — 24 апреля
Скотский хутор — 22 января
Словари — 13 ноября
Словечки — 17 декабря
Сложное детям: Разные и одинаковые — 2 января; 30 % + 30 % + 30 % — 7 января; Сокращённый Гюго — 27 февраля;
Троица — 4 июня

Случай, случка, символ — 3 января
Смерть настоящая — 15 сентября
Соколов З/К: Я на воле — 27 августа; Нить побега — 8 ноября
Соло-моно: два типа одиночества — 18 сентября
SS, сексуальные солдаты — 10 августа
Стратановский: Метафизик — 24 июня; О лёд, всемирный лёд — 5 декабря
Стравинский: Верить или судить — 6 апреля; Выразительность в музыке — 25 апреля; Цена порядка — 30 мая; Усилия в музыке — 17 июня
Ся-тя-мя — 15 октября

Тайро: Холодный горный ключ — 24 сентября
Теория заговора — 9 июня
Топоровские эпиграммы — 8 июля
13 стихий — 6 февраля
302bis — 3 июня
Трудная религия — 20 ноября
Ту-124 на Неве — 22 августа
Тугуола: Путешествие в Город Мёртвых — 28 октября
Ты — раковая клетка — 27 апреля
Тыр-пыр, восемь дыр — 12 января

Умственная гигиена — 16 февраля
Уткина дача: Приятная компания — 14 марта; Жребий брошен — 23 марта
Утроворту — 4 мая

Фаллос и омфалос — 16 августа
Филатов — 21 мая
Filioque и прогресс — 19 апреля
Филиппов: Укол — 7 февраля; Церковь — 16 апреля; Классики — 1 июля; Русские поэты — 13 августа; Арсенальная — 11 декабря
Флоренский: Точка — 21 января, 29 марта, 27 июня, 8 декабря
Формула Петербурга — 10 ноября

Ха-миллион — 8 сентября
Хакамаду в президенты — 22 октября

Харитонов: Дзынь — 11 июня; Теория относительности —
29 июня; Слезы на цветах — 23 июля, 5 августа

Хармс: Связь — 30 декабря

Хлеб наш надсущный — 5 января/2018

Христов возраст 37 лет — 27 сентября

Цвета Израиля — 11 февраля

Четвертушки синусоиды — 9 августа

Четыре волхва — 6 января

Чейгин: Смертное — 17 февраля; Просыпаются глаза —
11 июля; Тише, мать, подожди — 11 сентября

Честь и достоинство — 13 марта

Честь и слава — 25 июня

Чернильное вино — 24 июля

Чёрный квадрат — 1 марта

Чогьям Трунгпа — 26 августа

Чоран: Паскаль — 8 апреля

Шварц: Невидимый охотник — 11 марта; Соловей спасаю-
щий — 17 мая

69 — 8 марта

Шульц: Август — 12 августа, 19 августа; Птицы — 19 ноября

Ягода морошка — 10 февраля

СОДЕРЖАНИЕ

Текст-календарь
(1 января 2017 года — 6 января 2018 года)

Р. С. Послесловие составителя

Алфавитный указатель

Литературно-художественное издание

Останин Борис Владимирович

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ И ОДИН

**Схемы, мифы, догадки, истории
на каждый день 2017 года**

Главный редактор *Е. А. Трофимов*

Ответственный редактор *Б. Останин*
Художественный редактор *Е. Саламашенко*
Технический редактор *Е. Траскевич*
Корректор *Л. Иванова*
Верстка *М. Залиева*

Подписано в печать 25.06.2015.
Формат издания 60×90 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,0. Тираж 200 экз.
Заказ № 1162.

Издатель ООО «Торгово-издательский дом «Амфора».
197110, Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.
www.amphora.ru, e-mail: secret@amphora.ru

Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Береста»
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28
Тел./факс: (812) 388-9000
e-mail: predpechat@yandex.ru

12+ | Издание не рекомендуется детям младше 12 лет